

ДЖОН РИД

ДЖОН РИД

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

И * Л

*Издательство
иностранной
литературы*

THE EDUCATION OF JOHN REED

SELECTED WRITINGS

New York

1955

Д Ж О Н Р И Д

*

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

*

Перевод с английского
С. А. Раскиной и Е. С. Пестковской

Под редакцией
Л. И. Зубока

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1957

Редакция литературы по историческим наукам
Заведующий редакцией кандидат исторических наук И. П. СЕМИН

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Имя автора этой книги — Джона Рида, революционно-го писателя-публициста, одного из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки, видного деятеля международного рабочего движения, — хорошо известно советским читателям. Его книга «Десять дней, которые потрясли мир», переведенная на многие языки мира (и двенадцать раз издававшаяся в СССР), была первым в мировой литературе правдивым и живым рассказом зарубежного писателя об эпохальных днях Великой Октябрьской социалистической революции.

Творческий путь Джона Рида является одним из ярких свидетельств того глубочайшего влияния, которое незабываемые события Великого Октября оказали во всем мире не только на многомиллионные массы рабочих и крестьян, но и на честные, передовые слои буржуазной интеллигенции.

Данная книга представляет собой перевод сборника избранных произведений Рида, выпущенного в свет в 1955 году в Нью-Йорке издательством «Интернейшенэл пাবлишерс» под названием «The Education of John Reed» — «Формирование взглядов Джона Рида» (в русское издание не включены лишь стихи Рида, приведенные в конце американского сборника).

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА АМЕРИКАНСКОГО ИЗДАНИЯ

Написанного Джоном Ридом за десять лет — со времени окончания им Гарвардского университета и до безвременной кончины в 1920 году — хватило бы на несколько томов, таких, как этот. Основная масса его произведений наполнена ненавистью к войне и к злодеяниям, породившим войну. Вместе с тем все, что он написал, отражает его горячее желание мира и такого социального порядка, при котором мир был бы несокрушим.

Именно этими мотивами мы руководствовались при отборе материала для этого тома. Избранные произведения литературного наследия Рида характеризуют его как репортера, военного корреспондента, очеркиста и поэта. Он был в качестве журналиста в Мексике в армии Панчо Вилья, среди бастующих рабочих Соединенных Штатов, на европейских фронтах в годы первой мировой войны и в России во время революции.

За исключением поэтических произведений, собранных отдельно, все остальные избранные сочинения расположены в основном в хронологическом порядке, с указанием года опубликования в печати. Поскольку книга «Десять дней, которые потрясли мир» переиздается время от времени и до сих пор и уже широко известна читателям, мы включили в настоящее издание лишь маленькие отрывки из этого наиболее известного произведения Джона Рида.

Вступительная статья Джона Стюарта, посвященная формированию личности Рида и раскрытию того, в чем состоял для него смысл жизни, является необходимым фоном для данного сборника его произведений.

ДЖОН СТЮАРТ

ФОРМИРОВАНИЕ ВЗГЛЯДОВ ДЖОНА РИДА

Жизнь Джона Рида сама говорит за себя. Мало найдется людей, чья жизнь была бы столь насыщена серьезной деятельностью и в то же время столь радостна, кто своими глазами увидел бы так много исторических событий и оставил бы столь полную летопись своей жизни. И все же ни книги Джона Рида, ни его письма и стихи не дают полного представления о его жизни. Все они говорят о ней. Стихотворения — это как бы отдельные грани его личности, каждое письмо — ключ к пониманию его настроения в тот или иной момент его жизни или какого-то события в ней, каждая статья — меткая зарисовка того, что он видел в данный момент, и в то же время образное выражение его мнения о виденном. Однако, даже вместе взятые, они не могут дать полный образ этого человека. Они не расскажут, почему память о Риде живет в сознании прогрессивной Америки, хотя после его смерти в 1920 году прошло уже много лет; как он стал глашатаем нового представления об обществе, человеком, сочетающим в себе качества писателя и активного деятеля, свидетеля исторических событий и их творца!

Чтобы оценить деятельность Джона Рида, надо подойти к нему с разных сторон: как к литератору и как к человеку с сильным характером. Рид был поэтом и выдающимся журналистом, пожалуй, не имевшим себе равных среди американских репортеров его времени. Как человека с сильным характером, его не могла сломить и жесточайшая реакция. В течение всей своей столь краткой сознательной жизни он непрестанно восставал против несправедливости. Это был не безрассудный протест бунтаря-одиночки, который чаще всего кончается тем, что бунтарь не сокрушает, а гибнет сам. Рид вступил было на этот путь, но вовремя

понял, что только в содружестве с другими людьми его усилия могут принести наибольшую пользу и станут средством осуществления его самых сокровенных надежд. Рид нашел дорогу к рабочему классу и на этом трудном пути освободился от пагубного груза лжи и жестоких иллюзий, которые сделали такой путь столь опасным для других людей его круга. Приветствуя будущее, он признал необходимость коренных изменений, неизбежность победы социализма.

Сама логика его жизненного опыта американца, бурный характер его времени сделали его воинственным поборником нового общества.

Джон Рид родился 22 октября 1887 года в Портленде (штат Орегон) в доме своего деда. Это был, писал Рид в своих воспоминаниях, барский особняк, построенный в стиле французского замка и расположенный посреди парка с цветниками и лужайками, среди деревьев которого бродили ручные олени. Его дед со стороны матери, Генри Грин, приплыл на Запад на парусном судне и поселился в Портленде всего несколько лет спустя после основания города среди диких просторов Орегона. Здесь дед разбогател, стал жить на широкую ногу. Грины принадлежали к самому избранному обществу города и жили легко и весело, как люди, уверенные в прочности своего положения, пользуясь привилегиями, предоставляемыми богатством. С другой стороны, Чарльз Рид был предприимчивым дельцом, хотя в отличие от родственников жены так и не составил себе состояния. Он переселился из северной части штата Нью-Йорк, чтобы заняться продажей сельскохозяйственного оборудования. На Маргарет Грин он женился вскоре после того, как обосновался в Портленде.

Детство Джека * и его младшего брата протекало в полном довольстве. Оно было полно романтических приключений, созданных пылким воображением ребенка, любившего предаваться фантазиям. Джек выдумывал истории про колдуний, великанов и чудовищ, пугал ими маленьких мальчиков и девочек, живших по соседству, а иногда и самого себя. Мать научила его читать, и он с головой погрузился в чтение книг; он читал все, что мог достать, начиная со «Света Азии» Эдвина Арнольда и сочинений Ма-

* Уменьшительное от Джон.— *Прим. ред.*

ри Корелли и кончая Скоттом, Стивенсоном и сэром Томасом Мэлори. «История,— вспоминает он,— была моей страстью: гордо выступающие короли, шеренги воинов, сомкнутым строем пробивающиеся вперед под градом осыпающих их длинных стрел. Но не меньшее восхищение у меня вызывали Марк Твен, Билл Най, «Лорна Дун» Блекмора, полный словарь Уэбстера, арабские сказки «Тысячи и одной ночи» и легенды о рыцарях Круглого стола. То, чего я не мог понять, восполняло мое воображение. В возрасте девяти лет я начал писать «Комическую историю Соединенных Штатов» — в подражание Биллу Наю, и я думаю, что именно тогда я принял решение стать писателем» *.

К школьным занятиям он относился безразлично, за исключением тех уроков, когда учитель или проходимый материал возбуждали его воображение и уносили его на крыльях фантазии в созданный им самим мир Гвиневр и Галахадов **. Да и слишком много дел было у него, помимо школьных занятий. У братьев Рид на чердаке их дома был маленький театр, в котором ставились их собственные пьесы. Они соорудили во дворе игрушечную железную дорогу, а в лесу на окраине города — бревенчатые хижинки и совершали длинные путешествия вверх по реке Вилламет. У Джека было немало планов различных смелых предприятий, которые в то же время помогли бы ему разбогатеть. Однажды он начал рыть тоннель от дома до школы, длиной почти в милю. Он собирался украсть двух овец, спрятать их в тоннель и ждать, пока они размножатся и получится большое стадо, которое можно будет продать.

«Но при всем этом,— писал он много лет спустя,— я не был вполне счастлив. Я часто болел. Кроме нескольких друзей, мне не везло в отношениях с мальчиками. У меня не хватало силы и задора, чтобы преуспевать в спорте (исключение составляло плавание, которое я всегда любил). И я действительно был порядочным трусом в том, что касалось физической боли. Я готов был прокрасться через заднюю ограду, чтобы уйти от мальчишек, которые собирались меня поколотить или которых я лишь подозревал в этом. И как это ни странно, но когда меня действи-

* Из автобиографического очерка Дж. Рида «Почти тридцать», впервые опубликованного в «New Republic» («Нью рипаблик») от 15 и 29 апреля 1936 года.— *Прим. Дж. Стюарта.*

** Герои средневековых легенд о рыцарях Круглого стола короля Артура.— *Прим. ред.*

тельно загоняли в угол и заставляли драться, то даже побои не казались мне и в сотой доле такими ужасными, каким был страх перед ними».

Отца и сына связывали узы прочной и горячей любви. Рид старший был человеком язвительным и остроумным, тонко высмеивавшим местных снобов, одним из тех политических бездомников, в чьих взглядах, как в зеркале, отражалось новое общественное сознание, складывавшееся в конце столетия у средних слоев общества под влиянием целой толпы реформаторов.

В качестве федерального судебного исполнителя назначенного Теодором Рузвельтом, он содействовал разоблачению банды спекулянтов землей в Орегоне, а позднее выставил свою кандидатуру на выборах, но потерпел поражение, хотя ему не хватило лишь незначительного числа голосов.

Юный сын восхищался воинственным характером отца, с грустью думая о том, что сам он отнюдь не отличается такой же смелостью в своих ссорах с городскими забияками. Лишь после смерти отца Рид понял, что отец « всю свою жизнь положил на то, чтобы мы могли жить как дети богатых родителей. Он и мать всегда давали нам больше, чем мы просили, как в предоставлении нам свободы и самостоятельности, так и в отношении материальных благ. И в тот день, когда мой брат окончил колледж, отец заболел, не выдержав страшного напряжения, и умер несколько недель спустя. Мне всегда казалось злой иронией судьбы, что он не дожил до того, чтобы лицезреть мои скромные успехи».

По-настоящему Джек расцвел в фешенебельной подготовительной школе в Мористауне (штат Нью-Джерси). Здоровье его было прекрасно, и другие ученики относились к нему с должным уважением. На него произвели глубокое впечатление размеренность школьной жизни, ее обычаи, традиции, столь отличные от всего, что он видел на грубом Западе. Он играл в футбол, несколько раз вступал в драку и выстаивал до конца; здесь он писал стихи и рассказы в школьную газету. Кроме того, он затевал и опасные порой проделки: ночью выбирался украдкой из школы, чтобы принять участие в деревенских танцах, поухаживать за девушками, попорхать среди беспечных мотыльков местного общества. Без слишком суровых испытаний он все же добился того, что стал более уверенным в себе.

В 1906 году Рид поступил в Гарвардский университет *. В первый год обучения он был отчаянно одинок. Несмотря на огромные усилия войти в компанию первокурсников и добиться признания, это ему не удалось. Позднее его одиночество стало понемногу рассеиваться. Его избрали редактором двух газет колледжа, он стал руководителем музыкальных кружков, капитаном команды по водному поло и организатором целого ряда различных студенческих мероприятий. Как руководитель хора праздничной секции он испытывал, по его словам, «высшее блаженство, соединяя две тысячи голосов в один огромный потрясающей силы хор во время важных футбольных встреч».

В Гарварде, как и в Мористауне, он тоже был неугодным зачинщиком всяческих проделок, честолюбивым и властолюбивым парнем. Он страстно желал завоевать признание своей литературной деятельностью.

Все то, что он написал для журналов «Lampoon» («Насмешник») и «Monthly» («Ежемесячник»), ничем особенным не выделялось из бесчисленного множества опубликованных сочинений гарвардских студентов. И хотя в его стихах чувствовалось природное поэтическое дарование, в них не было ничего особо оригинального или поражающего. Свой юношеский талант Рид тратил на подражание прославленным поэтам Викторианской эпохи. Однако все написанное им было очень важно для него самого. Кроме того, по этим произведениям можно судить, с какой резкостью он осуждал гарвардских аристократов. Сам он тоже был аристократом, но из далекого Орегона. Высшая гарвардская аристократия считала его слишком резким и недостаточно цивилизованным человеком, не вполне отвечающим строгим нормам поведения высококультурных эстетов Бэк Бэя **. В свою очередь его отталкивала их холодная жестокость, тупость и ограниченность их праздной жизни. С глубоко затаенным негодованием он сатирически изображал их в своих поэмах и статьях, высмеивая их слабости и пороки.

Рид с большой симпатией относился к мятежному духу, существовавшему в Гарвардском университете, и в последний год своего обучения увидел, как этот дух оживает.

* Старейший университет США, находится в г. Бостоне (штат Массачусетс) и его пригороде Кембридже.— *Прим. ред.*

** Богатый район г. Бостона.— *Прим. ред.*

Студенты оттеснили аристократов с их привилегированных позиций среди выпускников, критиковали преподавателей за то, что они не воспитывают их по-настоящему, резко осуждали деятельность спортивных организаций и насмеялись над священнодействиями, совершаемыми в закрытых студенческих клубах. Для Рида это был настоящий бунт, находящийся в полном соответствии с еретическими традициями Новой Англии. Что особенно привлекало его, так это, как он говорил, «проявление духа нового времени» у группы студентов. В завуалированной, правда, но все же достаточно отчетливой форме «модернисты» признавали, что в коллективе студентов существуют раскалывающие его противоречия. Они читали экономическую и политическую литературу и вели беседы об экономике и политике, как о жизненно важных силах, действующих в нашем мире. Несколько этих студентов образовали Социалистический клуб, президентом которого стал Уолтер Липпман.

Рид никогда не был членом клуба, но его деятельность, а также новизна и смелость суждений его членов произвели на Рида большое впечатление. Социалистический клуб принял участие в муниципальных выборах. Он предлагал законодательному собранию штата Массачусетс ряд законопроектов и порицал университет за то, что он не обеспечивает своим рабочим прожиточного минимума. Он требовал от преподавателей университета чтения курса лекций по социализму и приглашал в Кембридж выдающихся радикалов для дебатов по самым злободневным вопросам. В результате этих дебатов возникли такие университетские союзы, как «Гарвардская мужская лига борьбы за избирательные права женщин» или «Клуб по борьбе за единый земельный налог». Это активное движение студенчества нашло свое отражение и в печати колледжа, оно способствовало движению вперед этих радикалов в музыке, рисовании, поэзии и театральном искусстве. Вспоминая впоследствии Гарвард, Рид понял, что «все это не вносило существенных изменений в мировоззрение людей гарвардского общества, и вполне возможно, что члены наших университетских клубов и спортсмены, представлявшие нас перед лицом внешнего мира, никогда и не слышали об этой политической деятельности. Но меня и многих других она заставила осознать, что в мрачной атмосфере внешнего мира происходит нечто более захватывающее и интересное,

чем университетская жизнь. Это возбуждало в нас интерес к сочинениям таких людей, как Герберт Дж. Уэллс, Грэхем Уоллес, и им подобные. Одновременно это отвлекало от дилетантизма Оскара Уайльда, который был властителем дум целых поколений студентов, занимавшихся литературой».

В это время сочувствие Рида стали привлекать жертвы снобизма и за пределами его университетского мирка. Как президент университетского Космополитического клуба он завязывал связи со студентами множества национальностей, и это расширяло его кругозор, так же как его влечение к местным «протестантам» обостряло его умственное восприятие. Размышляя о своем будущем, он, однако, не мог решить, каково же его отношение к этим протестующим и к аристократам. Он эволюционировал в направлении более серьезного отношения к жизни и установил достаточно прочную связь с «протестантами». Но преимущества, связанные с привилегированным общественным положением в Кембридже, были слишком соблазнительны и слишком полезны, чтобы от них отказаться. Рид жаждал признания с обеих сторон. Чтобы добиться этого, он с неукротимой энергией взялся за работу в студенческих организациях колледжа, за литературную работу; он неутомимо занимался спортом: это грубое развлечение внешне делало его совершенно иным, но не могло скрыть его стремления строить свою жизнь так же, как живут окружающие его люди из высших классов. По-своему переживал он конфликт, характерный для молодых восприимчивых американцев, стремившихся во что бы то ни стало оставить свой след в жизни, хотя их чувства и восставали против того, какой ценой достигались эти успехи. Эта двойственность продолжала еще тяготеть над Ридом некоторое время и после окончания им Гарвардского университета в 1910 году.

Мировоззрение Рида и его поколения, ученую разновидность которого представляли гарвардские радикалы, формировалось в период, когда рушились все иллюзии. Ясно обнаружилась коррупция, развеялись мифы, которым слепо верили в течение десятилетий, казалось, самого безудержного процветания Америки; доктрины, считавшиеся в прошлом неоспоримыми, были опровергнуты. Все это приводило к мощному движению протеста и борьбы за реформы.

На фоне этого движения деятельность Гарвардского социалистического клуба была лишь одним из отзвуков наступления той эпохи, когда заправила трестов обратили свои взоры на новые территории за границей, стремясь захватить их. Наступление эпохи созревшего империализма было возведено громом пушек в Манильском заливе. Тяга к господству вскоре проявилась в территориальной экспансии, в установлении контроля над другими суверенными государствами с помощью различных финансовых махинаций или посредством открытой интервенции. Несмотря на всю благочестивую болтовню, империалисты не могли скрыть свою жестокость, свое презрение ко всем моральным принципам. Печать, церковные кафедры, учебные аудитории колледжей и школ были отравлены ядом звериного шовинизма, породившего все те легенды, с помощью которых богатое меньшинство общества отстаивало свои позиции. Достопочтенный Джосиа Стронг проповедовал мистическое расистское учение, удобно сочетавшееся с теориями капитана Альфреда Мэхена, прославлявшими силу и власть. Выводом из всего этого была ханжеская тарбарщина — утверждение, что безопасность и прогресс Соединенных Штатов зависят от распространения света цивилизации среди варварских, некультурных народов, той цивилизации, которой Уильям Самнер из Иэйля дал следующее простое определение: «мир, в котором царит закон: пресмыкайся, хапай, где можешь, или погибай... мир, в котором «самый длинный шест сбивает больше всего хурмы».

«Мятежные» писатели и артисты, сосредоточившись в Нью-Йорке, привлекли под свои знамена выходцев с западных земель за Гудзоновым заливом, которые вместе с ними поклонялись многим святыням: синдикализму, кубизму, анархизму, имажинизму, феминизму. Туманные речи о какой-то новой свободе очаровывали воинственно настроенную молодежь. Однако некоторые представители молодежи заинтересовались деятельностью ИРМ («Индустриальные рабочие мира») или Социалистической партии. Но большинство протестующих — среди них был и Рид, — для которых местом их кастовых сборищ служил Гринвич Виллидж *, были романтиками. Их индивидуализм не признавал никакой дисциплины, и они часто скрещивали копыя

* Район г. Нью-Йорка, где в начале XX века часто происходили собрания литераторов, художников и студентов.— *Прим. ред.*

с правоверными при одном лишь шутовском упоминании о ней. Несмотря на это, они пытались выяснить, что же развеяло иллюзии прежде полной надежд Америки. Они, несомненно, содействовали подъему искусства, хотя и не могли указать, как избавиться от тлетворного влияния монополий на культурную жизнь страны. Философия империализма — прагматизм с его презрением к истории, с его утверждением, что всякая истина познается заново каждым индивидуумом в процессе накопления им своего опыта, — оказывала на них мощное влияние. В то время новаторство в театральном искусстве, поэзии, живописи и литературе стало самоцелью.

Когда американские рабочие, к которым обращались некоторые из этих бунтарей, не проявляли никакого интереса к их эстетству или не понимали его, последние испытывали разочарование, и те самые социальные лжетеории, против которых они так упорно восставали, вновь находили свое выражение в их собственном творчестве. Их реализм превращался в конечном итоге в сюрреализм, их сознание становилось крайне эгоцентричным. Все это свидетельствовало о том, как далеки были их взгляды от политических убеждений рабочего класса, об их неумении понять жизнь рабочих.

Их кастовая замкнутость вела к умственному бесплодию, а постоянный соблазн легкого заработка уводил многих протестующих от их мятежной деятельности, не сулившей им никаких материальных выгод.

В круговороте этих событий процесс формирования взглядов самого Джека Рида был очень сложен. Его романтические порывы уже сыграли с ним не одну злую шутку, и его ранние творения, особенно поэтические, показывали, с каким упорством он извлекал все живое из тумана прошлого. Но в Нью-Йорке, где он поселился после окончания Гарвардского университета и после нескольких месяцев беспечных путешествий по Европе, действительность сильно поразила его. Он увидел то, чего не видел как следует раньше: это был город поразительно резкого классового расслоения, город, в социальную ткань которого было вплетено множество различных национальных групп, различных культур. Он с головой погрузился в жизнь города, ощутил его теплоту и его холод, размышляя о его циничных контрастах, наблюдая эту бесконечную драму его социальной жизни. Он готов был весь город заключить

в свои объятия, полный всепоглощающей радости вновь обретенной любви.

«Я любил шагать по улицам,— писал он,— от парящих в вышине величественных башен деловой части города, вдоль доков Ист-Ривер, вдыхая здесь запах пряностей и любуясь парусными судами, напоминавшими о далеком прошлом, через кишачий людью Ист-Сайд, в границах которого разместилось множество чужеземных городков и где на протяжении километров мелькание верениц окутанных дымом тархтящих тележек придает особое очарование старым, запущенным улицам; проходил по неожиданно встречающим вас криком и шумом рынкам, где с подвешенных туш еще капала кровь, тускло поблескивала рыба чешуя в свете факелов и женщины громко расхваливали свои товары под грохочущими большими мостами. С глубочайшим волнением наблюдал я отлив и прилив людского потока, стремящегося на работу и с работы, на запад и восток, юг и север. Я хорошо знал и Китайский квартал, и «Малую Италию», и квартал, населенный сирийцами; театр марионеток, бары Шэрки и Максорли, мебельрованные квартиры и притоны бродяг на Бауэри; Хэймаркет, немецкий поселок и все ночные ресторанчики Тендерлойна.

Одну летнюю ночь я проспал на быке моста Вильямбург-Бридж; в другой раз я расположился спать в корзине для кальмаров на Фултон-Маркет, где при свете шипящих дуговых ламп сверкают красные, зеленые, золотые морские рыбки. Я знакомился и с разгуливающими по улицам девицами, и с пьяными матросами с кораблей, только что приплывшими с другого конца света, и с испанскими портовыми грузчиками, живущими на нижнем конце Вест-стрит...

Мне хорошо знакомы парки, улицы, застроенные дворцами, театры и отели. Чудовищно огромный город непрерывно разрастался, как злокачественная опухоль; в нем были и запущенные районы, в которых жизнь замирала, и площади и улицы, где давно уже царит веселый гомон роскошной и праздной жизни, тонущий в шуме и гаме окружающих их трущоб. Я знал и Вашингтон-сквер, где встречался с артистами и писателями, и с людьми, близкими к богеме, и с радикалами. Я посещал балы гангстеров в Таммани-холле; участвовал в экскурсиях по городу, устраиваемых ассоциацией Тима Салливэна, бывал на Кони-Айленд жаркими летними ночами... Не выходя за

пределы квартала, где стоял мой дом, можно было пережить все приключения мира, а в пределах мили — познакомиться со всеми странами и народами.

В Нью-Йорке я впервые полюбил, впервые написал о том, что видел, испытав буйную радость творчества,— и узнал, наконец, что могу писать. Там я получил первое представление о современной мне жизни. Город и его жители были для меня открытой книгой; все имело свою историю, драматическую, полную трагической иронии и страшного комизма. Там я впервые понял, что действительность может превзойти все самые пылкие поэтические фантазии изощренных романистов средневековья».

В этом прагматическом процессе познания было мало терзаний души. Рид не стал жертвой большого и страдающего «я», подобно другим пораженным этим недугом новичкам в деле изучения социальных проблем. Он не питал любви к отвлеченным теориям и с холодным презрением относился к жалким доктринарам, которые цепляются за полу Прогресса. Идеи, с которыми Рид соприкасался, оказывали на него влияние только в том случае, если они соответствовали его собственному жизненному опыту. «В целом,— вспоминал он,— одни отвлеченные идеи не имели в моих глазах большой цены. Я должен был видеть все своими глазами. Во время моих странствий по городу я не мог не наблюдать ужасы нищеты и ее тяготение к пороку, жестокое неравенство между богачами, у которых слишком много автомобилей, и бедняками, которым нечего есть. Я никогда не узнал бы из книг, что рабочие производят все богатства мира, которыми пользуются те, кто их не заслужил».

Жизнь в Нью-Йорке способствовала полевению Рида, но были обстоятельства и мешавшие его движению в этом направлении. Он вынужден был зарабатывать себе на жизнь и помогать матери. Правда, помимо этого, нельзя не отметить, что он еще стремился к богатству и известности, которые приходят вместе с литературным успехом. Однако это стремление умерялось страхом, что успех в модных, преуспевающих издательствах может измельчить его душу и направит по пагубному пути его талант. Увидав, что случилось со многими популярными писателями, разжиревшими на сытных литературных хлебах, он с горечью чувствовал, что то же самое может произойти и с ним. Его стала терзать раздвоенность его души. Некото-

рое время он еще мог поддерживать душевное равновесие, высмеивая тех, кто поставлял легко расхोдившееся низкопробное чтиво. В лирических стихах, которые он написал в 1912 году для одного платного музыкально-увеселительного клуба, он добродушно поддразнивал клубных писателей, артистов и толстые журналы, для которых они работали. О журнале «Cosmopolitan» («Космополит») он писал:

В каждом моем номере уйма пикантного,
Но все здесь приятно, все элегантно.
Женские губки, сорочки, чулок —
Все дано в меру, только намек!
Любовник услышит в страниц моих шелесте
Намек на красоток скрытые прелести
И многое прочее... Неудивительно,
Что стал бизнесменам я влагой живительной.

А о журнале «Outlook» («Взгляд») с его претензией на либерализм он писал так:

Реформатор я (но в меру!)
И реформа, так сказать,
Мой практичный символ веры.
За нее есть смысл стоять.
Возвышайся всяк, как можешь.
Сплоховал — в тюрьму изволь!
Курс неясен мой? Так что же?
Он доходен — вот в чем соль!

Затем он пускал стрелы и в газетных предпринимателей, восхвалявших свободу печати:

Мы твердо заявляем:
«На деньги мы не падки»,
С презреньем отвергая
Все глупые нападки.
Преступник, вымогатель,
Отрекшись от порока,
Сотрудничают с нами,
Найдя в том больше прока.

Все это были в лучшем случае милые насмешки, которые можно встретить и в ряде коротких рассказов, написанных Ридом о капиталистах, о ночной жизни города, о снобах, встречавшихся среди его друзей. Нотки иронии в этих рассказах были очень сильны, они были даже занимательны, но не больше. Чаще всего в этих произведениях осмеивались идеалы средних сословий и их сентиментальность. У Рида была страсть третировать, высмеивать величайших святых из сонма богачей, но казалось, что нет у него никакой другой цели, кроме желания высмеять их. Он

начал презирать этих скряг и восставать против устарелых понятий. Он был готов отбросить прочь эти омертвелые длиннобородые чудовища, преграждавшие путь тем, кто стремится к новому, к изменениям, чуть ли не к любым изменениям. Но хотя расчистка этого пути держала его в постоянном напряжении, она не помогала ему понять, каково значение этой его кипучей деятельности. Некоторые из его уважаемых друзей считали, что эта его резкость наигранна. Они надеялись, что он вскоре перестанет так энергично размахивать дубинкой, избивая собаку условности.

Когда Рид узнал, что организуется журнал «The Masses» («Массы»), который намеревается надавать хороших шлепков высшей «аристократии», он немедленно предложил свои услуги. За несколько лет до этого небольшая группа социалистов из Нью-Йорка основала журнал «The Comrade» («Товарищ»), чтобы публиковать «такие литературные и художественные произведения, которые отражали бы всю глубину социалистической философии... и усиливали эстетические стимулы в социалистическом движении». Однако журнал «Товарищ» оказался незрелым, кратковременным предприятием. Но он содействовал формированию идеи пролетарского искусства и развитию марксистской критики. Журнал «Массы» был его неофициальным наследником. Он стал выходить в то время, когда социалистический еженедельник «Appeal to Reason» («Призыв к разуму») уже насчитывал почти полмиллиона платных подписчиков и издавал специальные выпуски, имевшие до миллиона читателей. Журнал «Массы» не пускал на свои страницы всяких нашумевших чудаков и привлек к участию в нем энтузиастов борьбы за свободу искусства, а также верных сторонников марксизма. В нем Рид и начал свою трудную работу редактора и литературного сотрудника; эта деятельность способствовала развитию его мировоззрения и потребовала от него таких произведений, которые были гораздо лучше всех его статей, опубликованных где-либо прежде и столь щедро оплаченных. В журнале «Массы» он мог свободно высказывать свои взгляды.

Быстрее всего эволюция взглядов Рида происходила во время войны, войны между государствами или между классами. Самые лучшие его сочинения были написаны в грехоте битв. Он всегда находился в самой гуще боя, где выступал в защиту той стороны, чье дело было ему дорого. Он

никогда не умел сохранять нейтральную позицию, и то, что он являлся участником всего происходящего, вынуждало его мобилизовать весь свой талант.

В 1913 году стачка рабочих шелкоткацких фабрик в Патерсоне (штат Нью-Джерси) была для него боевым решением. Впервые участвовал он в активной борьбе рабочего класса. Вожди стачки из ИРМ пригласили нескольких радикально настроенных интеллигентов из Нью-Йорка, и среди них Рида. Сперва он считал стачку пустой забавой, но, когда он увидел своими глазами полицейский террор, стачка вызвала у него глубочайшие симпатии. Более 2300 рабочих были брошены в окружную тюрьму. Так же как и предыдущая стачка в Лоуренсе (штат Массачусетс), стачка в Патерсоне всколыхнула всю страну, так как именно тогда страна узнала, что хозяева фабрик платят жалкие гроши своим рабочим и последние вынуждены жить впроголодь. В течение нескольких недель все внимание Рида было поглощено событиями в Патерсоне. Рид был глубоко возмущен, увидев, как избивали ткачей, и споры о рабочем вопросе в салонах на Пятом авеню приняли новый и гораздо более острый характер.

Наблюдавший за ходом стачки Рид был арестован полицией и провел четыре дня в тюрьме. Многие стачечники были недавно прибывшими иммигрантами. Хотя их английский язык был беден, они сумели рассказать ему о своих опасениях и надеждах. Рид чувствовал себя обязанным оказать им любую помощь, какую бы они ни попросили. Он поражался их мужеству и изобретательности. Владельцы фабрик увешали весь Патерсон флагами и транспарантами с надписью: «Мы живем под сенью флага, боремся за этот флаг, и мы будем работать под этим флагом». Пикеты баствующих выдвинули в ответ свой лозунг: «Мы ткали флаг, мы красили флаг, мы не будем штрейкбрехерами под этим флагом».

Билл Хейвуд, руководитель ИРМ, привел Рида на собрание стачечников. Хейвуд рассказывал, что Рид «научил стачечников песне. Когда 25 тысяч человек вместе пели ее, это производило незабываемое впечатление; трудно себе представить эту картину, не услышав пенья во весь голос такой огромной массы людей. 25-тысячный хор голосов, выкрикивающих: «Долой, долой, долой!» — был подобен грому трубы архангела Гавриила, от которой пали стены иерихонские».

Рид оставил свою работу помощника редактора журнала «American Magazine» и, уделяя главное внимание стачке, в то же время помогал организовывать массовое представление в Нью-Йорке, на старой Мэдисон-сквер-гарден. Он подготовил для этой цели более тысячи мужчин и женщин в Патерсоне, затем переправил их через реку в Манхэттен. Там они должны были выступить перед огромной аудиторией в 12 тысяч человек и представить в лицах сцены из своей жалкой жизни и из истории своей отчаянной борьбы против хозяев шелкоткацких фабрик. Толпа из Гринвич Вилидж приветствовала это массовое представление как великое новшество в театральном искусстве. Газеты заговорили об этом представлении так, как будто революция уже стучала в ворота столицы.

Для Рида события в Патерсоне были сильным потрясением. Он сделал для себя целый ряд таких выводов, к которым книги и разговоры не могли бы его привести. Но и на этот раз он был преимущественно лишь свидетелем-очевидцем, наблюдавшим во всех подробностях ужасные сцены в Патерсоне. Он своими глазами увидел угнетателей и то, как они притесняют рабочих и губят их жизнь. То, что он вынес из всего виденного, он уже конкретнее определяет в следующих выражениях: он «твердо усвоил, что предприниматели выжимают из рабочих все, что могут, платят так мало, как только могут, и допускают существование огромных масс несчастных безработных, для того чтобы удерживать заработную плату на низком уровне; что все силы и средства государственного аппарата находятся на стороне имущих и используются против неимущих».

Но если события в Патерсоне и потрясли Рида, они не потрясли его настолько, чтобы побудить его к длительному участию в рабочем движении, выходящему за пределы эпизодических событий самой стачки. И когда его мать сказала ему, что ее страшит его деятельность, он ответил ей: «Я в такой же мере рьяный социалист, как и сторонник епископата. Я знаю, что мое дело — объяснять Жизнь и жить этой жизнью, где бы то ни было — внутри рабочего движения или за его пределами». В Патерсоне он с головой ушел в эту свою новую деятельность, и новизна ощущений доставила ему глубокое удовлетворение. С глубоким волнением Рид ощущал свою связь с этой вдохновляющей, большой жизнью. Но чувство активной ответственности за

происходящее у него исчезло, как только он решил, что он выполнил свой долг. Он уехал отдыхать в Европу.

После возвращения в Нью-Йорк Риду предложили писать корреспонденции о восстании пеонов в Мексике, направленном против новой шайки диктаторов. Предложение поступило от пользующегося широкой популярностью журнала «Metropolitan» («Столичный»), редакторы которого старались использовать в целях наживы всеобщую тягу к реформам. В этом журнале печатались Моррис Хилквит — социалистический лидер, Джордж Бернارد Шоу, Линкольн Стеффенс и другие писатели с репутацией возмутителей интеллектуального спокойствия. Для Рида это направление в Мексику, к которому присоединилось и второе предложение — от газеты Пулитцера «Нью-Йорк уорлд», — было такой блестящей возможностью, какая еще никогда ему не представлялась. Ему было двадцать шесть лет, он горел желанием испробовать свои силы, и ему льстило, что выбор пал на него.

Стоило ему перейти границу, как его охватил ужасный страх: он боялся быть убитым или изувеченным в чужой стране, среди чужих людей, ни языка, ни образа мыслей которых он не знал. Но в огне сражения он обнаружил, что пули не так уж опасны, и страх его рассеялся. Все, что он писал из Мексики, дышало любовью к ней. Его изумительное писательское мастерство превращало его описания природы и людей этой страны в лирические волнующие картины. Он познал дух партизан, их воинственный образ жизни, их невзгоды. Он вместе с ними пел их песни, записывал их баллады и переводил их на английский язык. Они чувствовали, что Рид относится к ним с уважением, и платили ему тем же. Этот пытливый иностранец разделял с ними беды и опасности, вместе страдал от жгучей жажды, хотя мог бы остаться дома и не жить этой тяжелой жизнью обитателей пустыни. Впоследствии, перед отправлением в еще более опасную дорогу, он вспоминал: «В течение четырех месяцев я скакал на коне сотни миль через палимые солнцем равнины, спал на земле вместе с солдатами, танцевал и пировал в разграбленных асьендах всю ночь напролет после целого дня езды. Я всюду был с ними — и в игре и в сраженье, и, может быть, именно этот период моей жизни доставил мне наибольшее удовлетворение. Я был доволен и этими дикими воинственными людьми и самим собой. Я полюбил их и их жизнь».

Вначале он не изучал подробно причин борьбы и всю бурную историю событий. Казалось, что они и не интересуют его. Партизаны были обороняющейся стороной, они хотели получить землю, хотели избавиться от угнетателей, которые убили либерального временного президента Мадеро. Для Рида это было достаточным основанием, чтобы выступить в их защиту. Кроме того, мексиканцы были удивительно близки ему по духу. Так же как и он, они дорожили своей личной свободой. Ему было совершенно безразлично, что американские эксперты по мексиканским делам говорили о Панчо Вилья — вожде партизанской войны, с войсками которого он передвигался. В американской прессе Вилья, естественно, стал объектом всевозможной клеветы, но Рид видел в нем лишь доблестного друга крестьян, жаждущего дать им землю и школы. Рид размышлял над тем, что слышал от империалистических агентов с Севера. Все это звучало так же, как и то, что он слышал от владельцев фабрик в Патерсоне. Они говорили о партизанах, да и обо всех мексиканцах так, будто те были животными, которые должны лишь работать до полного изнеможения, чтобы заработать на пропитание.

Это было первое знакомство Рида с другим видом угнетения и с другим видом борьбы за свободу; это была не сравнительно простая стачечная борьба, а борьба более сложная — аграрная революция, в которой битва шла против внутренних тиранов и иностранных империалистов. Пока он был в Мексике, он не связывал то, что наблюдал там, с более глубокими противоречиями, раздирающими все западное полушарие и даже весь мир, и не задумывался над тем, каким образом эти противоречия приобретают характер симптомов жестокого кризиса, в котором безнадежно погряз близящийся к закату американский капитализм. На первом плане в сознании Рида стоял земельный голод крестьянства. Океан современной жизни бился об узкие берега мексиканского средневековья, и ничто не могло сдержать наступления перемен, которые неизбежно должны были произойти.

Вернувшись домой, он встал на защиту восстания и неутомимо разъяснял, какой вред принесет мексиканской революции вмешательство Соединенных Штатов. В своих речах и статьях он выступал против шумных требований развязывания интервенции. На этот раз, в отличие от его поведения сразу после эпизода в Патерсоне, он признал,

что с него не снимается ответственность за происходящее. В «Метрополитен» он писал, что война против Мексики принесет лишь слезы и несчастье. Можно быть уверенным, писал он, что «американские солдаты не встретят никакого серьезного сопротивления со стороны мексиканской армии. Ведь это все пеоны с их женами, ведущие борьбу на улицах, у дверей их домов». Вот с кем придется им сражаться. А что изменится, когда американские войска покинут страну? Ничего. Большие поместья, безусловно, будут «восстановлены, засилье иностранного капитала возрастет как никогда, ибо мы его поддерживаем, и когда-нибудь в будущем снова вспыхнет мексиканская революция». Он пытался высказать те же соображения, хотя и не в столь резкой форме, президенту Вильсону во время интервью в Белом доме, которое устроил Риду государственный секретарь Уильям Дженнингс Брайан. Президент, казалось, отнесся к Риду сочувственно и изложил свою политику невмешательства в мексиканские дела.

Рида покорили его манера, слова, репутация либерала, и он поверил, что Вильсон будет поступать по справедливости. Хотя американские войска были уже в Вера-Крус, Рид не видел причин не разделять распространенную в народе веру в Вильсона.

В апреле 1914 года, после возвращения из Мексики, он на новых фактах еще больше убедился в тирании Уолл-стрита. В Ладлоу охрана шахт с помощью милиции штата сожгла палатки бастовавших шахтеров и их семей, которые до этого были выселены из своих домов. Эта стачка была одним из целого ряда резких конфликтов на шахтах в Колорадо, которые по временам достигают масштабов гражданской войны. Взрыв возмущения в Ладлоу был гораздо значительнее того, что Рид наблюдал в Патерсоне. Изворотливые шахтовладельцы, находившиеся под контролем рокфеллеровской клики, и газеты, которые говорили их языком, не могли затушевать подлинный характер разногласий. Рид очень тщательно распутывал всю сеть закулисных сговоров между шерифами, губернатором, чиновниками городков, принадлежавших компании, и владельцами шахт — между государственным аппаратом и крупным капиталом. И снова ему стала ясна непроходимая бездна, разделяющая два класса. Описывая стачку, он уделял самое пристальное внимание даже мелким деталям. Это было одновременно и исследование и яркая коррес-

понденция. Он искал доказательств, которые подчас не легко было обнаружить, и все эти усилия Рида свидетельствовали о его росте как писателя с ясным классовым самосознанием, который не удовлетворяется регистрацией своих впечатлений, а считает своим долгом проникать глубже в игру сил, скрывающихся за поверхностью событий.

Теперь не могло быть сомнений по поводу отношения Рида к рабочим и их борьбе. Его связи стали яснее, и он знал лучше, чем когда-нибудь раньше, где его место в этой борьбе, где он чувствует себя свободно и может принести наибольшую пользу. Допускаемые им отклонения от того пути, на который он все решительнее становился, были характерны для человека, который еще не связал некоторых своих интересов со своей главной целью. Некоторые из его гарвардских друзей уже отнесли его к числу отступников, обреченных на вечное проклятие. Время шло, и его радикализм показал себя уже не таким мягким и кротким, и многие другие из его кембриджских друзей решили, что он положительно опасен. На их взгляд, жизнь Рида стала складываться по какому-то чужеземному образцу. Может быть, еще не было ничего страшного в том, чтобы иметь неортодоксальные взгляды, но действовать согласно им и заставлять других действовать таким образом — это уже они рассматривали как нарушение общественного порядка. Более того, его близость к тем, кого они называли «великий неумытый», означала полный отход от своей социальной среды. Но, что очень странно, враждебность, которую они питали к Риду, смешивалась частенько с чувством симпатии к нему за его бодрый дух, душевную энергию, юмор. Он был всегда улыбающимся, и его быстрый ум и веселый нрав подчиняли своему обаянию даже и эти саркастические умы.

Среди прежних его одноклассников были также и интеллектуальные снобы. Был среди них и Уолтер Липпман, который в свои двадцать пять лет стал уже известен в Нью-Йорке как один из жрецов либерализма. Рид высоко ценил его талант, но в то же время с подозрением относился к высокомерно-презрительным взглядам Липпмана на мир и его обитателей и к тонким изощрениям его логики. После того как Рид вернулся из Мексики, овеянный славой корреспондента, Липпман написал в «Нью рипаблик» статью под заглавием «Легендарный Джон Рид». В этой статье снобистское отношение либеральной интеллигенции к Риду

было подкреплено всей силой липпмановского престижа. Липпман подсмеивался над Ридом, хотя статья была обильно пересыпана похвалами. В глазах Уолтера Липпмана Рид был только новичок в серьезных политических вопросах. И отзываясь покровительственным тоном о Риде, Липпман в то же время помогал создавать миф, что Рид — просто повеса, непослушный малый, авантюрист, одаренный выпускник колледжа, тщетно разыгрывающий из себя человека, занимающегося мировыми проблемами.

Рид быстро согласился, что на первых порах его знание теории борьбы рабочего класса было еще очень незрелым. Но он искал помощи у других и шел к марксизму верным путем собственного опыта именно тогда, когда Липпман отказывался от тех социалистических взглядов, которые он высказывал в своих первых очерках. Рид понял это притворство Липпмана. Любой человек, обладавший меньшим чутьем, чем Рид, мог бы не выдержать этих ударов. Но Рид отверг липпмановские взгляды на мир и на него самого и не согласился с теми своими друзьями, которые неодобрительно качали головой из-за того, что он оказался глух к их суждениям.

Рид выдержал это деликатное, но упорное давление. Однако оно не шло ни в какое сравнение с оскорблениями, наносимыми ему теми, кто выступал в защиту справедливости империалистической войны, в которую в 1914 году была вовлечена Европа. Он потерял многих друзей, с которыми, как это ни было больно, ему пришлось порвать. На него было оказано и экономическое давление. Захлопнулись перед ним многие двери, которые раньше были для него широко открыты. Но какие бы удары ни сыпались на Рида, его непримиримость становилась все более твердой.

Когда Рид летом 1914 года поехал в Европу, чтобы писать корреспонденции для «Метрополитен» с Западного фронта, он думал, что обнаружил в поведении правящих кругов США первые слабые, но зловещие признаки вмешательства в войну. В это время он уже понимал причины войны. Он разъяснял в своих статьях, что эта война — война торговцев; и куда бы Рид ни приезжал — в Англию, Францию или Германию, — он быстро убеждался в правильности своей оценки. Там не было и в помине того стихийного порыва и идеализма, которые поразили его во время мексиканской революции. Все остановилось, кроме машины разрушения. Париж был пустым и больным горо-

дом без всякого воинственного пыла, о котором писали другие корреспонденты в статьях, посылаемых ими в свои газеты. Богачи, как всегда, прекрасно проводили время, а большинство социалистических лидеров помогало правительству посылать французскую молодежь на смерть и страдания. Лондон ничем не отличался, за исключением более тонкого лицемерия высших классов и их чудовищно лживых разглагольствований об обороне империи. Так же выглядел и Берлин. И здесь атмосфера была отравлена смрадом своеобразного милитаристского лицемерия. Рида поразило то, что в глубине, за линиями фронта, среди широких масс французского, английского и немецкого народов проявлялось так мало враждебности по отношению к народам стран-противников. Народным массам было трудно уяснить себе, каким образом их вовлекли в эту ужасную бойню, как все это произошло и что означает.

Если не считать жертв, то ни на той, ни на другой из воюющих сторон Рид не увидел ничего, что вызывало бы его сочувствие. Вся эта отвратительная бойня удручала его, вызывала в нем омерзение. Ненависть к ней не позволяла ему писать о славе, знаменах и громе побед, как этого требовал «Метрополитен». Он точно передавал то, что видел, а это отнюдь не было красиво. Он не хотел делать ничего, что могло бы совлечь его читателей с позиций нейтральности.

Его путешествие по Восточной Европе в 1915 году было таким же обескураживающим, как и его поездка на запад этого континента. Уже виденное им на западе Европы казалось пределом ужасного, но резня на Балканах была еще страшнее, а мрачное царство эпидемии и смерти — еще более мрачным. В Гучево (Сербия) он ходил по горе, настолько плотно устланной телами австрийцев и сербов, убитых в отчаянной схватке, что подчас его ноги увязали в ямах, полных гниющего мяса и хрустящих костей. Но не только эта бойня внушала ему отвращение. В такой же степени его возмущали лживые уверения, согласно которым все это объявлялось необходимым для спасения демократии, демократии кровожадного лорда Китченера в Англии и Пуанкаре во Франции, демократии царя Николая. В двухстах милях за линией русского фронта он воочию видел, какие ужасы приходится переживать евреям. И повсюду правительственные чиновники набивали себе карманы взятками. В Греции и Румынии, в России и Тур-

ции — везде всемогущие правители погрязли в болоте коррупции. А народ, за счет которого жили эти взяточники, больше интересовал хлеб, чем победы в войне.

И опять Риду трудно было дать такой репортаж, какого жаждал «Метрополитен». Вместо него он, по собственному определению, писал свои впечатления о людях, попавших в водоворот войны. Но эти впечатления писались с таким расчетом, чтобы показать войну как колоссальную империалистическую ловушку, которой США должны избежать. У него были все основания писать именно так. Сдержанно-сочувственное отношение к участию в войне, которое он замечал в стране еще год назад, теперь сменялось военной лихорадкой. Прежде нейтралитет использовался для маскировки соглашений, заключенных с британским и французским империализмом. Теперь правительственная бюрократия даже и не позаботилась о маскировке, когда она в сотрудничестве с уолл-стритовской фирмой Моргана согласилась предоставить странам Антанты дополнительные кредиты из страха, что без них они будут не в состоянии оплатить военные поставки. Война спасла Соединенные Штаты от жестокого экономического кризиса, но если бы они бросили Лондон и Париж на произвол судьбы, им снова угрожала бы депрессия. Поэтому и был пущен в ход механизм вмешательства в войну, который должен был сохранить в силе гигантские закладные союзников, держателями которых были американские банкиры, и укрепить мировые позиции этих банкиров в борьбе за рынки и сырье. Чтобы оправдать участие Америки в войне, срочно сочинялись различные высокоморальные басни.

Либералы, за небольшим исключением, протитуировали свой талант, прославляя эту бойню. С изяществом и прямо тошнотворной казуистикой, сходящей за логику, они перечисляли доводы в пользу успешной империалистической войны, используя их, чтобы завуалировать наступление правящего класса у себя на родине. Но был писатель, который понимал значение этой измены так же, как и Джон Рид. Это был Рандольф Бурн. Рандольф Бурн побывал в Европе накануне войны, и, когда война начала захлестывать Америку, он, исходя из всего виденного, пришел к заключениям, почти аналогичным выводам Рида. Каждый из них по-своему — Рид как социалист, а Бурн как трезвый прагматик — вел борьбу с войной, причем Бурн писал громовые статьи против малодушных. «Интел-

лигенты,— укоризненно писал Бурн,— солидаризировались с наименее демократическими силами американского общества. В вопросе о войне они стали на позиции тех самых классов, с которыми американская демократия сражалась с незапамятных времен». И Бурн продолжал: «Война или заманчивое будущее Америки: нужно выбирать что-либо одно. Нельзя поддерживать и то и другое, ибо война повредит этому будущему. Она не может идти ему на пользу».

Этот смелый голос ободрял Рида, хотя он приходил в отчаяние при мысли, что таких голосов немного. Некоторое время ему казалось, что война сокрушает все дорогое его сердцу. Вудро Вильсон, которого Рид и многие либералы поддерживали в 1916 году как кандидата в президенты, способного по их расчетам сохранить мир, поддерживали потому, что «Уолл-стрит был против него», в 1917 году отрекся от своих обещаний. Оказалось, что Вильсон не был противником Уолл-стрита и что в действительности Уолл-стрит был не против него. Рид скоро признал, что совершил прискорбную ошибку, и это было одним из обстоятельств, угнетавших его и усиливавших его отчаяние. Это отчаяние, вызванное войной, обострялось болезнью и временным разладом в отношениях с Луизой Брайант. Мать и брат посылали ему резкие письма, осуждая его враждебное отношение к войне. Его больше не превозносили как писателя, хотя всего лишь два или три года назад он почитался великим журналистом; «Метрополитен» сравнивал его со Стивеном Крейном и Ричардом Гордоном Дэвисом, его хвалил Редьярд Киплинг и называл гением Уолтер Липпман. Легко было мчаться на гребне успеха и проповедовать радикализм тогда, когда он не служил преградой на пути к хлебу насущному и не пятнал его репутации. Теперь же совсем другое дело. Теперь на нем лежала печать: он был мятежником, зашедшим чересчур далеко, человеком, который отказывается плыть в общем потоке. Ему, пожалуй, было бы легче переносить свои душевные страдания, если бы, как он надеялся, люди, пользовавшиеся его расположением — рабочие,— выразили бы свою волю и выступили против истерии, жертвой которой они стали. Но они казались ему разъединенными, враждебными друг другу и глухими к своим классовым интересам. Ими плохо руководили. Он вспоминал, какими они были в Патерсоне и Ладлоу, и удивлялся: что случи-

лось с ними с тех пор? Душу его терзали сомнения. Быть может, он в своем романтическом видении приписывал им большее, чем то, на что они были способны? Он преодолел первую преграду и пришел к глубочайшему убеждению, что капиталистическое общество расколото на классы. Это способствовало его формированию как писателя. Теперь перед ним стоял новый барьер. Ответит ли рабочий класс на военное безумие с той силой, какую он знал в нем? Он не был уверен в этом.

Истина заключалась в том, что Рид смотрел на войну однобоко, глазами, затуманенными мрачным состоянием его души. Правда, он чувствовал, что хотя война и изменила в какой-то степени каждого из людей и развеяла политический идеализм прежних беззаботных дней, тем не менее все должно измениться. Он не может «не думать о том, какие возможности, и блестящие и ужасные, таит в себе будущее». Однако этот луч света во мраке не мог рассеять его опасений. Он пытался понять, почему европейские социалисты не сумели предотвратить войну и почему столь многие из них поддерживали ее. Он искал ответа в истории европейского социализма и пришел к заключению, что политическое банкротство его руководства было следствием беспринципной политики Второго Интернационала. Социалисты Соединенных Штатов отrekliсь от своего кандидата на пост президента в 1916 году, когда тот перешел в лагерь сторонников войны. В следующем году партийный съезд в Сент-Луисе принял решительную резолюцию, осуждавшую войну.

Рид не учитывал при этом растущее в стране рабочее движение. В значительной мере оно выражало протест против понижения жизненного уровня, связанного с войной, но нередко в нем проявлялись сильные антивоенные настроения. Кроме того, хотя силы мира и не смогли помешать Уолл-стриту втянуть страну в войну, репрессии внутри нее и все более многочисленные списки потерь создавали чувство разочарования, выражением которого было растущее стремление к миру. Но, что самое главное, Рид недооценил истинное значение интернационалистических тенденций, до поры до времени не проявлявшихся открыто в политической жизни Европы. В 1915 году в Циммервальде (Швейцария) оформилось лево-социалистическое движение против войны. В 1916 году это движение приобрело большой размах и глубину на другой конференции в швей-

царской деревне Кинталь. Руководимая Лениным конференция ускорила разрыв между лидерами, поддерживавшими войну, и теми, кто боролся с ней. Конференция в Кинтале показала наличие сдвига влево среди народных масс Европы.

Полностью поглощенный тем, что происходило на самой арене военных событий, Рид не смог правильно оценить влияние этих конференций на ход войны. Его сомнения были симптоматичными для человека, который на первый взгляд примкнул к рабочему классу, но в действительности лишь бродил ощупью возле его дверей. В известной степени его нетерпение коренилось в чрезвычайном субъективном романтизме. Положительной стороной этого романтизма было то, что его ум и сердце были всегда открыты для свежих впечатлений, для нового опыта, для радостей жизни и мечты. Отрицательная сторона заключалась в том, что, когда обстоятельства, побуждавшие его к действию, не оказывали такого же влияния на рабочих или же действие это было слишком медленным, он падал духом. Ему еще предстояло решить задачу переделки своего сознания путем более полного слияния его самого с рабочим классом. Он еще должен был понять, почему социальное брожение представляло собой сложный процесс, дающий в разных случаях различные результаты и подчас противоречащий сокровенным чаяниям того или иного индивида.

Несмотря на свое подавленное настроение, Рид продолжал бороться с «судейской тиранией, с бюрократическим гнетом и индустриальным варварством». Он не мог оставаться безразличным к разыгрывавшейся вокруг него трагедии или, отгородившись от внешнего мира, замкнуться в своих страданиях. «Единственное, что я знаю,— говорил он в свои самые тяжелые минуты,— это то, что мое счастье построено на несчастье других людей. Я ем, потому что другие голодают, я одет, в то время как другие бродят зимой по холодным улицам почти нагими. Это сознание отравляет мне жизнь, лишает меня покоя». Другие, испытывая подобное смятение чувств, могли бы замкнуться, объявить во всеуслышание, что наступила эпоха без идеалов, и возвести в культ пессимизма свое скороспелое утверждение, что человек порочен по самой своей природе. Они могли бы поверить, что силы империализма настолько велики, что никто и ничто не может совладать с ними. Рид

презирал тех, кто поддавался такому настроению. Он считал это изменой и вел неустанную борьбу с такими настроениями, ибо подобное отношение означало по существу не только обезглавливание сил естественного противодействия империализму, но и трагическое по своим последствиям оставление народных масс на произвол судьбы. Отказ от борьбы был лишь другой формой оказания помощи империалистам в осуществлении ими своих целей. Рид не мог с этим мириться.

Шли месяцы. Они приносили с собой отрывочные известия из Европы об активном сопротивлении войне. На страницах газет начало появляться имя Карла Либкнехта и заметки о его антивоенной деятельности. Радости Рида не было границ. Это казалось ему верным признаком того, что слепой покорности европейских рабочих пришел конец, что начинается новая фаза в жизни общества, о которой он с надеждой писал в проникнутой самоанализом статье в 1917 году, накануне своего тридцатилетия. Статья эта была плодом его отчаяния, которое он пытался унять, бросая взгляд в будущее. И вот осуществлялось то, чего он страстно желал. Больше всего его волновали известия из России. Когда он был там в 1915 году, его поразило могущество сил этой страны, необъятность ее просторов. Само же царское правительство и его государственный аппарат не внушали Рида уважения. «Это как бы отдельная нация, навязанная русскому народу», — писал он. Он чувствовал брожение внутри страны, но не мог до конца ответить на свой же вопрос: «Бушует ли в недрах России могучий разрушительный огонь или это пламя погашено?»

Даже после свержения царя он все еще не верил, что происходят глубокие изменения. Коренные перемены могут иметь место, думал он, но в данный момент похоже на то, что русский капитализм лишь устранил чересчур громоздкий механизм, затруднявший ведение войны. Впрочем, скоро гневный ропот русских перерос в гром революции, и Рид убедился, что происходят «реальные перемены». А под «реальными переменами» он подразумевал «долго сдерживаемое восстание масс в России... и цель этого восстания — учреждение на земле нового человеческого общества». И он отправился в Россию, чтобы своими глазами увидеть происходящее.

Петроград пробудил в нем новые силы. Он прибыл в город в сентябре 1917 года, вскоре после провала контрре-

волюционного заговора генерала Корнилова. Разгром сил Корнилова, пытавшегося осуществить *coup d'état* (государственный переворот), раскрыл истинное соотношение сил в стране. Сторону контрреволюционеров приняли меньшевики, социалисты-революционеры и конституционалисты-демократы (кадеты). Рид правильно подметил, как быстро таяло их влияние. Против них и вероломного Временного правительства выступали большевики, которых возглавлял Ленин, возвратившийся из Швейцарии, где он жил в эмиграции. Не будь их, Корнилов мог бы овладеть Петроградом. Большевики сплотили рабочих и солдат на защиту города. Риду было ясно, что «на фоне бурь и быстрой смены событий... звезда большевиков неуклонно поднимается. Совет рабочих и солдатских депутатов, который после разгрома мятежа Корнилова приобрел огромное влияние, снова является подлинным правительством России, а влияние большевиков в Совете быстро растет».

Рид бродил по городу, прислушивался к разговорам рабочих, к тому, что говорили напуганные представители старого режима. Как отличался теперь Петроград от того города, который он видел во время своей прежней поездки. «Старый город переменился,— писал он другу.— Там, где было отчаяние, царит радость, там, где царила радость, господствует отчаяние. Мы в гуще событий, и это, веришь ли, восхитительно. Кругом столько драматического, о чем нужно писать, что я не знаю, с чего начать. По яркости, насыщенности действием и величию эти события заставляют бледнеть Мексику». В генеральном штабе революции — Смольном он расспрашивал всех, с кем только ему удавалось побеседовать. Он пытался постигнуть значение событий, по мере того как узнавал о них, и непрерывно записывал все в своем блокноте.

Все виденное утверждало его в мысли, что он является свидетелем величайших поворотных событий в истории человеческого общества, открывающих начало социалистической эры. Этот поворот, по словам Ленина, уже вырвал первые сто миллионов населения земного шара из когтей империализма и империалистической войны. Где бы Рид ни бывал — на фронте ли, на митингах, на улицах ли Петрограда,— он везде видел, какую жизненную силу, какое бурное ликование принесло с собой освобождение от оков прошлого. Народ выбрался из пропасти отчаяния и, став хозяином своей судьбы, показывал теперь, какой творче-

ский гений таится в нем. Риду было понятно восхищение рабочего, который, глядя на Петроград, внезапно воскликнул, обращаясь к нему: «Все это теперь мое! Мой Петроград!»

Когда Ленин, выступая в Смольном на Втором съезде Советов в четверг ночью 8 ноября 1917 года, спокойно произнес электризирующие слова: «Теперь пора приступить к строительству социалистического порядка!»,— Рид вскопчил вместе со всеми и громко и радостно кричал, выражая свое одобрение. «Неожиданный и стихийный порыв поднял нас всех на ноги,— вспоминал он позже,— и наше единодушие вылилось в стройном, волнующем звучании «Интернационала». Какой-то старый, седеющий солдат плакал, как ребенок... Могучий гимн заполнял зал, вырывался сквозь окна и двери и уносился в притихшее небо... А когда кончили петь «Интернационал» и мы стояли в каком-то неловком молчании, чей-то голос крикнул из задних рядов: «Товарищи, вспомним тех, кто погиб за свободу!» И мы запели похоронный марш — медленную и грустную, но победную песнь, глубоко русскую и бесконечно трогательную... Во имя этого [во имя счастья народа] легли в свою холодную братскую могилу на Марсовом поле мученики Мартовской революции, во имя этого тысячи, десятки тысяч погибли в тюрьмах, в ссылке, в сибирских рудниках».

В ходе революции Рид нашел ответ на мучившие его вопросы. Отныне он больше не сомневался в рабочих. Восставший русский рабочий класс вел решительную борьбу, пополняя свои силы за счет своего союзника — беднейшего крестьянства. Там, где другие уклонялись от того, чтобы сделать логически необходимый следующий шаг, рабочие были непоколебимы. Ни обман либералов, ни временные поражения не могли отвлечь их от борьбы за свое полное освобождение.

Революция была своего рода школой, в которой Рид проходил ускоренное обучение. Она убедительно показала ему, «что в конечном итоге собственнический класс верен только своей собственности. Имущий класс никогда по своей воле не пойдет на компромисс с рабочим классом. Рабочие же массы могут не только вынашивать великие замыслы, но и обладают силой претворять эти мечты в жизнь». Именно в этом и заключалась суть внутреннего конфликта, существовавшего прежде в сознании Рида. От-

ныне этот конфликт больше уже не мучил его: Патерсон, Мексика, Ладлоу и, наконец, сама война — все это подготовило его к революции. В Петрограде и в Москве он уже знал, что надо искать в событиях и под каким углом зрения смотреть на них. Так сплелись воедино разрозненные нити его опыта прошлых лет. Это был трудный, но неуклонный рост.

Рид не мог уже больше удовлетворяться простой регистрацией своих впечатлений, как бы лирически они ни выражались. Более чем когда-либо, он стремился найти внутреннюю связь событий в этом процессе беспрестанных изменений и сдвигов. Различие между большинством его ранних произведений и произведений, посвященных революции, определялось разницей между позициями горячего сочувствия и непосредственного участия. В Мексике он принимал участие в партизанской войне, чтобы удовлетворить свою жажду впечатлений и придать драматический оттенок своему репортажу. Его отождествление с событиями было чисто физическим, оно определялось характером самого восстания. В России же это отождествление с революцией было полным и прочным. Наконец-то он понял, что революционное рабочее движение — это его якорь спасения. И он понял не только это. Он увидел также, что именно эта революция открыла перед всеми угнетенными новые перспективы. В результате его статьи приобрели эмоциональную силу и глубину мысли, выходящие за пределы умелого сочетания слов в ритмически построенном предложении. В них появилось острое восприятие сути исторических событий и более глубокое понимание значения теории. То, что он написал о русской революции в своей книге «Десять дней, которые потрясли мир», где яркие практические подробности с необычайным искусством сплетаются в торжественно звучащую тему, показывает, какой огромный шаг вперед он сделал!

«Десять дней...» были первым в Америке обстоятельным отчетом, в котором отобразилось мировое значение революции. Рид овладел ее основными принципами, хотя и не был достаточно знаком со всей сложной политической ситуацией, характеризующей революцию с начала 1917 года.

Он не был, например, знаком с протоколами VI съезда большевистской партии, заседавшего тайно в конце июля — начале августа вследствие террора, развязанного против него Временным правительством. А этот съезд имел

огромное значение. Он нацеливал большевиков на решительную битву с правительством Керенского и представляемой Керенским буржуазией военной формации. Преследуемый полицией Ленин вынужден был скрываться, и в отсутствие Ленина от его имени и от имени Центрального Комитета большевистской партии выступил Сталин. Он сделал два больших доклада: один о политическом положении, другой о тактике большевиков *. Съезд повел борьбу против капитулянтов внутри партии и дал отпор их попыткам сбить партию с пути социалистической революции.

Таковы были некоторые важные моменты, оставшиеся неизвестными Риду. Он поэтому ничего не знал о роли Сталина и о его тесном сотрудничестве с Лениным. Кроме того, завися от других в смысле получения информации о дискуссиях и решениях большевистского руководства, Рид допускал и ошибки в изложении хода заседаний Центрального Комитета. Особенно это относится к периоду принятия в октябре резолюции об организации вооруженной борьбы за власть. И все же, несмотря на свои недостатки, «Десять дней...» были бесценным в своем роде документом. Для своего времени книга сыграла роль силы, работающей на социализм. Она пробуждала людей, точно так же как революция пробудила самого Рида. Она помогла прорвать цензорский кордон, установленный вокруг России непримиримо враждебным ей капиталистическим миром. Она побудила многочисленных ее читателей глубоко задуматься над этим великим историческим событием, современниками которого они являлись.

Рид вернулся в Соединенные Штаты в апреле 1918 года. Он постарался ускорить свой приезд, чтобы явиться на суд над редакторами журнала «Массы», которых обвиняли в заговорщицкой деятельности с целью воспрепятствовать вербовке военнотружущих и в возбуждении духа неподчинения в вооруженных силах. Но обвинения правительства были столь явно несостоятельны, что суд не смог прийти к какому-либо решению. За день до приезда Рида в Нью-Йорк часть обвинений была снята, хотя первый пункт остался в силе.

* Доклады И. В. Сталина были сделаны на основе написанных Лениным для съезда тезисов о политическом положении и таких работ, как «К лозунгам», «Три кризиса», «Политическое положение» и др.— *Прим. ред.*

Страна была охвачена военной истерией, и власти не давали Риду покоя. Не успел он высадиться на берег, как его бумаги были конфискованы. Большие газеты и журналы наотрез отказались его печатать. По общему признанию, Рид был выдающимся американским журналистом и к тому же очевидцем величайшего события эпохи. И тем не менее ни один издатели за пределами крохотной радикальной прессы не желал отводить под его статьи ни единого дюйма на страницах своих изданий. Если бы только Рид пожелал писать пошлости и непрестанно поносить Москву, к его услугам были бы первые страницы всех газет и журналов. Но пробуждать здоровый интерес к русской революции, рассказывая о ней в газетах, где это могли прочесть миллионы,— нет, этого ему не могли позволить! Заговор с целью распространения мифов и увековечивания невежества и ненависти развертывался вовсю. И Рид, как писатель, одним из первых почувствовал его мертвую хватку.

И все же он выступал с речами на доброй дюжине митингов на Востоке и по всему Среднему Западу. Всюду, где он говорил, залы были битком набиты восторженной публикой... и полицией. На митинге в Бруклине его окружила сотня полисменов. В Филадельфии на него набросился полицейский лейтенант, который затем пытался его арестовать за призыв к мятежу. Днем позже, выступая в Бронксе, он был схвачен и обвинен в подрывной деятельности. Это было изнурительное занятие, но Рид казался неустойчивым, и слушателями передавалось его боевое настроение и энтузиазм. Он доказывал им, что все печатаемое в буржуазной прессе в качестве новостей из России — это ложь, и притом неумная ложь. Он объяснял им со всеми подробностями мероприятия Советов. Он разоблачал интервентов и без устали напоминал своим слушателям, что, хотя первое государство рабочего класса находится в кольце смертельно ненавидящих его врагов, нет силы, которая могла бы уничтожить его.

Рид не питал никаких иллюзий относительно того, что его выступления могут существенным образом изменить обстановку в стране, где господствует страх. Но, несмотря на эту гнетущую атмосферу, его голос теперь не звучал так одиноко, как прежде. Новые жестокости, рассчитанные на то, чтобы сокрушить силы противодействия империализму, свидетельствовали о том, что эти силы растут. Его радо-

вала энергичная борьба, которую еще вели левое крыло социалистов и ИРМ при поддержке других представителей рабочего движения. Полицейские облавы и налеты, избиения, обмазывание растопленной смолой и вываливание в перьях — все это раскрывало истинную природу войны все большему числу американцев. И если то, что он говорил, разоблачало подлинную сущность войны, он готов был повторять это любой ценой. Его уже осыпали проклятиями и угрозами, а одна газетенка даже требовала, чтобы его немедленно линчевали. Но наряду с этим он получал сотни писем от мужчин и женщин, участвовавших в битве за гражданские права, которые слышали его на митингах или читали его статьи. Все они благодарили его за борьбу, которую он вел. Одно письмо пришло от Юджина Дебса. «Вы пишете совсем не так, как другие,— писал ему тот.— Ваш стиль мне очень нравится. Во всем, что Вы говорите, чувствуется живое дыхание чего-то нового, биение его пульса». Этим письмом Рид дорожил, ибо ему был дорог человек, неумоимо борющийся против империалистической войны.

Рид стал одной из наиболее известных фигур в левых кругах Соединенных Штатов. Его высокая репутация тем более раздражала его врагов, что его одаренность как писателя была очевидной. Кроме того, он происходил из старинной американской семьи и был питомцем Гарвардского университета. Тем самым Рид опровергал выдуманный ими миф, что каждый ратующий за дружбу с русскими обязательно должен быть иностранцем по происхождению. Его знакомых по Гарвардскому клубу раздражало также то, что он казался исполненным уверенности и спокойствия. Хотя внешне Рид, на первый взгляд, не переменился и был по-прежнему весел и жизнерадостен, в действительности он стал тверже и дисциплинированнее. На суде во время второго процесса над журналом «Массы» он рассказывал об ужасах, на которые насмотрелся в Европе в качестве военного корреспондента, и о том, как противно было ему читать в нью-йоркских газетах великосветскую хронику, рассказывавшую о балах в честь жертв войны. Судья ежеминутно прерывал его стуком молотка, не давая ему объяснить, почему он является противником войны, и позволяя говорить лишь то, что дало бы основания запрятать его в тюрьму. Присяжные снова разошлись во мнениях.

Отдаваясь политической деятельности, Джон Рид надеялся, что когда-нибудь в будущем он сможет вернуться к поэзии.

Большая часть его стихов была написана в более молодом возрасте под влиянием условных форм, на условные темы. Не приходится сомневаться, что, будь у него больше времени, в его стихах нашел бы отражение новый образ его мыслей. Так или иначе, они полны искреннего поэтического чувства, им нельзя отказать ни в музыкальности, ни в изящности построения. И все же в целом все они касались главным образом его личных переживаний или представляли собой поверхностные зарисовки жизни. Но будь у него больше досуга, он смог бы со временем выражать свои убеждения в поэзии с такой же жизненной силой, как он это делал в прозе.

Мечтой, пленившей воображение Рида и пробудившей его энергию, была мечта о социализме. Не раз после возвращения из России его поносили как иностранного агента. Никто лучше его не знал, насколько лживы были эти обвинения. В русской революции и социализме он видел осуществление своих идеалов и реальность тех надежд, которые он вместе с бесчисленными американцами лелеял задолго до ноября 1917 года. И если и можно говорить о нем как об «агенте», то только как об «агенте» непобедимой идеи, которую никогда нельзя ограничить пределами, идеи, принадлежавшей не исключительно какому-либо народу и стране, а всем угнетенным земного шара.

Однако между идеей и ее осуществлением лежала глубокая пропасть. Теперь он узнал, как можно заполнить эту пропасть. Именно это пугало больше всего в нем его врагов. А его врагами были не только представители враждебного класса, но и члены правящей верхушки самой Социалистической партии Америки. Их политика потерпела банкротство, так же как и политика большинства социалистических лидеров в Европе в ходе войны и после нее, когда волна революции пронеслась по ряду стран. Руководители американского социалистического движения погрязли в трясине бюрократизма. Они до неузнаваемости выхолостили и исказили марксизм.

Именно поэтому Рид хотел, чтобы во главе партии стало новое руководство, которое сплотило бы ее вокруг

левого крыла, пытавшегося в прошлом, правда безуспешно, устранить оппортунистов от власти. При этом Рид и его единомышленники хотели создать такую партию, которая прочно опиралась бы на рабочих с развитым классовым сознанием, уходила бы корнями в марксизм. Когда борьба внутри партии обострилась, Рид начал было надеяться, что партия сможет избавиться от своего пагубного руководства и превратиться в боевую силу. Это оказалось невозможным, и Рид принял участие в создании организации, которая позднее превратилась в Коммунистическую партию Соединенных Штатов.

Эта работа требовала глубокого понимания идей марксизма, и, несмотря на свою бурную деятельность, Рид принялся за изучение его. В своих статьях он пытался выяснить причины, определившие особый путь развития Американской федерации труда. Затем он занялся обзором истории американского социалистического движения и изучением вопроса, почему социалистическая партия утратила свой боевой дух. В заключение он сделал попытку проанализировать отношение государства к борьбе американского рабочего класса.

В написанных им статьях и других теоретических работах чувствовалась незрелость, которая свидетельствовала не столько о его неопытности в вопросах теории, сколько о том, что в то время коммунистическое движение еще не нашло себя, в нем еще сильны были немарксистские влияния. Особый отпечаток на его статьи накладывало стремление обнаружить те черты американской истории и рабочего движения, которые препятствовали развитию в среде американского рабочего класса подлинной марксистской партии. До того как он отдался этому исследованию — хотя он и приступил к нему вооруженный исключительно богатым опытом, — его политические знания были эмпирическими и хаотичными. Этим объяснялась его страстность, отнюдь не умеряемая анархичностью того общества, в котором он вращался, и контрастом между тем, чего он желал, и тем, что происходило на самом деле. Исследуя прошлое и одновременно не теряя из виду рационального зерна настоящего, он выделял из путаницы опыта те элементы американской жизни, которые могли бы помочь делу создания новой боевой партии. Его недавний опыт оказывал ему огромную помощь в решении этой задачи, — задачи, которой он, сам того не ведая, долгое время избе-

гал и которая в свою очередь ускользала от него, пока он еще не был во всеоружии теории марксизма. Он был пионером в подлинном смысле этого слова, ибо пытался покончить с устаревшими представлениями при решении вопроса о том, каким образом осуществить те возможности, которые таит в себе американская действительность.

Когда Рид вернулся в Россию осенью 1919 года, все увиденное в Москве лишь подтвердило его высокое мнение о героизме русских. В течение двух лет, прошедших со времени его отъезда, в стране шла гражданская война.

Война сопровождалась иностранной интервенцией с ее ужасными опустошениями. И все же, по его наблюдениям, массы были настроены оптимистически и полны воодушевления. Советское строительство шло с предельно возможной быстротой. Повсюду заметны были признаки прогресса. О нем свидетельствовали новые школы, улучшение социальных условий и инициатива рабочих в промышленности. Рид снял комнату в Москве, сам готовил себе пищу, разъезжал по фабрикам и деревням. Время от времени он навещал Ленина. Он не уставал восхищаться гением этого человека, его железной логикой, блестящим умом, огромной духовной смелостью.

За время его отсутствия А. Митчелл Пальмер — министр юстиции в правительстве Вильсона — предпринял серию налетов на помещения и места собраний коммунистов и социалистов. Пять тысяч человек было арестовано. Против Рида как лидера коммунистов было заочно возбуждено в Чикаго судебное дело. Рид немедленно попытался вернуться домой. При второй попытке прорваться через антисоветскую блокаду его арестовала финская полиция. Вашингтон отказался вмешаться, чтобы добиться его освобождения или помочь ему вернуться в Нью-Йорк. «Я попросил у здешнего американского консула паспорт для возвращения домой,— писал он жене из своей камеры в Або.— Он не ответил, так же как не отвечал затем и на все мои послания. Позже он сказал одному финскому чиновнику, что ни в коем случае не может дать мне паспорт». По-видимому, это был единственный способ, обеспечивавший возможность прессе распространять гнусную ложь о том, что Рид уклоняется от суда. Когда же финские вла-

сти, наконец, освободили его, у него не было другого выхода, как вернуться в Москву.

Одиннадцать недель одиночного заключения подорвали его здоровье. Еще не совсем оправившись, он принял участие в подготовке Второго конгресса Коммунистического Интернационала. Конгресс открылся в июле 1920 года. Рид был избран членом Исполнительного Комитета Интернационала. В лихорадочные дни заседаний конгресса он был явно нездоров, хотя казался неутомимым. Присущие ему жизнерадостность, живость и юмор скрывали тот факт, что в действительности он был изнурен и совершенно болен. Он не мог отказать в просьбе, обращенной к нему и к другим, присутствовать на съезде народностей Востока в Баку.

Когда он вернулся в Москву, там его уже ожидала жена, только что прибывшая в Россию. Они провели несколько дней вместе, навещали Ленина и других советских руководителей, бродили по картинным галереям, смотрели балет. Он говорил о своем намерении писать новую книгу, о возвращении домой и явке на суд, о своей будущей работе в американском коммунистическом движении. А затем пришла болезнь. Сначала казалось, что это была лишь инфлюэнца, но позднее диагноз показал, что у него тиф. Доктора ухаживали за ним, пытались спасти его, но все их искусство оказалось на этот раз бессильным. В блокированной стране не было лекарств. В воскресенье 17 октября 1920 года, за пять дней до своего тридцатитрехлетия, Джон Рид умер.

Тело его под охраной почетного караула из красноармейцев в течение недели лежало в гробу в Колонном зале Дома Союзов. Тысячи русских приходили отдать дань американцу, который с таким глубоким пониманием и сочувствием относился к их борьбе. В ряде городов на его родине, несмотря на царившие там гнет и террор, искренне оплакивали молодого руководителя американского рабочего движения, который так доблестно сражался за усыновивший его класс. Даже газеты, изливавшие на живого Рида потоки яда, теперь восхваляли его. Лев умер, и шакалы могли теперь выразить воем свое облегчение.

В своей жизни Джону Риду довелось увидеть, как сужается и рушится старый мир в горниле войны. Одним из первых Рид перешел на сторону социализма, — что ускори-

ло его созревание как политического деятеля,— навсегда безраздельно связал с ним свою борьбу. Он был полон страстной веры в будущее, где не будет ни бедности, ни войны, никакого унижения человеческого достоинства, веры в социализм как путь к полному освобождению человека. Нелегко было найти этот путь, и еще труднее было по нему идти. Но борьба закалила Рида, сделала его неутомимым врагом империализма.

Биография Рида отнюдь не кончается с его смертью. Годы, прошедшие со дня его кончины, возвеличили его героический труд, направленный на сближение американского и советского народов, на соединение их прочными узами дружбы и взаимопонимания. Джон Рид и поныне продолжает жить как светлый символ мира и патриотизма, патриотизма, который побуждает каждого бороться за то, чтобы его страна играла действительную и почетную роль в прогрессе человечества.

ВОЙНА В ПАТЕРСОНЕ

В Патерсоне, штат Нью-Джерси, разгорелась война, но война своеобразная. К насилию прибегает лишь одна сторона — владельцы фабрик. Их слуги — полицейские — избивают дубинками беззащитных мужчин и женщин, топчут лошадьми послушных закону граждан. Их наймиты — вооруженные сыщики — расстреливают ни в чем не повинных людей. Принадлежащие владельцам фабрик газеты «Патерсон пресс» и «Патерсон колл» печатают подстрекательские статьи, призывают к преступлениям, к насильственным действиям против руководителей стачки. Кэррол, главный судья города,— их ставленник. Он выносит суровые приговоры мирным пикетчикам, арестованным во время полицейских облав. Полиция, печать, суд — все в бесконтрольном распоряжении хозяев фабрик.

Против них поднялись двадцать пять тысяч рабочих шелкоткацких фабрик. Из них в активной борьбе участвуют не более десяти тысяч. Единственное их оружие — линии пикетов.

Позвольте мне рассказать вам о том, что я увидел в Патерсоне, и вы сами решите, которая из борющихся сторон действовала «по-анархистски» и вразрез с «американскими идеалами».

Шесть часов утра. Моросит дождь. Мрачные и холодные улицы Патерсона безлюдны. Но вот появилась группа — около двух десятков полицейских. Они медленно брели по улице с дубинками под мышкой. Мы обогнали их и направились к фабричному району. Здесь нам стали попадаться идущие туда же рабочие; воротники их пальто были подняты, руки засунуты в карманы.

Мы вышли на длинную улицу, по одну сторону которой тянулись здания шелкоткацких фабрик, а по другую —

деревянные многоквартирные дома. Люди высовывались из окон и дверей домов, весело смеясь и непринужденно болтая, как в праздничный день после завтрака. В их поведении не чувствовалось ни ожидания какой-либо беды, ни напряженности или страха. Тротуары были почти безлюдны, только у фабричных зданий медленно прогуливались взад и вперед под дождем человек пятьдесят. Они ходили парами: мужчины, молодые парни, кое-где мужчина с женщиной.

С наступлением дня потеплело. Многие вышли из домов и стали расхаживать по улице, собираясь небольшими группами на перекрестках. Люди энергично жестикулировали, но разговаривали вполголоса, часто посматривая на перекрестки улиц.

Неожиданно появился полицейский, размахивая дубинкой.

«А-а-а...» — тихо прокатилось по толпе.

Шесть мужчин укрылись от дождя под навесом у входа в пивную. «Убирайтесь! Живо!» — гаркнул полицейский, надвигаясь на них. Мужчины спокойно повиновались. «Освободите улицу! Немедленно расходитесь по домам! Не стойте здесь!» Все молча уступили полицейскому дорогу, но вновь сгрудились, как только он удалился прочь. Появились еще полицейские. Грубо, с бранью расталкивали они народ, но это не имело успеха. Никто им не отвечал. Злые, небритые, с мутными глазами, эти полисьмены за девять недель непрекращающейся борьбы со стачечниками, очевидно, дошли до полного изнеможения.

На тротуаре у фабричных зданий линия пикетчиков достигла примерно четырехсот человек. Несколько полицейских грубо расталкивали плечом стоящих, выскивая, к чему бы придраться. Прошел рабочий с жестяным ведерком под охраной двух сыщиков. «Вон! Вон отсюда!» — раздалось с разных сторон. Двое молодых итальянцев, которые стояли, прислонившись к фабричной ограде, встретили его смешками и угрозой, как это делают в Ирландии: «Скэб, поди-ка сюда, я тебе голову оторву!» Полицейский грубо схватил парней за плечо. «Проваливайте к черту отсюда!» — закричал он, толкая их в угол, где стал бить их ногами. В толпе никто не издал ни звука, не шелохнулся.

Несколько далее по улице мы увидели, как толстый полицейский вдруг остановился перед молодой женщиной

с зонтиком, стоявшей в пикете. «Какого черта *вам-то* здесь нужно?— рявкнул он.— Проклятье, убирайтесь домой!» — и он поднес дубинку прямо к ее рту. «Я не пойду домой! — пронзительно закричала она со сверкающими от гнева глазами.— У, ты, толстая морда!»

Численность пикетчиков все росла и росла. Собирались молча. Группами, парами забастовщики патрулировали вдоль тротуаров. Никто уже не смеялся. В глазах у всех горела ненависть. Ведь забастовщики в большинстве своем были пылкие итальянцы, а полицейские — самые жестокие головорезы, которые вот уже девять недель оскорбляли и избивали их. Я еще удивлялся терпению бастующих.

Дождь полил сильнее. Я попросил у одного мужчины разрешения постоять на крыльце его дома. Перед крыльцом стоял полицейский. Звали его, как я узнал позже, Маккормак. Мне пришлось обойти его, чтобы подняться на ступеньки.

Вдруг он обернулся и выпалил, обращаясь к владельцу дома: «Все эти парни живут в этом доме?» Мужчина указал на себя и еще трех забастовщиков, а затем отрицательно мотнул головой, указывая на меня.

«Тогда убирайся отсюда к дьяволу!» — заорал полицейский, указывая на меня дубинкой.

«Этот джентльмен разрешил мне стоять здесь. Дом принадлежит ему».

«Ничего не значит, делай, что я тебе приказываю. Убирайся отсюда, да поскорее, черт возьми!»

«И не подумаю!»

Тогда он подскочил ко мне, схватил меня за руку и силой вытолкнул на тротуар. Другой полицейский схватил меня за другую руку, и они дали мне пинка.

«Ну теперь убирайся с этой улицы», — заявил полицейский офицер Маккормак.

«Не желаю уходить ни с этой, ни с какой другой улицы. Если я нарушил закон — арестуйте меня».

Маккормак был ужасно смущен моим требованием. Он не собирался меня арестовывать и заявил об этом с множеством проклятий.

«Ваш номер я *приметил*, — заявил я спокойно, как только мог, — не скажете ли вы мне теперь ваше имя?»

«А я раскусил *твой* номер, — проревел он. — Ты арестован».

Он положил мне руку на плечо и повел по улице.

Полицейский был явно недоволен тем, что ему *пришлось* меня арестовать, так как не мог предъявить мне никакого обвинения. Я ровным счетом ничего не сделал. Он чувствовал, что должен заставить меня сказать хоть что-нибудь, что можно было бы выдать за нарушение закона. Чтобы добиться этого, он проклинал меня, осыпая ругательствами и непристойными словами, грозил своей дубинкой и цедил сквозь зубы: «Ты... болван!.. Хотел бы я выбить из тебя дубинкой всю дурь!»

На все эти угрозы я отвечал веселыми шутками.

Двое других полицейских пришли ему на помощь и осыпали меня новыми ругательствами. Но вскоре я заметил, что они повторяются, и немедленно сказал им об этом. «Стоило мне проделывать весь путь до Патерсона, чтобы взять верх над каким-то фараоном!» — заявил я. Эврика! Наконец-то они уличили меня в преступлении. Когда я был доставлен к судье, это мое замечание было поставлено мне в вину.

Меня втиснули в тюремный автомобиль и повезли под непрекращающийся звон колокольчика вдоль линии пикета. Мы ехали под крики: «Вон, фараоны!» — и иронические приветствия. Люди с воодушевлением махали нам руками.

После допроса в главном управлении меня поместили в арестантскую камеру. Камера была около четырех футов в ширину и семи футов в длину, а потолок был всего на фут выше человеческого роста. В ней помещались железная койка, подвешенная на цепях к боковой стенке, и страшно грязная открытая параша в углу. В подобные камеры три дня назад бросили большую партию пикетчиков. Их сажали *по восемь, девять человек в камеру* и держали без пищи и воды в течение 22 часов. Среди них была молодая девушка лет семнадцати, которая, идя во главе процессии рабочих, подошла вплотную к сержанту полиции и предложила ему арестовать их всех.

Несмотря на ужасные условия, усталость и жажду, эти заключенные *не переставали бодро перебрасываться словами и петь весь день и ночь напролет.*

Примерно через час наружная дверь с лязгом отворилась, и полицейские втолкнули в коридор около сорока пикетчиков, смеявшихся и перебрасывавшихся шутками. Их заперли в камеры, по двое в каждую. Вскоре поднялся

адский шум. Заключенные приподнимали тяжелые железные койки и с грохотом ударяли ими о металлические стены. Это напоминало стрельбу целой батареи пушек.

«Да здравствует ИРМ!» — выкрикнул кто-то. И сейчас же все в один голос откликнулись: «Ура!»

«Да здравствует главарь бездельников!» (По адресу начальника полиции Бимсона.)

«Долой!» — заорали сорок глоток. В этом крике чувствовалась такая ненависть, какой я никогда раньше не замечал в этих людях.

«К черту майора Макбрайда!»

«Доло-о-о-й!» В железной коробке тюрьмы звуки разносились очень гулко, и этот крик был ужасен и грозен.

«Да здравствует Хейвуд *! Да здравствует единый большой союз! Ура! Да здравствует стачка! К черту полицию! Долой! Долой! Ура!»

«Музыку! Музыку!» — кричали итальянцы. В ответ на это какой-то голос запел, подражая гитаре: «Трень-брень, трень-брень», — а другой, сочный тенор, затянул первый куплет итало-английской песенки, написанной и положенной на музыку одним из участников забастовки. Песенка предназначалась для собраний забастовщиков. Запевала обращался к хору:

«Нравится ли вам мисс Флинн?» **

Хор: «Да! Да! Да! Да!»

«Нравится ли вам майор Макбрайд?»

Хор: «Нет! Нет! Нет! Нет!»

«Ура! Да здравствует ИРМ!»

Хор: «Ура! Ура! Ура!»

«Бис! Бис!» — закричали все, хлопая в ладоши, гремя койками. Появился полицейский офицер и потребовал прекратить шум. Его встретили криками «долой» и насмешливыми возгласами. Кто-то попросил воды. Полицейский налил полную оловянную кружку и поднес ее к двери камеры. Вдруг из-за двери просунулась чья-то рука и вышибла кружку из его рук. «Скэб! Убийца!» — прон-

* Уильям Д. Хейвуд («Большой Билл») — руководитель Западной федерации горняков, один из основателей ИРМ и организатор многих рабочих выступлений. Впоследствии вступил в коммунистическую партию.— *Прим. ред. ам. изд.*

** Елизабет Гэрли Флинн — в то время одна из руководителей ИРМ. Позднее активная участница рабочего движения и руководящий деятель Коммунистической партии США.— *Прим. ред. ам. изд.*

зительно закричали отовсюду. Полицейский ретировался. Шум продолжался.

Приближалось время судебного разбирательства у главного судьи города. Но вдруг разнесся слух, что в окружной тюрьме нет больше свободных мест. Словно в подтверждение этому неожиданно появились полицейские и стали отворять двери камер. Забастовщики с радостными возгласами покинули тюрьму. Их голоса доносились до меня с улицы, откуда освобожденные, смешавшись с ожидавшей их у ворот тюрьмы толпой, направились обратно на линию пикетов.

Вскоре я предстал перед главным судьей Кэрроллом. У м-ра Кэрролла было умное, жестокое, неумолимое лицо, как у большинства чиновников полицейского суда. Но он хуже большинства таких чиновников. Он приговаривает нищих *к шести месяцам заключения* в окружной тюрьме, не дав им сказать ни слова в свою защиту. Он также посылает маленьких детей туда, где они оказываются в обществе наркоманов и бродяг, людей с открытыми гноящимися язвами на теле. Он заключает их в окружную тюрьму, где воздух отвратительный и нечем дышать, а пища полна смертоносных ядов, и даже взрослые люди там заболевают и теряют здоровье.

М-р Кэрролл прочел обвинительный акт против меня. Затем мне разрешили рассказать, что со мной произошло. Полицейский офицер Маккормак преподнес такое хитро-сплетение лжи, которое, я уверен, он сам никогда не сумел бы сострепать. «Джон Рид,— заявил главный судья,— двадцать дней». Все было кончено.

Так я попал в окружную тюрьму. В приемной тюрьмы меня вновь допросили, обыскали, чтобы проверить, нет ли у меня припрятанного оружия, и отобрали деньги и ценные вещи. Затем распахнулась огромная железная решетчатая дверь, я спустился на несколько ступенек и оказался в огромном пустом помещении, куда входило три яруса камер. Около восьмидесяти заключенных бродили вдоль стен, разговаривали, курили, ели присланные из дома продукты. Более половины заключенных составляли забастовщики. Все они были в верхней одежде. Их держали в тюрьме впредь до рассмотрения их дел коллегией присяжных, решающей вопрос о передаче дел в суд, обещающая отпустить на поруки тех, за кого будет внесен залог в 500 долларов.

Посредине камеры окруженный тесной толпой низкорослых людей со смуглыми лицами возвышался «Большой Билл» Хейвуд. Его огромные руки двигались в такт словам. Он что-то объяснял столпившимся вокруг него людям. Широкое, с резкими чертами лицо Хейвуда, испещренное рубцами и шрамами, было словно высечено из камня. Оно излучало спокойствие и силу. Арестованные забастовщики — один из многочисленных маленьких отрядов, отчаянно сражавшихся в авангарде трудящихся, — оживали и набирались сил при одном лишь взгляде на Билла Хейвуда, при звуке его голоса. Они смотрели на него с нескрываемой любовью. Вялые лица, помертвевшие от разъедающей рутины повседневной работы в лишенных солнца мастерских, озарялись надеждой и пониманием. На лицах, покрытых рубцами и кровоподтеками от ударов полицейских дубинок, появлялись улыбки при одной мысли, что они вернутся обратно на линию пикетов. У некоторых забастовщиков лица покрылись морщинами и исхудали от девятинедельного голодания и нищеты. На них были видны следы глубокого страдания и знаки страшной жестокости полиции. Но ни на одном лице не было заметно разочарования, колебания или страха. Один итальянец сказал мне с горящими глазами: «Мы все — единый большой союз. Слово «ИРМ» запечатлено в сердцах народа».

«Да! Да! Верно! ИРМ! Один союз!» — заговорили наперебой все тихими, но полными чувства голосами, толпясь вокруг.

Я обменялся с Хейвудом рукопожатием.

«Ребята, — сказал Хейвуд, указывая на меня, — этот человек хочет знать все о событиях. Расскажите ему об этом».

Они окружили меня, пожимали мне руки, улыбались, приветствовали меня. «Как плохо, что ты попал в тюрьму, — говорили они с сочувствием. — Мы все расскажем. Да. Да. Ты славный парень».

И они рассказали мне все, что могли. В большинстве своем они были еще очень слабы и истощены после ужасно проведенной ночи в камере предварительного заключения. Некоторых забастовщиков арестовали, когда они, пикетируя, ходили взад и вперед вдоль фабричных зданий. Их поставили в ряд у стены, а затем отправили в тюрьму, якобы за участие в «незаконных собраниях». Других дубинками загнали в тюремный автомобиль, обвинив в «бунте», в то время как они спокойно поджидали трамвай, воз-

вращаясь домой после пикетирования. Они предстали перед теми же присяжными, которые ранее предъявили обвинение Хейвуду и Гэрли Флинн. *Четверо присяжных были владельцами шелкоткацких фабрик, один — главой местного отделения компании Эдисона (рабочих которой Хейвуд пытался поднять на забастовку). Среди них не было ни одного рабочего.*

«Никто из нас не внес залога,— сказал один из забастовщиков, покачивая головой.— Мы останемся здесь. Пусть набивают проклятую тюрьму. Скоро здесь не останется свободного места, и они не смогут продолжать арестовывать пикетчиков».

Был день посетителей. Я подошел к двери, чтобы поговорить с другом. За дверью находилась приемная; она была полна женщин и детей, державших свертки, картонные коробки и ведерки с заботливо приготовленными мелкими подарками. Голодные и оборванные жены и дети принесли все это, чтобы облегчить своим родным пребывание в тюрьме. В комнате стоял сплошной стон, по изможденным лицам текли слезы. Дети через решетку разглядывали небритые лица отцов и старались коснуться их руками...

Надзиратель приказал мне идти в «отделение для осужденных», где меня заставили влезть в ванну и надеть обычную арестантскую одежду. Не буду и пытаться описывать все ужасы, которые я наблюдал в этом помещении. Достаточно сказать следующее: более сорока человек лениво бродили по длинному коридору, с одной стороны которого были расположены двери камер. Свежий воздух и свет проникали сюда через единственное маленькое воронкообразное отверстие в потолке. У одного заключенного были на ногах язвы от сифилиса, а тюремный врач лечил его пилюлями с сахаром от «нервов»; семнадцатилетний мальчик *без приговора суда* оставался в этом коридоре, лишенном солнца, в течение *более девяти месяцев*; здесь же был один кокаинист, регулярно получавший с воли наркотики. Кроме того, помещение наполнял однообразный, ужасный, непрекращающийся крик человека, лишившегося в этом аду рассудка и продолжавшего находиться среди нас.

В этом отделении для «осужденных» было около четырнадцати стачечников: итальянцев, литовцев, поляков, евреев, был и один француз и один «свободнорожденный»

англичанин. Этот англичанин был чудесный парень. Он был единственным англосаксом среди арестованных пикетчиков, не считая руководителей, и, пожалуй, единственным, кто был арестован действительно за пикетирование. Его осудили за то, что он оскорбил хозяина, который вышел из ворот фабрики и приказал ему сойти с тротуара. «Подождите, вот я выйду отсюда,— говорил он мне.— Если только чертовы рабочие, говорящие по-английски, не пойдут в пикеты, я навлеку на них проклятье Кромвеля».

Был здесь и один поляк, чувствительный парень, с аристократическими манерами, член местного стачечного комитета, прирожденный борец. Он занимался чтением курса лекций Боба Ингерсолла, переводя их всем остальным. Похлопывая рукой по книге, он сказал с улыбкой: «Мне все равно. Могу оставаться здесь хоть целый год...»

Весело смеясь, забастовщики рассказывали мне, как духовенство города Патерсона пыталось со своих кафедр убедить их ссылкой на бога выйти на работу, вновь вернуться к подневольному труду, отдаться на милость владельца фабрики! Они рассказали о постыдных и смешных переговорах между духовенством и стачечным комитетом, в которых духовенство сыграло роль Иуды. Было трудно поверить этому, пока я не прочел в газете проповедь, произнесенную накануне в пресвитерианской церкви distinguished Уильямом А. Литтелом. У него хватало бесстыдства поносить руководителей стачки, советовать рабочим быть почтительными и покорными своим хозяевам, внушать им, что причиной их бедствий является множество трактиров, говорить об ужасной испорченности тех рабочих, которые не соблюдают церковные праздники, и нести прочий вздор подобного рода. И это в то время, когда люди боролись за самое свое существование и торжественно воспевали братство человечества.

Был здесь в тюрьме и штрейкбрехер — толстяк с отвислыми щеками. Судья засадил его сюда по ошибке. Забастовщики подвергли его полнейшему ostracismu. Они вставали и уходили, если он подсаживался к ним. Никто с ним не разговаривал, все словно не замечали его присутствия, поэтому он находился в самом жалком положении, в полнейшем одиночестве.

«Мне это послужит уроком,— жалобно простонал он.— Никогда, никогда больше я не буду скэбом!»

Ко мне подошел молодой итальянец с газетой и показал подряд три статьи. Одна была под заголовком «Американская федерация труда надеется на следующей неделе прекратить забастовку», другая — «Виктор Берже заявил: «Я — член Американской федерации труда и не люблю организацию ИРМ в Патерсоне» и третья — «Социалисты Нью-Йорка отказываются помогать забастовщикам Патерсона».

«Я не понимаю, объясните мне, — спрашивал он, глядя на меня жалобно. — Я — социалист, я состою в профсоюзе. Я бастую вместе с ИРМ. Социалистическая партия говорит: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» АФТ говорит: «Все рабочие, сплотитесь!» Каждая из этих обеих организаций говорит: «Я защищаю рабочий класс». Хорошо, говорю я, я и есть рабочий класс. Я объединяюсь, я бастую. Тогда они мне говорят: «Нет, ты *не должен* бастовать». Что это? Я не понимаю. Объясните мне».

Но я не мог ему ничего объяснить. Все, что я мог сказать ему, это то, что значительная часть Социалистической партии и Американской федерации труда забыла о классовый борьбе и, как видно, увлеклась забавной игрой по всем правилам капиталистического общества под названием «Чур, чур, кто имеет право голоса!»

Когда срок моего заключения окончился, я попрощался со всеми этими добрыми, непосредственными, славными людьми, облагороженными участием в высоком деле. Именно *они* являлись душой стачки, а не Билл Хейвуд, Гэрли Флинн или какая-либо другая личность. И если они даже потеряют всех своих руководителей, из их рядов выйдут новые вожди, так как *сами массы* поднялись на борьбу, и стачка будет продолжаться. Не забывайте о них! Двенадцать лет они терпели поражение в стачечной борьбе, двенадцать долгих лет разочарований и неисчислимых страданий. Они не должны опять проиграть, они не могут проиграть.

Когда я проходил через переднюю общую камеру, все вновь столпились вокруг меня, теребили за рукав, пожимали руку, дружески, горячо, доверчиво и красноречиво. Хейвуд был взят на поруки. «Вы выходите на волю, — твердили они приветливо. — Вот хорошо. Мы рады, что вы уходите. Скоро и мы будем свободны и обязательно вернемся в пикеты».

1913 год.

ВОСТАВШАЯ МЕКСИКА

В Йермо нет ничего, кроме песчаной пустыни, простирающейся на десятки километров. Кое-где она поросла чахлым мескито и карликовым кактусом. На западе ее окаймляют зубцы рыжевато-коричневых гор, а на восток пустынная равнина тянется вплоть до колеблющейся в потоках воздуха линии горизонта. От всего городка уцелели только помятый водяной бак с жалкими остатками грязной соленой воды, разрушенная железнодорожная станция, которую два года назад снаряды из пушки Ороско разнесли на куски, да одна запасная железнодорожная колея. На сорок миль вокруг нет ни воды, ни травы для скота. Весной в течение трех месяцев подряд дуют резкие знойные ветры и взметают вокруг клубы желтой пыли.

На единственной линии дороги, проходящей через сердце пустыни, остановилось десять огромных составов поездов, от которых ночью тянулись на север, насколько достигает глаз, столбы пламени, а днем — полосы черного дыма. Вокруг поездов в зарослях колючего кустарника, прямо под открытым небом, расположились лагерем девять тысяч человек. Неподалеку от каждого воина паслась его лошадь, привязанная к кусту мескито. Тут же на кусте висели его неразлучный плащ-серапе и вялились на солнце красные ломти мяса. Из пятидесяти вагонов выгружали лошадей и мулов. Оборванный, покрытый пылью и потом солдат нырял в вагон со скотом, прямо в гущу мелькающих копыт, вскакивал верхом на лошадь и с пронзительным криком глубоко вонзал ей шпоры в бока. Тогда испуганные животные начинали неистово бить о пол копытами. Затем какая-нибудь лошадь стремительно выскакивала — чаще всего задом наперед — через отворенную дверь, и вслед за ней из вагона вырывалась лавина

лошадей и мулов. Поднявшись после падения, почуяв свежий воздух, животные в панике мчались, с храпом широко раздувая ноздри. Тогда солдаты, подстерегавшие их, выстраивались в широкий круг в клубах пыли, превращаясь в вакеро (пастухов), набрасывали на них лассо, и животные одно за другим начинали в ужасе кружиться на одном месте. Офицеры, ординарцы, генералы со штабными офицерами и солдаты охотились с недоузками за своими лошадьми и носились по всему лагерю в страшнейшей сумятице. Брыкающихся мулов впрягали в зарядные ящики. Прибывшие с последними поездами солдаты бродили в поисках своей бригады. Где-то впереди вдоль пути несколько человек стреляли из винтовок, охотясь за кроликами. С крыш товарных вагонов и с платформ глядели вниз сотни солдатских жен, расположившиеся здесь с целым роем полуголых ребятишек. Женщины пронзительно кричали, обращаясь за советом и расспрашивая всех и каждого, не случилось ли им видеть Хуана Монероса, Хесуса Эрнандеса или еще кого-то другого, мужа какой-либо из них... Один солдат, волоча по земле винтовку, пробирался вдоль дороги, громко сетуя, что вот уже два дня, как ему нечего есть, и он никак не может отыскать свою жену, которая пекла ему *tortillas* *. Он высказывал предположение, что она покинула его и ушла с кем-нибудь из другой бригады. Женщины на крыше вагонов восклицали: «О господи!» — и пожимали плечами. Затем они протягивали ему *tortillas*, правда трехдневной давности, и, заклиная его любовью к богородице Гваделупы, просили дать им сигаретку. Шумная толпа грязных людей осаждала паровоз нашего поезда, громко требуя воды. Когда машинист с револьвером в руке оттеснил их от паровоза и объяснил, что это специальный состав с водой и ее хватит на всех, они разошлись и без всякой цели разбрелись в разные стороны, но их место заняли другие. Вокруг двенадцати огромных цистерн с водой толпы людей и животных сражались за место у небольших кранов, из которых непрерывно текла вода. Над всем этим пространством в горячем, неподвижном воздухе застыло огромное облако густой пыли, смешавшейся с черным дымом паровозов. Облако было длиной семь миль и в милю шириной, и вид его поверг в ужас аванпосты федеральных войск,

* Оладьи.— Прим. перев.

расположившиеся за пятьдесят миль до этого места, за холмами Мапими.

Когда Вилья * выступил из Чиуауа в Торреон, он перерезал телеграфные линии сообщения с севером, приостановил железнодорожное движение до Хуареса и под страхом смерти запретил передавать в Соединенные Штаты известие о его выступлении. Он хотел заставить федеральные войска ** врасплох. Это ему прекрасно удалось. Даже в штабе Вильи никто не знал, когда намечено покинуть Чиуауа. Армия пробыла там так долго, что мы все были уверены, что она застрянет там еще на две недели. И вдруг в субботу утром, проснувшись, мы убедились, что телеграфная и железнодорожная линии перерезаны и три огромных состава с войсками бригад «Конеалес-Ортега» ушли. Бригада «Сарагоса» покинула этот пункт день спустя, отряды самого Вильи — на следующее утро после нее. Передвигаясь с обычной для него быстротой, Вилья через день сосредоточил всю свою армию в Йермо, а федеральные войска даже и не знали, что он покинул Чиуауа.

Вокруг установленного в развалинах станции переносного полевого телеграфа собралась толпа. Внутри шелкал телеграфный аппарат. Солдаты и офицеры наперебой то и дело заглядывали в окна и дверь, и каждый раз, когда телеграфист кричал что-то по-испански, в ответ раздавался дружный взрыв хохота. По-видимому, телеграфист случайно подключился к линии, не разрушенной федеральными войсками и соединенной с линией военного телеграфа федералистов Мапими — Торреон.

«Слушайте! — закричал связист. — Полковник Аргме-до, командующий *sabecillos colorados* *** в Мапими, передает телеграмму генералу Веласко в Торреон. Он сообщает, что видит дым и большое облако пыли в северном направлении, и полагает, что какие-то отряды мятежников движутся к югу от Эскалона».

* Франсиско (Панчо) Вилья — вождь партизанских отрядов во время крестьянского восстания против деспотического правления президента Порфирио Диаса. — *Прим. ред. ам. изд.*

** Войска, набранные мексиканским правительством. — *Прим. ред. ам. изд.*

*** Нерегулярные отряды мексиканской федеральной армии. — *Прим. ред. ам. изд.*

Настала ночь. Небо было облачное, и резкий ветер начал поднимать столбы пыли. Над растянувшимися на мили составами горели огни костров, разожженных солдатскими женами на крышах товарных вагонов. Далеко по степи, так далеко, что в конце концов они стали казаться маленькими точками с булавочную головку, рассыпались бивуачные костры, едва приметные в облаке густой пыли. Поднявшаяся песчаная буря совершенно скрыла нас от глаз часовых федеральных войск. «Даже бог,— заметил майор Лейва,— даже бог на стороне Франсиско Вилья».

В самый разгар песчаной бури на открытой платформе, прицепленной перед нашим вагоном, расположилось несколько солдат. Они лежали у костров, положив голову на колени женам, и пели «Кукарачу», в которой в сотне сатирических стихов рассказывалось о том, что бы сделали конституционалисты *, если бы отобрали Хуарес и Чиуауа у Меркадо и Ороско. Сквозь порывы ветра слышался многоголосый грозный ропот толпы, и время от времени часовые выкрикивали тонким голосом: «Кто идет?» Затем ответ: «Чиарас!» ** — «Что за люди?» — «Счасо». В ночи раздавались зловеще звучащие гудки десяти паровозов, подававших друг другу сигналы через определенные промежутки времени.

На следующее утро, на рассвете, генерал Торрибио Ортега, худой смуглый мексиканец, пришел в вагон завтракать. Солдаты называли его «честным» или «самым храбрым». Он один из самых простосердечных и бескорыстных солдат в Мексике. Он никогда не убивает своих пленных. От революционной власти Ортега не взял ни цента сверх мизерного жалованья. Вилья уважал его и доверял ему больше всех своих генералов. Ортега в прошлом был бедняком, простым ковбоем. И вот он сидел здесь, положив локти на стол, забыв о завтраке; глаза его сияли, он улыбался своей милой тонкой улыбкой и рассказывал нам, почему он пошел сражаться.

«Я — человек необразованный,— говорил он,— но я знаю, что воевать — это самое последнее дело для любого народа. Но что делать, когда положение становится невыносимым? А? И если уж мы пошли убивать наших

* Мексиканские добровольцы, заявившие, что борются за конституцию и прогресс страны.— *Прим. ред. ам. изд.*

** Чиापас — один из южных штатов Мексики.— *Прим. ред.*

братьев, должно же из этого получиться что-нибудь хорошее? А? Вы в Соединенных Штатах не подозреваете, чего только мы, мексиканцы, не пережили. Тридцать пять лет на наших глазах грабили наш народ, простой бедный народ, каково? А? *Rugales* * и солдаты Порфирио Диаса убивали наших отцов и братьев, а «правосудие» оправдывало их. У нас отнимали наши маленькие участки земли, и всех нас продавали в рабство. Мы мечтали о доме, о школе, в которых мы могли бы учиться, а они смеялись над нами. Все, чего мы хотели,— это чтобы нас оставили в покое и позволили нам жить и работать, заботиться о величии нашей страны. Но мы устали, очень устали от вечных обманов, нам надоело терпеть все это...»

На улице в крутящейся пыли, под покрытым бегущими облаками небом, в темноте выстроились длинные цепи кавалеристов. Офицеры проходили вдоль колонн, тщательно осматривая патронташи и винтовки...

По пустыне на запад, к далеким горам шли на фронт первые кавалерийские отряды. Около тысячи всадников двигались десятью линиями, расходясь, как спицы колеса от оси. Их шпоры звякали, красно-бело-зеленые флаги развевались на ветру, тускло мерцали одетые крест-накрест ленты с патронами, постукивали о седла винтовки, тяжелые высокие сомбреро и пестрые одеяла довершали картину. За каждой ротой следовали пешком десять-двенадцать женщин, неся на спине и на голове кухонные принадлежности. Кое-где брели мулы, навьюченные мешками с зерном. Проходя мимо вагонов, женщины громко кричали что-то остающимся здесь друзьям...

Сам Вилья стоял, прислонившись к вагону и заложив руки в карманы. На нем была старая шляпа с обвисшими полями, грязная рубашка без воротника и сильно поношенный, лоснящийся коричневый костюм. Вся пыльная степь перед ним была усеяна появившимися, как по волшебству, людьми и скачущими лошадьми. Царила страшная сумятица: седлали и взнуздывали лошадей, раздавались хриплые звуки оловянных рожков. Бригада «Сарагоса» готовилась покинуть лагерь. Эта фланговая колонна в две тысячи человек должна была двинуться на юг и атаковать Тлахуалило и Сакраменто. Вилья, по-видимому,

* *Rugales* — отряды деревенской полиции.— *Прим. ред.*

только что прибыл в Йермо. В понедельник ночью он задержался в Камарго на свадьбе своего земляка. Его лицо носило следы усталости.

«Caramba! — проговорил он с усмешкой, — мы начали танцевать в понедельник вечером, танцевали всю ночь, весь следующий день и последнюю ночь тоже! Вот была пляска! Какие девушки! Девушки из Камарго и Санта-Розалии — самые красивые в Мексике. Я измотался вконец, *tendido!* Это было утомительнее, чем двадцать сражений...»

Затем он выслушал донесение подскакавшего к нему штабного офицера, ни минуты не раздумывая, дал ему точные указания, и офицер тут же ускакал. Сеньору Кальсадо, распоряжавшемуся движением по железной дороге, он указал, в каком порядке должны двигаться на юг поезда. Сеньору Уро — главному квартирмейстеру, — какие припасы должны быть сняты с поездов и распределены между людьми. Сеньору Муньосу — начальнику телеграфа — он сообщил имя капитана федеральных войск, которого неделю назад бойцы из отряда Урбины взяли в плен вместе со всем отрядом на холмах близ Ла Кадена и убили. Он приказал ему подключиться к телеграфной линии федеральных войск и послать генералу Веласко в Торреон донесение якобы от имени этого капитана из Конекос с просьбой передать распоряжения на дальнейшее... Казалось, он все знает и всем распоряжается...

Готовые к бою артиллерийские орудия были расставлены большим кругом, зарядные ящики открыты и мулы загнаны в середину круга. Полковник Сервин, командир орудий, взобрался верхом на огромную гнедую лошадь. Маленький и щуплый, не более полутора метров ростом, он выглядел невероятно смешным. Он махал рукой и выкрикивал приветствия генералу Анхелесу, военному министру в правительстве Каррансы *, — высокому тощему мужчине без шляпы, в коричневом свитере, с перекинутой через плечо военной картой Мексики, сидевшему верхом на маленьком ослике. Потные от усталости люди работали в густой пыли. Пятеро американцев-артиллеристов присели покурить у орудия с подветренной стороны. Они окликнули меня: «Слушай, парень, не знаешь, какого

* Венустиано Карранса — вождь революционных армий и президент Мексики. — *Прим. ред. ам. изд.*

черта вмешались мы в эту обедню? С прошлой ночи нечего жрать, работаем по 12 часов; скажи, не хочешь ли запечатлеть наши физиономии?» К вечеру бригада «Са-рагоса» ускакала в пустыню. И опять наступила ночь.

Непрерывно крепчал ветер, становясь холоднее и холоднее. Взглянув на небо, на котором еще недавно сияли новые звезды, я заметил, что оно все покрыто темной тучей. Сквозь пелену носящейся в воздухе пыли просвечивали тысячи тонких полосок света от огней, передвигавшихся на юг. Там и сям вдоль вытянувшихся на мили составов ярко вспыхивали огни топок. Сначала нам показалось, что до нас донеслись издали выстрелы больших орудий. Но вдруг небо неожиданно расколосось от края до края, раздался страшный удар грома, и полил дождь как из ведра. На мгновение шум и суeta армий замолкли. Все огни разом погасли. Затем с равнины, где расположились солдаты, донесся громкий крик досады и замешательства вперемешку с раскатами смеха. К нему присоединилось горестное стенание женщин. Я никогда не слышал ничего подобного. Но через минуту эти звуки смолкли. Мужчины завернулись в свои серапе и укрылись от дождя в зарослях кустарника, а сотни женщин и детей на платформах и крышах вагонов, ничем не защищенные от дождя и холода, сидели молча, с индейским стоицизмом дожидаясь рассвета.

Состав цистерн с водой двинулся в путь первым. Я ехал на паровозе, на скотосбрасывателе. На нем уже расположились на постоянное жительство две женщины с пятью детьми. Они разожгли на узкой железной платформе небольшой костер из веток мескито и пекли на нем tortillas. Над их головами свистел и хрипел паровой котел и развевалось на ветру развешанное на маленькой веревке белье.

День был чудесный. Светило солнце, и лишь иногда набегали большие белые облака. Армия двигалась на юг двумя мощными колоннами по обеим сторонам железной дороги. Небо до самого горизонта заволкло огромное густое облако пыли, поднимавшейся над колоннами. Небольшие группы всадников двигались вперед рассыпным строем. То там, то здесь мелькали большие мексиканские флаги. А между колоннами медленно ползли поезда. К небу поднимались на равном расстоянии один от другого черные столбы дыма от паровозов; они становились

все меньше и меньше, пока на самом горизонте, на севере, не слились в сплошной грязный туман.

Я зашел в служебный вагон выпить глоток воды и застал там кондуктора. Он лежал на своей койке и читал библию. Кондуктор был так увлечен и заинтересован, что долго не замечал моего появления. Увидев меня наконец, он закричал с восторгом:

«Послушай, я нашел замечательную историю о парне по имени Самсон и его жене. Он был *tuu hombre*, настоящий мужчина. Жена его, я догадываюсь, была испанка, судя по шутке, которую она с ним сыграла. Вначале он был добрый революционер и мадерист*, а она превратила его в пелона».

Пелон буквально означает «стриженная башка». Это простонародная кличка солдата федеральных войск, появившаяся потому, что в федеральную армию широко набирали заключенных из тюрем.

Передовой отряд наших войск, взяв с собой телеграфиста, отправился в Конехос еще накануне ночью. Отряд взбудоражил весь поезд. Первый раз за эту кампанию была пролита кровь. Недалеко от нас, за выступом огромной горы, возвышавшейся на востоке, солдаты захватили врасплох и перебили нескольких солдат федеральной армии, производивших разведку к северу от Бермехильо. А телеграфист узнал важные новости. Он вновь подключился к телеграфной линии федеральных войск и передал их командующему в Торреон донесение от имени погибшего капитана с просьбой распорядиться, как ему поступить, поскольку с севера, видно, надвигаются большие силы мятежников. Генерал Веласко ответил, что капитан должен закрепиться в Конехос и послать дозоры на север, чтобы попытаться узнать, как велики эти силы. Одновременно телеграфист подслушал донесение Аргумедо, командира частей в Мапими, в котором говорилось, что войска всей Северной Мексики совместно с армией иностранцев-«гринго» движутся на Торреон.

Конехос был очень похож на Йермо, только там не было водонапорной башни. Отряд в тысячу человек во главе с седобородым генералом Розалио Эрнандесом

* Сторонник Франсиско Мадеро — лидера мексиканских либералов и президента страны с 1911 года до его убийства в 1913 году.— *Прим. ред. ам. изд.*

собрался в один момент и выступил в поход. За ним на расстоянии нескольких миль следовали ремонтные поезда. Все они направлялись к месту, где федеральные войска несколько месяцев назад сожгли два железнодорожных моста. А там за последним маленьким бивуаком огромной армии, рассеявшейся вокруг, пустыня мирно дремала, истомленная жарой. Ветер утих. Мужчины расположились с женами на платформах; появились гитары, и всю ночь с поездов доносились сотни поющих голосов.

На следующее утро я зашел повидать Вилью в его вагоне. Это был красивый служебный вагон с ситцевыми занавесками на окнах — знаменитый маленький вагончик, в котором Вилья неизменно путешествовал со времени падения Хуареса. Вагон был перегороден на две части: кухню и спальню генерала. Эта крошечная комнатка площадью три на шесть метров была сердцем конституционалистской армии. Здесь заседали все военные советы, а места едва хватало на пятнадцать собиравшихся здесь генералов. На советах обсуждались жизненно важные вопросы кампании. Генералы совещались, что надо сделать, а затем уже Вилья отдавал распоряжения по своему усмотрению. Внутри вагон был окрашен грязно-серой краской. На стенах висели фотографии Каррансы и портрет самого Вильи. У стен стояли две двуспальные деревянные койки. На одной спали Вилья и генерал Анхелес, а на другой — Хосе Родригес и доктор Рашбаум, личный врач Вильи. Вот и все...

«Que desea, amigo? — Чего вы желаете?» — спросил Вилья, сидевший на краю койки в голубом нижнем белье. Солдаты, толпившиеся вокруг, лениво уступили мне дорогу. «Я хочу получить лошадь, мой генерал».

«Саг-г-г-а-и-и, друг наш хочет иметь лошадь».

Вилья саркастически улыбнулся, а окружающие разразились хохотом.

«Почему бы вам, корреспондентам, не пожелать автомобиля. Послушайте, сеньор корреспондент, знаете ли вы, что около тысячи человек в моей армии не имеют коней. Вот вам поезд. Для чего же еще и лошадь?»

«Тогда я смог бы отправиться с авангардом».

«Нет, — улыбнулся он, — там в авангарде слишком много balasos, слишком много пуль там летает...»

Разговаривая со мной, он быстро одевался и жадно пил кофе из грязного оловянного кофейника прямо через край. Кто-то подал ему шпагу с золотой рукояткой.

«Нет,— заявил он с презрением.— Сегодня будет сражение, а не парад. Дайте мне мою винтовку».

Минуту Вилья постоял у двери своего вагона, задумчиво разглядывая длинные цепи всадников. Они выглядели живописно с патронными лентами крест-накрест и разнокалиберным вооружением. Затем он отдал несколько быстрых распоряжений и вскочил на своего огромного жеребца.

«*Vamonos!* — Вперед!» — закричал Вилья. В воздухе резко прозвучали сигналы горнистов, и войско на колесах и верхом двинулось на юг, поднимая пыль, глухо позвякивая снаряжением... Армия исчезла из виду. В течение дня мы думали, что слышим канонаду с юго-запада, где, по донесениям, Урбина спускался с гор, чтобы атаковать Мапими. К вечеру пришли известия, что занят Бермехильо, а гонец от Бенавидеса донес, что тот захватил Тлахуалило. Мы сгорали от нетерпения, желая двинуться дальше. Перед заходом солнца сеньор Кальсадо сказал, что ремонтный состав, находившийся на милю впереди, выйдет через час. Тогда я схватил шерстяное одеяло и направился вдоль линии составов к этому поезду.

В голове ремонтного поезда находилась бронированная по бортам стальными листами платформа с установленной на ней знаменитой пушкой конституционалистов «Эль Ниньо». Позади пушки был открытый зарядный ящик, доверху наполненный снарядами. За платформой шел бронированный вагон с солдатами, затем вагон с рельсами и, наконец, четыре вагона с новыми шпалами. За ними следовал паровоз. Машинист и кочегар были увешаны патронными лентами и держали винтовки наготове. Два или три товарных вагона, прицепленных позади паровоза, были битком набиты солдатами и их женами. Предприятие было очень опасное. Все знали, что в Мапими сосредоточены большие силы федералистов и что страна кишит их разведчиками. Вся наша армия была уже далеко впереди, за исключением пятисот человек, оставленных в Конехосе для охраны поездов. Если бы

враг мог захватить или вывести из строя ремонтный состав, армия осталась бы без воды, пищи и боеприпасов.

Мы двинулись вперед в темноте. Я уселся на казенной части пушки, дружески болтая с капитаном Диасом, командиром орудия. Капитан смазывал замок его любимой пушки, покручивая свои торчащие вверх усики.

За бронированным укрытием, позади орудия, где он обычно спал, я услышал странный осторожный шорох. «Что там такое?»

«А? — воскликнул он. — О-о, ничего, ничего».

В ту же минуту там выросла фигура молодой девушки-индианки с бутылкой в руке. Ей было не более семнадцати лет. Она была очень привлекательна. Капитан бросил на меня быстрый взгляд и сейчас же повернулся к ней.

«Что ты здесь делаешь? — закричал он на нее со злостью. — Зачем ты сюда вылезла?»

«Я думала, вы сказали, что хотите пить», — начала она. Я понял, что я здесь лишний, и откланялся. Они вряд ли обратили на это внимание. Но, перелезая через заднюю стенку вагона, я невольно задержался и прислушался. Они вернулись обратно в укрытие. Девушка плакала. «Разве я не предупреждал тебя, — сердито говорил капитан, — чтобы ты при посторонних здесь не показывалась. Я не желаю, чтобы все мужчины Мексики глазели на тебя...»

Я стоял на крыше покачивавшегося бронированного вагона, в то время как поезд медленно продвигался вперед. На краю самой первой платформы двое мужчин с фонарями в руках, лежа на животе, просматривали каждый фут пути, нет ли где проволоки от заложенной на дороге мины. Внизу подо мной солдаты и их жены обедали вокруг разложенных на полу костров. Через бойницы вагона вырывался дым и слышались раскаты смеха. Позади меня на крышах вагонов тоже были разложены костры, вокруг которых расположились загорелые люди в потрепанной одежде. Над нашими головами сияло звездами безоблачное небо. Было холодно. Через час езды мы подошли к поврежденному участку пути. Заскрипели тормоза. Поезд с лязгом остановился. Паровоз дал свисток, и вдоль поезда замелькали факелы и фонари. Сбежались люди. В зарослях вспыхнул огонек, за ним другой. Солдаты из

поездной охраны собрались с винтовками наперевес возле костров и образовали вокруг них непроницаемую стену. Раздался лязг металлических инструментов и крики «эх, ух» — это сбрасывали с платформы рельсы. Мимо прошла вереница рабочих с рельсом на плечах, за ней другая — со шпалами. Четыреста человек набросились на поврежденный участок с величайшей энергией и подъемом. Крики бригад, укладывавших рельсы и шпалы, удары кувалд по костылям сливались в один сплошной грохот. Повреждение было старое, вероятно годичной давности. Путь разрушили когда-то сами же конституционалисты, отступая на север под натиском федеральной армии Меркадо. А мы починили все за один час. Затем двинулись дальше. Иногда нам встречался сожженный мост, иногда — сто ярдов дороги, на которой рельсы извивались, как виноградные лозы. Я узнал, как это делалось. Рельсы привязывали цепью к паровозу, который гнул их, двигаясь задним ходом. Мы продвигались вперед медленно. Возле одного большого моста, на починку которого должно было уйти не меньше двух часов, я разжег для себя небольшой костер, чтобы согреться. Кальсадо прошел мимо и окликнул меня. «Мы нашли там впереди дрезину, — сказал он, — и хотим проехать вперед, посмотреть убитых. Не хотите ли присоединиться?»

«Каких убитых?»

«Да вот сегодня утром разведка из восьмидесяти rurales была выслана из Бермехильо на север. Мы узнали об этом по телеграфу и сообщили Бенавидесу, на левый фланг. Он послал отряд им в тыл. Отряд гнал их на север, преследуя с боями пятнадцать миль, до тех пор пока разведчики не врезались в расположение наших главных частей. Ни один не ушел живым. Тела их рассеяны по всему пути, там, где они падали».

В одну минуту мы собрались и помчались на дрезине на юг. По левую и правую руку от нас скакали две призрачные фигуры всадников — конная охрана с ружьями наизготовку. Вскоре огни поезда остались далеко позади, и мы погрузились в окутавшее нас полное молчание пустыни.

«Да, — сказал Кальсадо, — rurales — смелые люди. Они тцу hombres — настоящие мужчины. Rurales — это самые надежные бойцы из всех, какие когда-нибудь были у Диаса и Уэрты. Они никогда не переходят на сторону рево-

люции и остаются верными законному правительству. Это потому, что ведь они, собственно говоря, все равно, что полиция».

Было ужасно холодно. Никто не разговаривал.

«Мы едем ночью, впереди поезда,— сказал сидевший слева от меня солдат,— так что если где-нибудь подложены мины с динамитом...»

«Мы сможем обнаружить их, выкопать и залить водой, черт возьми!» — заметил другой с саркастической усмешкой. Остальные засмеялись. Я подумал о минах и мурашки побежали у меня по спине. Мертвое безмолвие пустыни казалось полным ожидания. В десяти шагах от дороги ничего не было видно.

«Эй,— вскрикнул один из всадников,— вот он лежит, один из них». Дрезина затормозила, мы выскочили и бросились вниз, под откос, за мелькавшим впереди фонарем. У подножья телеграфного столба лежала какая-то очень маленькая скорчившаяся фигурка, напоминавшая кучу старой одежды. Ругале лежал на спине, раскинув ноги. Повстанцы (хозяйственный народ) содрали с него все ценное: ботинки, шапку, нижнее белье. Оставили они ему только потрепанную куртку с потертым серебряным галуном, так как в ней было семь дырок от пуль, и пропитанные кровью штаны. Очевидно, он был намного крупнее, это после смерти он так сохся. Густая рыжая борода придавала его бледному лицу особенно зловещий вид. И это впечатление сохранялось до тех пор, пока вы не замечали под бородой, под слоем грязи и пота — следы страшного боя и стремительной езды — его нежного рта со спокойно сложенными, полураскрытыми, словно во сне, губами. Его мозг вытек.

«Сагаил! — вскрикнул один из наших караульных.— Вот так выстрел, не пожалели для такого грязного козла. Точно в голову».

Все улыбнулись.

«Ну да, не думаешь ли ты, что они выстрелили ему сюда во время боя, ты, простофиля!» — воскликнул его товарищ.— Нет, они всегда после боя обходят все вокруг и добивают всех для верности».

«Живее сюда, я нашел другого», — раздался голос из темноты.

Можно было представить себе последнюю битву погибшего. Он соскочил с лошади, которую, очевидно, ра-

нили — на земле была кровь,— и остановился в русле маленького пересохшего ручья. Можно было видеть, где стояла его лошадь в то время, как он дрожащими руками лихорадочно заряжал свой маузер, а затем отстреливался, сначала стреляя назад, откуда мчались на него преследователи с воинственным криком индейцев, а затем обратив огонь против сотен беспощадных всадников, стремительно скакавших с севера во главе с демоном Панчо Вилья. Он, видимо, долгое время сражался, возможно до тех пор, пока они не окружили его со всех сторон сплошной стеной огня, так как мы нашли сотни пустых гильз. Когда патроны кончились, он под градом пуль побежал на восток, на момент скрылся под маленьким железнодорожным мостиком и побежал прямо в степь, где и упал. Тело его было прострелено в двадцати местах. Преследователи сняли с него все, кроме нижнего белья. Он лежал вытянувшись, с напряженными мускулами, как бы пытаясь продолжать последнюю отчаянную борьбу; одна рука со сжатыми пальцами была вытянута, словно он ударял по песку кулаком, на лице застыла торжествующая улыбка. Он казался сильным, диким, неукротимым, но, если взглядеться внимательно, можно было заметить в его лице тот еле уловимый отпечаток слабости, который смерть накладывает на все живое, выражение какой-то отрешенности от всего земного. Три раза выстрелили они ему в голову — до чего же они были озлоблены...

И вновь мы медленно ползем на юг сквозь холодную ночь. Еще несколько миль — и взорванный динамитом мост или разрушенный участок железной дороги. Остановка, пляшущие огни факелов, огромные костры, вдруг вспыхивающие в пустыне, и четыре сотни людей, с бешеной быстротой выскакивающие из вагонов и набрасывающиеся на работу. Вилья отдал приказ торопиться...

Мы захватили Бермехильо вчера в полдень. Конница еще за пять километров к северу от города перешла в галоп и пронеслась через город во весь опор, вытеснив застигнутый врасплох гарнизон из города в южном направлении. Отступивших преследовали с боями пять миль, вплоть до асьенды Санта-Клара, и убили сто шесть soldados.

Через несколько часов после этого Урбина появился в районе Мапими, и восемьсот colorados, получив потрясающее известие, что вся армия конституционалистов атакует их с правого фланга, покинули этот пункт и отступили в Торреон. Напуганные федералисты отступали по всем направлениям, стягивая свои силы к этому городу.

К вечеру по узкоколейке из Мапими прибыл маленький товарный поезд.

Из поезда доносились громкие звуки струнного оркестра из десяти инструментов, исполнявшего «Воспоминания о Дуранго», под которые я так часто отплясывал с солдатами в Ла Тропа. Крыши, двери и окна поезда были облеплены мексиканцами, которые пели, отбивая такт ногами, и палили из ружей в честь вступления в город. У станции этот забавный поезд остановился, и с него сошел не кто иной, как Патрицио, боевой кучер генерала Урбины, бок о бок с которым я проезжал на коне столько миль, с которым частенько вместе танцевал. Он заключил меня в объятия, восклицая: «Хуанито! Вот он, Хуанито, мой генерал!» * За минуту мы задали друг другу миллион вопросов. С собой ли у меня фотографии, которые я сделал с него? Собираюсь ли я идти с войсками в Торреон? Где произойдет сражение? Знает ли Патрицио, где дон Петронило, Пабло Сеанес, Рафаэлито? В самый разгар всех этих вопросов кто-то закричал: «Да здравствует Урбина!» — и на верхней ступеньке появилась собственной персоной старый генерал — бесстрашный герой Дуранго. Он хромал и поэтому опирался на двух солдат. В руках он держал винтовку — старый отслуживший уже спрингфилд, с полустертой мушкой. Он был подпоясан патронной лентой. На мгновение он застыл на месте, с бесстрастным выражением на лице, впившись в меня маленькими жесткими глазками. Я подумал уже, что он не узнал меня, как вдруг он выпалил своим резким голосом: «Это не тот фотоаппарат, что был тогда. А где же тот?»

Я уже хотел ответить, но он перебил меня: «Знаю, вы оставили его в Ла Кадене? Ну как, бежали очень быстро?»

«Да, мой генерал».

«И вы прибыли в Торреон, чтобы опять удариться в бегство?»

* До присоединения к войскам Вильи во время их похода на Торреон Рид был в войсках генерала Урбины и присутствовал при том, как их выбили из Ла Кадена.— *Прим. ред. ам. изд.*

«Когда я бросился бежать из Ла Кадена,— заметил я с раздражением,— дон Петронило с войсками был уже на милю от него».

Он не ответил и, прихрамывая, стал спускаться по ступенькам вагона, сопровождаемый взрывами смеха солдат. Подойдя ко мне, он положил мне руку на плечо и легонько ударил по спине. «Рад тебя видеть, соптрайего»,— сказал он.

Через пустыню к санитарному поезду начали пробираться раненные в битве у Тлахуалило. Поезд стоял намного выше основной линии составов. На плоской бесплодной равнине, насколько хватал глаз, я различал только три живые фигуры: хромящего человека без шапки, с рукой на перевязи, в пропитанной кровью одежде, еще одного, ковыляющего рядом со своей еле бредущей лошадью, и далеко позади них — мула, на котором сидели верхом два перевязанных бинтом солдата. В жарком воздухе ночи до нашего вагона доносились стоны и вопли...

В воскресенье утром мы уже снова сидели на «Эль Ниньо» в голове ремонтного поезда и медленно двигались по железнодорожному пути параллельно с армией. Другая пушка — «Эль Чавалито» — была установлена на платформе, прицепленной позади нас. За ней следовали два бронированных вагона и один ремонтный. На этот раз женщин в поезде не было. У всей армии был совсем иной вид. Она извивалась двумя огромными змеями параллельно нашему пути. Не было слышно ни смеха, ни криков. Мы подошли уже почти вплотную к цели. До Гомес-Паласио оставалось восемнадцать миль, и никто не знал, что задумали федералисты. Не верилось, что они подпустят нас так близко, не попытавшись остановить.

Непосредственно к югу от Бермехильо характер местности изменился. Вместо бесплодной пустыни потянулись поля, окруженные оросительными каналами, вдоль которых росли огромные зеленые тополя, словно столпы свежести, так радовавшие глаз после выжженной голой земли, через которую мы только что проезжали. На хлопковых полях неубранные белые коробочки гнили прямо на стеблях. Кукуруза только что выпустила свои редкие зеленые листья.

По глубоким полноводным каналам под сенью деревьев быстро струилась вода. Пели птицы. По мере нашего продвижения на юг цепи голых гор на западе медленно надвигались на нас.

В Санта-Клара мощные колонны войск остановились и начали разворачиваться направо и налево. Узкие цепочки войск медленно продвигались по равнине, покрытой солнечными бликами и тенью огромных деревьев, и, наконец, шесть тысяч человек вытянулись в одну линию фронта. Правый фланг проходил через поля и каналы, вдоль последнего обработанного поля, через пустошь и упирался в самое предгорье, а левый фланг пересекал бесконечную равнину. Рядом с нами негромко прозвучали трубы, и армия мощным фронтом через всю равнину двинулась вперед. Над ней реяло, словно ореол славы, облако пыли в пять миль шириной. Развевались флаги. В центре, на одной линии с флангами двигался вагон с пушкой, а рядом с вагоном скакал Вилья со своим штабом. В расположенных на пути маленьких селениях мирные жители (*pacíficos*) в больших шляпах и белых блузах стояли молча, с изумлением наблюдая за движением этого странного войска. Один старик гнал домой коз, но волна всадников на взмыленных лошадях надвинулась на него, озорно крича, и все козы разбежались. Солдаты разразились хохотом. На целую милю пыль клубилась изпод тысяч копыт. Армия следовала дальше. В деревне Бриттингэм армия остановилась, и Вилья со штабом подъехал к пеонам, наблюдавшим за ним с небольшого холмика.

«Послушайте,— крикнул Вилья,— что, за последнее время здесь проходили какие-нибудь войска?»

«Да, сеньор,— ответило несколько голосов.— Люди дон Карло Аргумедо прошли здесь вчера с большой поспешностью».

«Гм,— задумчиво протянул Вилья.— А не видели ли вы поблизости этого бандита, Панчо Вилья?»

«Нет, сеньор»,— ответили они хором.

«Так вот, его-то именно я и ищу. И если уж захвачу этого дьявола, ему не поздоровится».

«Мы все желаем вам успеха»,— закричали вежливо *pacíficos*.

«А вы никогда его не видели? Нет?»

«Нет, боже упаси»,— горячо подхватили они.

«Ладно,— усмехнулся Вилья.— Наперед, если кто-нибудь спросит вас, знаете ли вы его, вам придется признаться в этом постыдном факте. Я — Панчо Вилья». Он прищпорил коня и поскакал прочь. За ним двинулась вся армия...

Растерянность пораженных событиями федералистов была столь велика и они бежали с такой поспешностью, что железнодорожное полотно на протяжении многих миль осталось неповрежденным. Но к полудню нам снова стали попадаться сожженные и еще дымящиеся небольшие мосты и подрубленные топором телеграфные столбы. Однако все эти повреждения были сделаны второпях, наспех, и их легко было исправить. Но армия ушла так далеко вперед, что к ночи, когда мы были примерно в восьми милях от Гомес-Паласио, мы наткнулись на место, где целых восемь миль пути было разрушено. В нашем поезде не было съестных припасов. У каждого из нас было лишь по одному одеялу, а холод становился сильнее. При неверном свете фонарей и костров ремонтная бригада с жаром принялась за работу. Раздавались крики, металлический стук молотов и грохот падающих шпал. Ночь была темная, редкие звезды слабо мерцали. Мы уселись вокруг костра, болтая и время от времени подремывая, как вдруг неожиданно воздух потряс какой-то незнакомый звук: удар был громче ударов кувалд и сильнее завывания ветра. После удара наступила тишина. Затем раздался грохот, словно далекая дробь барабанов, а затем снова удары — «бум, бум». Кувалды замерли в воздухе, голоса смолкли. У нас словно мороз прошел по коже. Где-то впереди, в непроглядной темноте ночи, Вилья со своей армией обрушился на Гомес-Паласио; завязалась битва. Постепенно пушечные выстрелы становились все чаще, пока не слились в один сплошной грохот, а ружейный огонь не застучал, подобно стальному дождю.

«За работу! — пронзительно закричал грубый голос с крыши вагона, на котором была установлена пушка.— Что же вы делаете? Сейчас же беритесь за работу. Панчо Вилья ждет поездов». И с криком четыреста одержимых набросились на поврежденные рельсы...

Я вспоминаю, как мы упрашивали старшего офицера отпустить нас на фронт. Он отказывался. Приказ был

ясен, ни один человек не должен покинуть поезд. Мы спорили с ним, совали ему деньги и чуть не ползали перед ним на коленях. Наконец он немного смягчился.

«В три часа утра,— сказал он,— я сообщу вам пароль и отзыв и позволю идти».

Мы сиротливо свернулись калачиком возле нашего маленького костра, пытаюсь заснуть или хотя бы только согреться. Вокруг нас и впереди вдоль разрушенного пути беспокойно мелькали факелы и люди, и каждый час или около этого поезд проползал вперед сотню футов и опять останавливался. Чинить путь было нетрудно, так как рельсы были целы. Повреждение заключалось в том, что правый рельс был приподнят и шпалы перевернуты, расщеплены и сдвинуты со своего места. Не переставая, из темноты доносился однообразный, раздражающий, ужасный грохот сражения. Этот гул был страшно утомителен, монотонен, и все же я не мог заснуть...

Около полуночи из тыла прискакал один из наших дозорных и донес, что они заметили большой отряд всадников, скачущих с севера, заявивших, что они из отряда генерала Урбины из Мопими. Полковник не знал, должен ли был какой-нибудь отряд проходить здесь в это время ночи. Через минуту начались бешеные приготовления к бою. Двадцать пять вооруженных всадников посакали словно сумасшедшие в тыл с приказом задержать пришельцев на пятнадцать минут. Если это конституционалисты, то передать им приказ полковника, если нет, то постараться задержать их силой. Рабочие устремились к составу и разобрали винтовки. Костры были потушены, фонари тоже, за исключением десяти. Двести человек из нашего караула тихо скрылись в густом кустарнике, на ходу заряжая винтовки, и залегли там. Полковник и пятеро из его людей установили посты по обеим сторонам дороги. Они стояли безоружные, держа высоко над головой зажженные факелы. И вот из густого мрака появилась голова колонны. Люди были совершенно непохожи на солдат Вилья, хорошо одетых, хорошо снаряженных и сытых. Эти воины были обтрепаны, исхудалы, закутанные в серапе, превратившиеся в лохмотья, босые. На головах у них были тяжелые живописные сомбреро из тех, что носят в глубине страны. Кольца скрученных лассо болтались у седел. Под ними были тощие, но выносливые полудикие кони с гор Дуранго. Всадники ехали с угрюмым

видом, не обращая на нас внимания. Отзыва на пароль они не знали, да и не заботились об этом. На ходу всадники пели монотонные древние баллады, которые сочиняют и поют себе под нос пеоны, когда по ночам пасут скот на безбрежных высокогорных пастбищах на севере страны.

Я стоял впереди линии фонарей, как вдруг проходившая мимо меня лошадь вздрогнула, осадила назад, и знакомый мне голос воскликнул: «Эй, мистер!» Серапе, в которое всадник был закутан, откинулось, человек соскочил с лошади, и через мгновение меня сжимал в объятиях Исидро Амайя. Позади него раздались возгласы: «А, это ты, мистер! О, Хуанито! Как мы рады тебя видеть! Где ты был? Говорили, что тебя убили в Ла Кадене. Как вы быстро убегали от colorados! Очень испугался? А?» Они все спешили и окружили меня тесным кольцом, все пятьдесят тянулись ко мне, чтобы похлопать меня по плечу. Это были мои самые дорогие друзья в Мексике, соптрайегос из Ла Тропа и Ла Кадена!

Длинная шеренга людей остановилась в темноте, и раздались голоса: «Двигайтесь же вперед! Что случилось? Поторапливайтесь! Не стоять же нам здесь всю ночь!» Другие ревели в ответ: «Здесь мистер. Здесь тот гринго, о котором мы вам рассказывали, который танцевал хоту в Ла Сарке. Он был в Ла Кадене».

Тогда и остальные присоединились к толпе. Их было тысяча двести. Безучастные к окружающему, чуя лишь битву, что разгорелась впереди, они ехали молча между двумя рядами высоко поднятых факелов. И каждого десятого из них я уже знал раньше.

Когда они проезжали мимо, полковник кричал им: «Какой отзыв на пароль? Поднимите спереди поля шляпы вверх! Знаете ли вы отзыв?» Охрипшим голосом он раздраженно орал на них. А они продолжали ехать мимо вызывающе спокойно, не обращая на него ни малейшего внимания. «К черту пароль,— огрызались они в ответ, насмехаясь над ним.— Не надо нам никакого пароля. Они сразу узнают, на чьей мы стороне, как только мы вступим в бой».

Не прекращающийся грохот битвы наполнял собой ночной воздух. Мелькали над головами факелы, раздавался ляг укладываемых рельсов, удары кувалд по костылям и крики людей из ремонтной бригады, громко переговари-

вавшихся в пылу работы. Было уже за полночь. С тех пор как поезд подошел к поврежденному участку пути, мы продвинулись на полмили. То и дело на свет выныривали одиночные бойцы из расположения главных сил, пробирающиеся вдоль железной дороги с тяжелым маузером на боку, и исчезали в темноте в направлении Гомес-Паласио, откуда доносился грохот боя. Солдаты нашего караула, расположившиеся у своих маленьких костров, старались кто как мог скоротать время томительного ожидания. Трое из них напевали коротенькую походную песенку, которая начиналась так:

Не хочу быть порфиристом,
Не хочу быть ороскистом,
А хочу быть добровольцем
В армии мадеристов.

Мы сгорали от любопытства узнать, что происходит, и в крайнем возбуждении бегали вдоль составов, расспрашивали всех, что они думают, что знают. Я никогда прежде не слышал грохота настоящей битвы и сгорал от любопытства и нервного возбуждения. Мы напоминали собак, сидящих заперти во дворе, в то время как другие собаки дерутся за воротами. Понемногу напряжение ослабло, и я почувствовал себя отчаянно усталым. Я заснул глубоким сном на маленьком выступе под стволом пушки, там, куда рабочие во время движения поезда бросали свои кувалды, ломы, гаечные ключи и где укладывались затем сами с криками и грубыми шутками.

Перед рассветом я проснулся, почувствовав на своем плече руку полковника. Было очень холодно.

«Теперь можете идти,— сказал он.— Пароль «Сарагоса», а отзыв «Герреро». Отличительный знак наших солдат: поля шляпы спереди подняты вверх. Желаю вам всего лучшего».

Было страшно холодно. Мы накинули на себя одеяла, закутались в них, как в серапе, и пошли мимо неистово работающих ремонтников, которые заколачивали что-то при ярком свете фонарей, затем мимо пяти вооруженных бойцов, скорчившихся возле костра, на самой границе с полной темнотой.

«Вы идете в бой, compañeros! — крикнул один из ремонтников.— Берегитесь пуль!» Все засмеялись. Часовые закричали: «Эй, вы! Смотрите, не перебейте их всех».

Оставьте хоть несколько пелонов для нас». За последним факелом, где рельсы разрушенной дороги были вывернуты и свалены в кучу, на разрытом полотне дороги нас поджидала едва заметная в темноте человеческая фигура.

«Пойдемте вместе,— сказал этот человек, вглядываясь в нас.— В темноте трое — это уже армия».

Мы молча брели, спотыкаясь, по разрушенным железнодорожным путям, с трудом разбирая, что собой представляет наш новый спутник. Это был маленький коренастый солдат с ружьем в руке и с полупустой лентой патронов на груди. Он рассказал нам, что только что доставил с фронта в санитарный поезд раненых и теперь возвращается обратно.

«Пошупайте,— сказал он, протягивая руку. Рука была мокрая. Мы ничего не могли разглядеть.— Это кровь,— продолжал он бесстрастно.— Его кровь. Он был моим сопратде в бригаде «Гонсалес — Ортега». Этой ночью нас разбили, и многих, многих... половину наших перебили».

В первый раз в эту ночь мы упоминали или думали о раненых. И вдруг мы вновь услышали звуки сражения. Оно продолжалось все это время не переставая, но мы забыли о нем: звук этот был так ужасен, так однообразен. Издалека слышался ружейный огонь, словно где-то с треском рвали натянутую парусину, а орудия грохали так, будто вдалеке забивали сваи. Из темноты вынырнула маленькая группка людей: четверо несли на растянутом одеяле что-то тяжелое и неподвижное. Наш проводник поднял винтовку и окликнул их. В ответ с одеяла послышался стон.

«Послушай, земляк,— прошептал хриплым голосом один из носильщиков.— Где, ради всего святого, находится санитарный поезд?»

«Почти в пяти километрах отсюда».

«Слава богу. Как нам...»

«Воды, нет ли у вас немного воды?»

Они остановились с натянутым одеялом в руках. Что-то стекало с него на шпалы: кап, кап, кап.

Страшный голос произнес еще раз: «Пить...» — и вновь перешел в душераздирающий стон. Мы протянули свои фляги носильщикам, и они молча, с звериной жадностью осушили их, позабыв о раненом. Затем они угрюмо двинулись дальше и исчезли в темноте.

Появились другие, в одиночку или небольшими группами. Все они напоминали пьяных или бесконечно усталых

людей. Один еле передвигался между двумя солдатами, схватив их руками за плечи. Другой, совсем еще мальчик, шел, пошатываясь, таща на спине обмякшее тело своего отца. Прошла лошадь, склонив голову к земле. На ней болтались два тела, перекинутые поперек седла, а рядом шел солдат, бил лошадь по крупу и громко бранился. Он исчез вдаль, а мы все еще слышали его неприятно звучащий на расстоянии фальцет. Кто-то стонал; это был страшный стон, стон невыносимой боли. Один человек примостился на седле мула и вскрикивал при каждом его шаге...

Вскоре мы подошли совсем близко к полю боя. На востоке над необъятной горной страной забрезжил слабый серый рассвет. В ветвях благородных тополей, массивной стеной окружающих каналы, раздавалось пение птиц. Тепло. От полей поднимался аромат земли, травы и поспевающей кукурузы. Мирный летний рассвет. Грохот боя вторгался во все это как что-то оскверняющее, нечистое. Истерический треск винтовочного огня сопровождался каким-то приглушенным стоном, но, как только вы старались к нему прислушаться, он вдруг замирал. Нервная трескотня пулеметов напоминала стук гигантского механического дятла. Пушка гудела, как огромный колокол, и со свистом проносились снаряды. Бум! Ф-и-и-е-е-а-у. И за этим следовал самый страшный из всех звуков войны — звук разрывающейся шрапнели: Трах!.. А-а-а!

Большое жаркое солнце всходило на востоке, лучи его пробивались сквозь легкую дымку тумана, поднимающегося над плодородной землей, а над бесплодной пустыней на востоке уже начали клубиться столбы горячего воздуха. Солнце осветило изумительные зеленые вершины высоченных тополей, окаймлявших канаву, прорытую справа от нас, параллельно железнодорожному полотну. Деревья там кончались, и позади них цепи нагроможденных друг на друга гор с обнаженными вершинами окрасились в розовый цвет. Мы вновь вступили в полосу выжженной пустыни, густо покрытой запыленными зарослями мескито. На всей равнине деревьев не было, если не считать еще одной редкой линии тополей, тянувшейся с востока на запад до самого города, да двух-трех деревьев, стоявших справа от нас. Мы подошли уже так близко (до Гомес-Паласио оставалось менее двух миль), что могли видеть всю эту разрушенную дорогу до самого города. Мы уже видели черную круглую цистерну для воды, здание депо за ней

и по ту сторону дороги низкие глинобитные стены загона для скота в Бриттингэме. Слева ясно вырисовывались деревья, трубы и постройки мыловаренного завода в Ла Эсперанца, напоминая маленький городок. Почти прямо, перед нами, с правой стороны от железной дороги круго поднималась ввысь вершина Черро де ля Пила, увенчанная как бы каменным резервуаром. С запада к ней примыкала цепь меньших вершин — колючая гряда около мили длиной.

Большая часть Гомес-Паласио лежит за склоном Черро, а у его западных отрогов виллы и сады Лердо выделяются ярко-зеленым пятном на фоне пустыни. Большие коричневые горы, вздымающиеся на западе, огибают эти два города и уступами спускаются на юг, словно исчезая в мрачной пустыне. К югу от Гомес-Паласио лежит Торреон — богатейший город северной Мексики, вытянутый у подножья этой горной цепи.

Стрельба никак не прекращалась, но казалось, что в этом фантастическом и беспорядочном мире она отступает на второй план. По дороге, освещенной яркими лучами утреннего солнца, тянулся поток раненых — шатающихся, кровоточащих, перевязанных рваными, испачканными кровью тряпками, невероятно усталых. Они проходили мимо нас, и один даже упал и лежал без движения рядом с нами в пыли, а мы ничем не помогли ему. Солдаты, расстрелявшие все патроны, выходили из кустарника и бродили бесцельно, волоча по земле винтовки. Затем они углублялись в кустарник по другую сторону железной дороги. Они были черны от пороха, все в поту, с бессмысленным, устремленным вниз взором.

Тонкая мелкая пыль поднималась густым облаком при каждом шаге и стояла в воздухе, раздражая грудь и глаза. Маленькая группа всадников медленно выехала из чащи и поднялась на полотно дороги, вглядываясь вдаль, в направлении города. Один из всадников подсел к нам.

«Это было ужасно,— заявил он вдруг.— Саганба! Мы пришли сюда прошлой ночью пешком. Они засели внутри этой цистерны для воды и пробили в железе бойницы для винтовок. Нам пришлось подойти вплотную и просунуть наши ружья в бойницы. Мы перебили их всех до одного, ведь это настоящая ловушка! Затем на очереди был загон. В нем они сделали два ряда бойниц. Одни — для солдат, стоящих на коленях, другие — для стоящих во весь рост.

Три тысячи gigaes засели там, и у них было пять пулеметов, чтобы простреливать дорогу. А чего стоило здание депо, окруженное тремя рядами траншей с подземными ходами сообщения, так что они могли зайти нам в тыл и стрелять в спину. Даже наши бомбы ничего не могли бы поделаться против этих укреплений. Что уж говорить о наших ружьях! Матерь божья! Но мы действовали так быстро, что застали их врасплох и благодаря этому захватили цистерну и депо. Сегодня утром из Торреона прибыли подкрепления: тысячи людей с артиллерией — и оттеснили нас назад. Они подкрались к цистерне и просунули свои винтовки в отверстия. Они перебили всех наших — дьявольское отродье!»

Пока он нам рассказывал, мы глядели туда, где все это происходило: там стоял адский шум и крик, но не было заметно ни передвижения людей, ни стрельбы, ни хотя бы дымка. Только когда шрапнель с пронзительным свистом врезалась в первый ряд деревьев, росших в миле от нас, поднимался целый клуб белого дыма. Треск ружейных очередей, стаккато пулеметов и даже грохот пушки не помогали обнаружить, где они скрыты.

Плоская пыльная равнина, деревья и трубы Гомес-Паласио, каменистый холм, казалось, мирно дремали в лучах жаркого солнца. Справа, со стороны тополей, доносилось беззаботное пение птиц. Создавалось впечатление, что чувства вас обманывают. Все это походило на какой-то невероятный сон, и зловещая процессия раненых двигалась, как призрак, сквозь клубы пыли...

Обратно мы пошли извилистой тропинкой сквозь мескитовые заросли, пересекли разрушенную дорогу и направились прямо через пыльную равнину на юго-восток. Если посмотреть назад вдоль железнодорожного полотна, можно было увидеть вдалеке, на расстоянии нескольких миль дымок первого поезда, изогнувшегося дугой на повороте; впереди поезда справа от дороги, копошилось множество крошечных фигурок. Они виднелись смутно, как отражение в колеблющемся зеркале воды. Мы шагали в легком облаке пыли. Исполинские мескито сменялись все более низкорослыми и чахлыми и едва достигали наших колен. Направо высокие холмы и трубы города спокойно купались в лучах палящего солнца. На некоторое время ружейный огонь почти совсем смолк и только появившиеся изредка ослепительные вспышки и облачка густого белого дыма вдоль

горного хребта указывали места разрыва наших снарядов. Мы видели, как наши тускло-коричневые пушки двигались по степи на юг, огибая первую линию тополей, где непрерывно визжала шрапнель врага, метавшаяся в поисках своих жертв. Там и здесь по пустыне передвигались маленькие группки конных или пеших, волочивших за собой ружья.

Старый пеон, согнувшийся под тяжестью годов и одетый в лохмотья, бродил по зарослям низкорослого кустарника, собирая сучья мескито.

«Скажи, друг,— обратились мы к нему,— нет ли где здесь дороги, чтобы поближе подойти к месту боя?»

Он выпрямился и уставился на нас.

«Если бы вы пробыли здесь так долго, как я, вы бы не стремились увидеть сражение. Саганба! На моих глазах за последние три года они семь раз брали Торреон. Иногда они наступают со стороны Гомес-Паласио, а иногда — со стороны гор. Но это всегда одно и то же — война. Для молодых, может быть, в этом есть что-нибудь интересное, но мы, старики, устали от войны.— Он остановился и начал пристально всматриваться вдаль.— Вот видите этот высохший ров? Так если вы спуститесь и пойдете по нему, он приведет вас в город.— А затем, словно отвечая на только что пришедшую ему в голову мысль, он добавил с любопытством:— А к какой партии вы принадлежите?»

«К конституционалистам».

«Так. Сначала были мадеристы, затем ороскисты, а теперь — как вы их там называете? Я стар, мне немного осталось жить, но эта война... мне кажется, ведет лишь к тому, чтобы заставить нас голодать. Идите с богом, сеньоры».

И он вновь принялся за свою кропотливую работу, а мы спустились в ров. Эта отслужившая прямая ирригационная канава отклонялась слегка к юго-западу.

Дно канавы заросло пыльной сорной травой, а дальний конец ее был скрыт от нас своеобразным маревом, похожим на сверкающую гладь маленького прудика. Слегка согнувшись, чтобы не быть видными снаружи, мы шли по канаве, казалось, уже несколько часов; жаркие лучи солнца, отражаясь от растрескавшегося дна и пыльных склонов, нестерпимо жгли нас, доводя до полного изнеможения. Один раз какие-то всадники проскакали совсем близко справа от нас, звеня стальными шпорами. Мы припали на дно канавы и лежали там, пока они не проехали, так

как не хотели рисковать. На дне канавы артиллерийский огонь звучал слабо и казался очень далеким, но, осторожно высунув голову из-за насыпи, я увидел, что мы находимся уже довольно близко от деревьев. Снаряды падали около них, и я даже различал клубы страшного дыма, вырывавшиеся из жерла пушки, и ощущал удар звуковой волны после каждого выстрела. Мы оказались на добрую четверть мили впереди нашей артиллерии, стрелявшей, как видно, по водяной цистерне на том же самом краю города. Когда над нашими головами, пронзительно визжа, стали пролетать снаряды, мы вновь пригнулись ко дну канавы. Снаряды падали круто вниз, визг прекращался, и тотчас же раздавался глухой звук взрыва. Там впереди, где железнодорожный мост главной линии пересекал эту высохшую канаву, лежали трупы людей, убитых, очевидно, во время первой атаки...

В тени этого моста четверо мужчин сидели и играли в карты. Играли они без азарта, молча. Глаза у них покраснели от бессонницы. Жара была ужасающая. Неожиданно сюда залетела шальная пуля с пронзительным визгом: «Где-е-е-е-е-е в-ы-ы-ы-ы?» Эта странная компания встретила наше появление без удивления. Снайпер устроился в сторонке и заботливо вставил новый патрон в свою винтовку.

«У вас нет ли глотка воды вот в этой фляге? — спросил он. — Мы уже сутки ничего не пили и не ели, — он жадно пил, внимательно посматривая на игроков, не хотят ли они тоже пить. — Говорят, что мы должны вновь атаковать водяную цистерну и загон, как только артиллерия сможет поддержать нас. Крепкий народ из Чиуауа! Но ночью было тяжело. Они убивали нас прямо здесь на улицах...»

Он отер губы тыльной стороной ладони и вновь начал стрелять. Мы легли рядом с ним, выглядывая из-за его плеча. До изрыгающей смерти водяной цистерны было почти двести ярдов. За дорогой и за широкой улицей возвышались коричневые земляные стены Бриттингэмского загона. Сейчас они выглядели вполне невинно, только черные точки указывали на двойную линию амбразур.

«Там пулеметы, — молвил наш приятель. — Посмотрите на них. Их тонкие дула выглядывают из-за кромки стены».

Мы не могли их разглядеть. Цистерна, загон и город были погружены в дремоту под палящими лучами солнца. Пыль все еще поднималась вверх, образуя легкую дымку.

Примерно в пятидесяти ярдах впереди нас проходил неглубокий открытый ров. Очевидно, некогда он был траншеей федералистов, так как насыпь на нем была сделана на краю, обращенном в нашу сторону. Теперь в нем залегли двести солдат в серовато-коричневой, запыленной одежде. Это пехота конституционалистов. Они распростерлись на земле в позах, свидетельствующих о крайней усталости. Некоторые спали на спине, подставив лицо яркому солнцу. Другие вяло перетаскивали горстями землю с тыла на передний край. Перед собой каждый из них беспорядочно нагромоздил груду камней...

Неожиданно за нашей спиной артиллерия дала залп из всех орудий, и над нашими головами со свистом пролетело несколько снарядов в направлении Черро.

«Это сигнал,— сказал солдат, стоявший рядом с нами. Он забрался в канаву и стал расталкивать спящего.— Вставай — закричал он.— Просыпайся, мы идем в атаку на пелонов». Спящий застонал и медленно открыл глаза. Он зевнул и не говоря ни слова схватил винтовку. Люди, игравшие в карты, начали перебранку из-за выигрыша; разгорелся спор о том, кому принадлежит колода карт. Ворча и все еще переругиваясь, они заковыляли наверх и пошли за снайпером вдоль канавы до ее конца. Ружейный огонь раздавался вдоль всего края находившейся перед нами траншеи. Только что проснувшиеся солдаты залегли ничком около своих маленьких укрытий. Они изо всей силы работали руками, беспрестанно заряжая винтовки. Пустой стальной бак для воды звенел под градом сыпавшихся на него пуль, осколки кирпича отлетали от стены загона. Время от времени стена загона ощетикивалась блестящими на солнце дулами, и обе стороны поднимали страшный шум, с ожесточением стреляя из-за укрытия.

Пули закрыли свистящей стальной пеленой небо, поднимали дым и пыль, желтое облако которой скрывало от наших глаз стену загона и цистерну. Мы видели, как наш приятель мчался, пригибаясь к земле; сонный солдат следовал за ним во весь рост, все еще протирая глаза. За ними вереницей бежали люди, только что игравшие в карты, все еще бранясь друг с другом. Где-то в тылу заиграла труба. Снайпер, бежавший впереди всех, вдруг остановился, закачался, словно наткнувшись на твердую стену. Его левая нога подогнулась под ним, и он рухнул на одно колено, с пронзительным криком размахивая винтовкой. «Ах, вы...

грязные обезьяны,— выругался он, стреляя быстро в облако пыли.— Я вам покажу... Бритые головы! Тюремные пташки!» — Он тряс головой от боли, как собака, раненная в ухо. Кровь текла у него из головы. Мыча от бешенства, он расстрелял все оставшиеся патроны, затем упал на землю и бился на ней, наверное, с минуту. Остальные солдаты пробегали мимо, едва достаивая его взглядом. Теперь траншея кишела людьми, напоминавшими червяков, выползших из-под колоды, под которой они скрывались. Треск ружей был очень сильный. Позади нас раздался топот ног, и солдаты в сандалиях, с одеялами на плечах промчались вихрем, скатываясь в канаву и карабкаясь вверх с другой стороны. Казалось, их сотни...

Они почти скрыли от нас линию фронта, но сквозь пыль и мелькание бегущих ног мы видели, как солдаты, сидевшие в траншее, хлынули из-за своего укрытия, как разрушительная волна. Затем пыль улеглась, и смертоносные иглы пулеметов пронизали все пространство. Один взгляд сквозь разорванное налетевшим неожиданно горячим порывом ветра облако пыли — и мы увидели первую коричневую линию людей, шатавшихся, как пьяные, и пулеметы, темно-красные в лучах солнца, трещавшие на стене. Потом оттуда примчался солдат без винтовки. Пот струился по его лицу. Он бегом, стремительно спустился в нашу канаву, скользая на ногах, и поднялся на другую сторону. Впереди в пыли неясно вырисовывалось еще несколько фигур.

«Что происходит? Что случилось?» — закричал я.

Он ничего не ответил и побежал дальше. Вдруг впереди послышался ужасный грохот и свист шрапнели. Артиллерия противника! Я тут же вспомнил о наших орудиях. Не считая отдельных случайных выстрелов, они молчали. Наши самодельные снаряды опять подвели. Разорвались еще два шрапнельных снаряда. Из облака пыли вынырнули обратившиеся в паническое бегство люди. Они бежали назад по одному, парами, группами, толпой. Они навалились на нас, окружили нас, захлестнули нас, как волной, и кричали: «К тополям! К поездам! Федералисты наступают!» Мы старались выбраться из толпы и тоже бросились бежать к линии железной дороги. Позади нас рвались снаряды, сквозь пыль настигая свои жертвы. Затем мы заметили, что вся широкая дорога впереди заполнена скачущими всадниками, громко кричавшими по-

индейски и размахивающими ружьями. Это была главная колонна. Мы остановились на обочине дороги, а они, около пятисот человек, промчались мимо. Мы видели, как они приникли к лошадям и начали отстреливаться. Грохот копыт их лошадей раздавался, как гром.

«Лучше туда не лезть. Там слишком жарко!» — выкрикнул всадникам какой-то пехотинец с усмешкой.

«Держу пари, что мне еще жарче», — ответил один всадник, и мы все засмеялись. Мы спокойно двинулись назад вдоль полотна железной дороги, а стрельба позади нас сливалась в несмолкаемый гул. Несколько пеонов (*pacíficos*), в высоких сомбреро, одеялах и белых бумажных блузах, стояли вдоль дороги, скрестив руки на груди и глядя в направлении города.

«Смотрите, друзья, — пошутил солдат. — Не стойте здесь, а то получите по шее».

Пеоны переглянулись, и слабая улыбка появилась на их лицах. «Ничего, сеньор, — сказал один, — мы всегда стоим здесь, когда идет бой...»

Я смертельно устал и еле держался на ногах от бессонницы, голода и ужасающей жары. Пройдя полмили, я оглянулся и увидел, что вражеская шрапнель бьет по деревьям чаще, чем когда-либо. Они, как видно, хорошо пристрелялись. И как раз в это время я заметил, что серая вереница пушек, погруженных на мулов, начала выползать из-за деревьев и в четырех или пяти направлениях продвигаться в тыл. Нашу артиллерию выбили с ее позиций. Я залег в тени большого куста мескито, чтобы отдохнуть. Тотчас же, почти мгновенно, изменился и тон ружейной перестрелки. Как будто половина винтовок вдруг смолкла. Одновременно затрубило двадцать труб. Вскочив, я увидел цепь скачущих всадников, мчащихся вверх по линии дороги и что-то кричащих. За ними проскакали еще большие группы их: они мчались туда, где железная дорога проходила рядом с деревьями, в направлении к городу. Кавалерийская атака была отбита. Сразу вся равнина покрылась людьми — на конях и пешком все бежали назад. Один бросил свою винтовку, другой — одеяло. Беглецов в пустыне становилось все больше и больше. Они подняли ужасную пыль. Вскоре все вокруг было заполнено ими. Как раз напротив меня из зарослей выскочил всадник с криком: «Федералисты наступают! К поездам! Они идут за нами по пятам!»

Вся армия конституционалистов обратилась в бегство. Я подобрал одеяло и пустился наутек. Немного дальше я наткнулся на брошенную пушку. Постромки были обрешаны, мулы убежали. Под ногами валялись ружья, патроны и дюжины серапе. Это было беспорядочное бегство. Выйдя на открытое место, я увидел впереди огромную толпу бегущих солдат, уже без оружия. Вдруг перед ними появились три всадника. Они размахивали оружием и кричали: «Назад! Никто не наступает. Назад, ради всего святого!» Двоих я не мог разглядеть. Третий был Вилья.

На милю дальше бегство было приостановлено. Мне навстречу стали попадаться возвращающиеся назад солдаты. Они шли уже спокойно, как люди, испугавшиеся неизвестной опасности и неожиданно освободившиеся от страха. Это сделал Вилья. Он умел так объяснять простым людям, что они с полуслова все понимали. Федералисты же, как всегда, не смогли воспользоваться удобным случаем и нанести конституционалистам сокрушительное поражение. Может быть, они боялись повторения ловушки, подобной той, что устроил Вилья в Мапуле, когда победоносные войска федералистов после первой атаки на Чиуауа бросились преследовать убегающую армию Вильи и были отброшены назад с тяжелыми потерями. Во всяком случае, они не появились. Люди начали возвращаться, рыская в мескитовых зарослях в поисках своих и чужих винтовок и одеял. Повсюду уже слышались крики и шутки.

«Эй, Хуан,— кричал один другому,— я всегда говорил, что могу побить тебя в беге».

«Но ты не сделал этого, друг мой. Я был впереди на сто метров, ведь я летел по воздуху, как ядро из пушки».

Объяснялось все это тем, что после езды верхом по двенадцать часов в день, сражения, продолжавшегося всю ночь и все утро под палящими лучами солнца, после ужасно напряженного боя против бивших в лицо артиллерийских снарядов и пулеметов, без еды, воды и сна нервы солдат неожиданно сдали. Но как только они после бегства вернулись на свои позиции, никаких сомнений в конечной победе не осталось. Психологический кризис миновал...

1914 год.

ВОЙНА ТОРГОВЦЕВ

Австро-сербский конфликт — совершенный пустяк, как если бы Хобокен объявил войну Кони-Айленду*. Тем не менее в него оказалась втянутой вся цивилизованная Европа.

Подлинная война, в которой этот неожиданно начавшийся разгул смерти и разрушения является лишь эпизодом, разгорелась давным-давно. Она свирепствовала уже десятилетия, но об ее битвах так мало говорили, что они проходили незамеченными. Это была война торговцев.

В этой связи не мешает напомнить, что образование Германской империи началось с торгового договора. Первой победой Бисмарка был Zollverein (Таможенный союз) — тарифное соглашение множества мелких германских государств. В результате военных успехов этот таможенный союз консолидировался в могущественное государство. Поэтому вполне понятна уверенность германских дельцов в том, что развитие их торговли зависит от военной силы. «Ohne Armeee, kein Deutschland» («Без армии нет Германии») — это лозунг не одного только императора и военной касты. Успех милитаристской пропаганды Морского союза и других подобных ему шовинистических организаций объясняется тем, что девять десятых немцев придерживаются такого же взгляда на свою историю.

После франко-прусской войны наступило «gründerzeit» — время грюндерства. Германия во всех областях быстро продвигалась вперед, обуреваемая сильным стремлением достигнуть могущества. Только после исчезновения германского торгового флота с морей мы смогли оценить

* Хобокен и Кони-Айленд — районы Нью-Йорка.— *Прим. ред.*

его мировое значение. А ведь все эти германские огромные флотилии океанских пассажирских пароходов и торговых судов появились лишь после 1870 года. Столь же быстрым и удивительным было развитие сталелитейной, текстильной промышленности, горного дела и торговли — всех современных отраслей промышленности и коммерции, а также рост населения в Германии.

Но, как известно из географии, все территории для приложения этих сил были для нее уже закрыты. В дни, когда еще не было ни немецкой армии, ни единой Германии, англичане и французы прибрали к рукам весь мир с его богатствами...

Англия и Франция встретили развитие Германии с подозрительностью и лживыми заверениями в своем миролюбии. «Мы не стремимся к захвату новых территорий. Сохранение мира в Европе требует поддержания *status quo*».

Не успели эти слова сорваться с уст английских политиков, как Англия захватила Южную Африку, при этом она даже выразила свое величайшее изумление и недовольство по поводу того, что Германия не рукоплескала этому закрытию для нее еще одного рынка.

В 1909 году король Эдуард VII, великий миролюбец, после долгих тайных переговоров возвестил о создании *Entente cordiale* (Антанты) — соглашения, по которому Франция обещала поддерживать Англию в захвате Египта, а Англия предложила Франции помощь в марокканском конфликте.

Известие об этом тайном «джентльменском соглашении» вызвало бурю. Кайзер в пылу негодования вопил: «В Европе ничто не должно происходить без моего согласия».

Миролюбцы из Лондона и Парижа признавали, что угроза войны очень серьезна. Но они рассчитывали добиться своего, не обагрива руки в крови, и потому согласились на созыв дипломатической конференции в Альхесирасе. Франция торжественно обещала не аннексировать Марокко и вдобавок сама поклялась придерживаться политики «открытых дверей». Каждый должен был иметь равные возможности в торговле. Гроза прошла стороной.

О том, как французы держали свое слово в отношении проведения политики «открытых дверей» в Марокко, можно судить хотя бы по такому факту, как организация

поставок сукна для марокканской армии. В соответствии с Альхесирасским соглашением, предусматривавшим, что все контракты должны заключаться на международном аукционе, было официально объявлено, что султан решил закупить большую партию сукна цвета хаки для обмундирования солдат. Подробные условия контракта должны были быть опубликованы в определенный этим соглашением день. Фабриканты сукна всех стран приглашались к участию в аукционе.

В «условиях» было сказано, что сукно должно поступить не позднее чем через три месяца и должно быть определенной ширины — три ярда, мне помнится. «Но, — запротестовали представители немецкой фирмы, — во всем мире нет ткацких станков такой ширины. Придется затратить месяцы, чтобы их построить». Вскоре выяснилось, что один дальновидный, или вернее давно предупрежденный, фабрикант из Лиона уже несколько месяцев назад установил необходимые для выполнения этого заказа станки. Он и получил контракт.

Посол в Танжере был принужден спешно командировать в Берлин специальных чиновников для передачи жалоб немецких торговцев на невозможность практически использовать французскую политику «открытых дверей».

Но, пожалуй, самое большое возмущение вызвала шумиха, связанная с постройкой Багдадской железной дороги. Группа германских капиталистов получила привилегию на строительство железной дороги, чтобы открыть себе доступ в Малую Азию через Багдад и Персидский залив. Этот экономически слабо развитый район был для них тем выгодным рынком сбыта, в котором они так нуждались. Англия воспрепятствовала осуществлению этого проекта под тем предлогом, что дорога сократит в два раза путь в Индию и поэтому может быть использована кайзером для посылки войск с целью захвата Индии в более короткое время. Немцы прекрасно понимали, что английские купцы и судовладельцы не хотят мириться с угрозой их монопольной торговле с Индией. Даже одержав эту важную для торговли победу, добившись прекращения работ по постройке Багдадской дороги, английские дипломаты продолжали торжественно заявлять о своем миролюбии и чистосердечном стремлении сохранить *status quo*. Вот тогда-то, в этой обстановке, один из депутатов рейхстага и сказал: «*Status quo* — это агрессия».

Итак, коротко говоря, положение таково: германские капиталисты стремятся к увеличению прибылей. Английские и французские — к тому же самому. Эта война в торговле началась уже много лет назад...

Никто не может питать такой ненависти к милитаризму, как я. Никто более горячо, чем я, не желает, чтобы позор милитаризма исчез с лица земли. «Величайшие вопросы сегодняшнего дня не могут быть решены ни парламентскими речами, ни большинством голосов, их можно разрешить только кровью и железом» — «Durch Blut und Eisen». Эти слова Бисмарка стали лозунгом реакции. Они были самым большим препятствием на пути демократического развития.

Ни одна из речей последнего времени не казалась мне столь нелепо высокомерной, как речь кайзера, обращенная к «его» народу, в которой он заявил, что в этот страшный час от всего сердца прощает всех, кто когда-либо выступал против него. Мне стыдно, что в наши дни в цивилизованной стране могут говорить такую архаическую чепуху.

Но хуже «самодержавия кайзера», хуже даже, чем звериные идеалы, которыми он похвально, хуже всего этого плохо скрытое лицемерие его вооруженных противников, которые кричат о мире в то время, как мир этот не может быть сохранен из-за их же собственной алчности.

Еще отвратительнее, чем глупая напыщенность кайзера, голоса хора американских газет, которые делают вид, что верят — и хотели бы и нас заставить верить, — будто в этой борьбе защитник современной демократии, рыцарь без страха и упрека, выступает против страшного чудовища — средневекового милитаризма.

Но для чего же тогда нужен демократии союз с Николаем II — русским царем? Может быть, Петербург, где действовал поп Гапон, или Одесса с ее погромами являются очагами либерализма? Неужели наши издатели столь наивны, что верят этому? Нет, нынешний конфликт — это ссора между торговыми конкурентами. Одна сторона сохранила благовоспитанные формы современной дипломатии и говорит о «мире», рассчитывая в то же время главным образом на прославившийся своим миролюбием военный флот Великобритании, на армию Франции и на миллионы полурабов, которых они получают за взятку у царя всея Руси (и, конечно, на силу решений Гаагской конференции), чтобы двинуть их вперед против

немцев. Другая сторона — это свирепость и отвратительное евангелие «крови и железа».

Мы, социалисты, можем надеяться, можем даже быть уверены, что из ужаса кровопролития и страшных разрушений родятся далеко идущие социальные преобразования и будет сделан большой шаг вперед к нашей цели — к миру среди людей. Нас не должна обмануть газетная болтовня о том, что либерализм ведет священную войну против тирании.

Это не наша война.

1914 год.

ВМЕСТЕ С СОЮЗНИКАМИ

В самый острый момент величайшей войны в Европе, когда западная цивилизация находится на краю гибели, Женева сверкает, как Монте-Карло в разгар сезона. И это Женева — родина общества Красного Креста, под чьим кровом не раз собирались конгрессы в защиту более гуманных методов ведения войны. То, чего весь мир боялся, наконец наступило. Началась война, с бомбардировками мирных городов, истреблением мирного населения нейтральных стран, убийством и уничтожением раненых. Горит разграбленный Лувен, а в Женеве собралось самое веселое и легкомысленное общество в Европе. Немцы, англичане, французы вместе обедают, вместе танцуют, толпятся по ночам в курзале у игорных столов, а затем устремляются посмотреть последнее низкопробное парижское ревю. Ночью огни вдоль озера сверкают, как драгоценное ожерелье. Музыканты в красных пиджаках исполняют самые веселые и легкие мелодии, но музыка заглушается смехом и шепотом шикарных женщин и мужчин в вечерних туалетах: англичан, французов, немцев. По веселым улицам прогуливаются эксцентричные девицы с парижских бульваров.

Денег нет ни у кого. Все слегка потерты, пообносились. Но всякое упоминание о величайшей в мировой истории войне считается здесь проявлением дурного тона. Война кажется отдаленной и мало реальной. О ней ничто не напоминает, за исключением расклеенных на стенах домов приказов швейцарского правительства о мобилизации, отрядов молодых солдат, проходящих обучение в поле, среди несжатых хлебов, да молчаливых толп французских и немецких резервистов перед зданиями их консульств.

Правда, о войне пишут в газетах, каждый поезд привозит груды крикливых, истеричных французских и немецких журналов. Газеты читают все и на несколько минут погружаются в обсуждение новостей. Тогда всюду слышится: «Неужели немцы действительно возьмут Париж? А приведет ли это к окончанию войны? Они и вправду хотят меня запихнуть на военную службу, скоты...» Но затем разговор вновь переходит на женщин, театр и последний обед. Вы пьете ваш аперитив, любуетесь видом на залитое солнцем озеро и возвышающиеся за ним мощные цепи снежных вершин с маленькими беленькими городишками, приютившимися у их подножья, и восторгаетесь этим видом, пока не настанет время идти завтракать...

Мы сумели попасть на последний, как нам сказали, поезд, идущий в Париж. Немцы — так мы называли странных, чужих людей незнакомой расы, не имеющих ничего общего с милыми и приятными жителями Берлина и Мюнхена, — были уже, как известно, в тридцати километрах от Парижа. Не верилось, что наш поезд дойдет до места назначения. В Сернадоне мы остановились на станции рядом с десятью вагонами третьего класса, из которых доносились песни и приветствия. Все двери и окна вагонов были убраны зелеными ветвями и виноградными лозами, из них высовывались сотни юных лиц и машущих рук.

Это была сама молодость Франции, ее молодая кровь, юноши призыва 1914 года. Они отправлялись на военные пункты для прохождения специальной подготовки, которая отштампуем все их мысли и чувства и превратит их в маленькие частички послушной машины, годные лишь на то, чтобы их бросили против обработанной таким же способом молодежи Германии. Молодые солдаты кричали: «Да здравствует Франция! Кайзеру отрубим усы! Даешь Эльзас-Лотарингию!» В десяти местах распевали различные куплеты Марсельезы, еще где-то пели «*Sambre et Meuse*» * и сотни вариантов модных песенок парижского мюзик-холла. Все это сливалось в оглушительную какофонию, в гимн молодости, освобождению от школы и вступлению в новую интересную жизнь. На стенах

* Самбр и Мёз (Маас) — реки Западной Европы, берущие свое начало в северо-западной Франции.— *Прим. перев.*

вагонов были нарисованы мелом непристойные изображения пруссаков в унижительных позах перед победоносным французским солдатом. Рядом видны были надписи: «Смерть пруссакам!», «Поезд идет прямо на Берлин», «Здесь предоставляются гиды немцам, желающим путешествовать по Франции».

Позднее я встречал полки ветеранов, прошедших службу в Алжире и Бельгии. Их вагоны не были разукрашены. Отправляясь на фронт, они не пели и не выкрикивали приветствий. Ехали они с обыденным, бесстрастным видом людей, отправляющихся утром на повседневную работу на шелкопрядильной фабрике. Механически, как животные, употребляли они все свободное время лишь на еду, питье, сон и во всем подчинялись своим офицерам. Вот во что предстояло обратиться молодежи призыва 1914 года. Мысль эта была не из приятных.

Десять вагонов с молодежью были прицеплены к нашему поезду, и в пути до нас все время доносились песни и крики. Смеркалось. Мы стали замечать, что на каждой станции собирается молчаливая толпа одетых в серое людей, в большинстве женщин. Ими были забиты все полустанки, многие высовывались из окон домов, стоящих вдоль железной дороги. С взволнованными лицами, плача, махали они платками: сестры, матери, возлюбленные призывников 1914 года. Когда стемнело, начался дождь, но они все стояли под открытым небом, и стояли уже много часов — молчаливые, серые, в сгущающихся сумерках, чтобы в последний раз взглянуть на своих мальчиков, едущих неизвестно ради чего воевать с немцами по повелению высшего разума, олицетворенного в правительстве.

В Бурге, где дорога, идущая с восточной границы, соединяется с железнодорожной линией на Лион, мы сошли с поезда и отправились пообедать. Вокруг нас суетились солдаты и множество женщин в белых одеждах — сестер Красного Креста. Медленно подошел поезд из Бельфора. Когда он остановился, до нас донесся ужасный запах иодоформа. Из окон высовывались мужчины с забинтованными руками и головами. Они просили папирос. «Откуда вы?» — спросил я у одного из них. «Из Эльзаса», — ответил он. А солдаты на платформе ревели: «Они из Эльзаса! Взяли мы уже Страсбург или нет?» «Я не знаю, — ответил один из раненых. — В окопах никто ничего не

знает. Но во Франции уже нет немцев». «Что ты, друг мой! — закричал другой. — Они в тридцати километрах от Парижа». — «Слышали, ребятки?» — «Неправда, — заявил другой раненый, с головой, обмотанной окровавленными бинтами. — Мы слишком много их поубивали. Сколько же их всего, этих проклятых пруссаков?»

«Ну и ладно, мне наплевать! Я еду домой, в свою деревню. Буду есть яйца и попивать вино. А проклятая война может убраться ко всем чертям».

Паровоз дал свисток, и длинный ряд вагонов двинулся на юг; скрылись из глаз забинтованные руки, высунутые из окон в прощальном приветствии. В конце поезда были прицеплены две платформы, пол их был устлан соломой. Когда они поравнялись с нами, мы могли заметить в полумраке ряды тяжелораненых солдат, лежащих на спине. До нас донесся тихий протяжный стон...

Мы приближались к Парижу. Вдоль дороги стало попадаться все больше солдат. На опушке почти каждой рощицы можно было видеть стреноженных кавалерийских коней, а из-за деревьев подымались дымки от костров, на которых готовили пищу.

А там на небольшой возвышенности рота солдат, скинув мундиры, рыла траншею. Они высоко вскидывали лопаты, которые сверкали на солнце. В другом месте группа людей большими топорами рубила деревья. Еще дальше, у въезда в какую-то деревню, солдаты навалили поперек дороги булыжники, мебель, пни, создавая наспех баррикаду. Мимо нас один за другим шли поезда с солдатами. На платформах везли серые пушки с длинными стволами. Мы вступили в Парижский укрепленный район.

Вспоминаю, как мы увидели первого британского томми. Наш поезд надолго остановился посреди моста через большую реку. На парапете, менее чем в двадцати футах от нас, сидел английский солдат и удил рыбу. Леска была привязана к штыку, каска съехала слегка набекрень, он насвистывал «Путь далек до Типперери», пристально и с удовлетворением вглядываясь во что-то на западе. Услышав наше английское приветствие, он подошел к нам и начал рассказывать о своих приключениях: «О да, я проделал вместе со всеми весь путь отступления из Бельгии. Возле разъезда у нас была небольшая стычка, я видел, как ирландская гвардия была изрублена в куски в Вивье-Вудсе. Мой друг был захвачен пруссаками возле

местечка, которое они называют, кажется, Катто. Они сняли с него и штаны и...»

Как раз в середине этого волнующего рассказа подошел еще солдат: «Знаете ли, за все время, что мы здесь, мы не получали никаких новостей. Не можете ли вы сказать, сэр, не знаете ли вы, русские вступили уже в Берлин?» — «Глупости,— ответил другой с презрением.— Откуда? Они еще и Пиренеев-то не перешли».

Я осведомился: «Как называется это место?»

«Я точно не знаю,— ответил томми.— Мы здесь всего навсего неделю. А для того, чтобы научиться выговаривать его, требуется немало времени. Эти все французские названия так похожи одно на другое».

Наш паровоз дал гудок, и мы отправились дальше.

В Париж мы прибыли, когда авангард немцев был всего в тридцати километрах от города. Было прекрасное сентябрьское утро; воздух прохладный, бодрящий. В такие дни весь Париж возвращается из деревни, и на улицах города народа больше, чем в любое другое время года. Мы же попали прямо с вокзала в вымерший город. Длинные перспективы пустых улиц: ни омнибусов, ни грузовиков, ни трамваев, все магазины с закрытыми ставнями и буквально увешаны флагами. Из каждого окна было выставлено по пять флагов: французский, бельгийский, русский, сербский и английский. Время приближалось к полудню, но на Больших бульварах не видно было ни души. А ведь обычно, как говорится, если здесь посидеть на террасе кафе в течение часа, то перед тобой пройдет народ со всего света. На Рю де ла Пэ тоже не видно было ни одного человека. Смолкло все: грохот омнибусов, автомобильные гудки, крики уличных разносчиков, топот конских копыт — все, что некогда превращало эти улицы в самый шумный уголок в мире.

Кругом царил мертвая тишина, и только копыта лошади моего извозчика гулко цокали по мостовой. Казалось, что город, разукрашенный для какого-то блестящего праздника, внезапно тяжело заболел. Мальчишкам-газетчикам запретили громко выкрикивать заголовки газет. Они молча протягивали газеты прохожим, как бы говоря: «Нас арестуют, если мы скажем вам, как близко подошли к Парижу немецкие армии, но за пять сантимов вы можете все это прочесть здесь сами». Итак, мы могли купить и пробежать глазами последнее официальное коммюнике,

гласившее: «Стратегическое отступление войск союзников продолжается с большим успехом...»

Париж, впервые за всю свою историю, был безмолвен. Мы все немало слышали о стоическом спокойствии парижан в то время, когда город находился в опасности, о негнбаемом мужестве, с которым они смотрели в лицо грозщей им осаде. Но в действительности дело было в том, что все время, пока два миллиона французской молодежи вели отчаянную битву против немецких орд, вторгшихся с севера, Париж — сердце и душа Франции — ничего не знал об этом и оставался спокойным и апатичным. Когда же враг подошел вплотную, Париж и не подумал дать ему отпор, а сразу опустел. Около двух миллионов человек покинули город в южном и западном направлениях. Великолепные, роскошные особняки — дворцы богачей — были предоставлены в распоряжение Красного Креста. Этот на вид патриотический акт на деле был рассчитан на то, что флаг Красного Креста спасет здания от разрушения немцами. К ставням заколоченных магазинов прикреплялись записки: «Владелец и все приказчики ушли в армию. Да здравствует Франция!» И тем не менее, когда после битвы на Марне население стало возвращаться в город, те же самые магазины открывались и владельцы со своими приказчиками без малейшего зазрения совести возвращались на прежнее место. Когда опасность миновала, некоторые особняки и дворцы были отобраны у Красного Креста.

Каждый день с севера появлялся немецкий аэроплан, низко пролетал над крышами города, бросая то там, то здесь на безобидные мирные улицы бомбы и тучи листовок, призывающих парижан к капитуляции, поскольку немцы находятся у самых ворот города. Обычно он появлялся около четырех часов пополудни, и в это время весь Париж высыпал на улицы. О приближении аэроплана узнавали по невероятной трескотне выстрелов, сопровождавшей его полет и охватывавшей весь город. Жители взбирались на крыши домов с оружием самых причудливых образцов и палили направо и налево.

Официант, обслуживавший в кафе, со стуком ставил перед вами стакан, хватал ружье и мчался на улицу, чтобы стрелять в небо. Растущая, как снежный ком, лавина маленьких мальчишек и велосипедистов мчалась по улицам в том же направлении, что и аэроплан, чтобы посмотреть, где упадет следующая бомба. В кафе официанты стали

просить деньги сразу, как только приносили вам аперитив, оправдывая свою просьбу тем, что посетители при появлении аэроплана убегали не заплатив. Долгое время появление немецкого аэроплана было развлечением для парижан, и все были разочарованы, когда он перестал прилетать.

В это время единственным процветающим предприятием, делающим потрясающие сборы, был магазин, где изготавливали «Полный комплект траурного платья в течение шести часов». С каждым днем на улицах увеличивалось число людей в траурных одеждах. У мэрий сотни женщин с взволнованными лицами стояли целыми днями в очереди, чтобы узнать о своих мужьях. Это было единственное действительно глубокое переживание, связанное с войной. Списки раненых и убитых не публиковались. Вы пытались навести справки об интересующем вас человеке. Если он был жив, вам ничего не сообщали, если же он погиб, факт быстро устанавливали, и в течение двадцати четырех часов вы получали маленькую оловянную ладанку, какую выдавали каждому солдату перед боем.

Больше всего изменился ночной Париж. Кафе закрывались в восемь часов, рестораны — в девять. Театральных представлений не было, если не считать изредка выходящих на экраны кинокартин. Город погружался в темноту; не стало потоков света, льющихся из окон кафе, огромных золотых арок на бульварах, изящных гирлянд фонарей, опоясывавших изгибы реки и мосты, белого сияния Елисейских полей. В половине десятого улицы совершенно пустели. Только длинные белые лучи пяти прожекторов плясали над крышами Парижа, обшаривая небо в предвидении давно ожидаемого нападения аэропланов. А под моим окном на темных улицах раздавалась мерная поступь солдат, снятых с каких-то постов и направленных куда-то, а куда, они и сами не знали.

Сегодня утром раздался барабанный бой, приглашая на представление Гиньоля. Мы заплатили два су и уселись позади восторженной, очарованной толпы очень маленьких ребятишек, смотревших, как папаша Гиньоль вступил в борьбу с дьяволом, а его сын перехитрил жандарма. У некоторых малышей на левом рукаве был креп, но они всю восторгались представлением. Солнечный свет прорывался сквозь листву. Взглянув наверх через просвет в деревьях, мы увидели очень высоко в небе

аэроплан, сверкающий в лучах солнца, как металлическая птица. Пока мы пробирались к воротам парка, с улицы доносились рев труб и громкая барабанная дробь. Это проходил полк солдат. Все они были в пыли, многие прихрамывали, лица их были небриты и покрыты грязью — полк возвращался с фронта. Солдаты двигались медленно, но непреклонно, едва передвигая ноги, штыки их винтовок покачивались в такт их шагам. Я стоял на расстоянии тридцати футов от солдат, но тем не менее запах, исходивший от них, был ужасен. Это был тот же запах ночлежного дома на Бауэри * зимней ночью, когда жар печи начинает распаривать грязные, зараженные болезнями тела и кишашую насекомыми одежду. Гордо звенели трубы, а солдаты третьего линейного полка французской армии устало брели мерным шагом по улице между забитыми народом тротуарами. Никто не проронил ни слова. Все мы тупо, с любопытством глядели на этих необычно выглядящих людей, одетых в форму, сохранившую запах трущоб, овеванную славой, только что завоеванной на поле сражений. Они ничего общего не имели со спектаклями Гиньоля в Люксембургском саду...

Дымка тумана окутывала верхушку белой башни маяка в Кале, когда мы вышли из ресторана и отправились побродить после обеда по Рю Руайяль. Рю Руайяль — это Бродвей города Кале. Слышится лязг трамваев, двери магазинов и кино широко открыты, и мимо толпы, собравшейся возле склада на углу в ожидании лондонских газет, доставляемых вечерним судном из Фолкстона, прогуливается поток смеющихся, весело болтающих людей — жителей доброго города Кале: солдаты, матросы, рыбаки и их девушки. С конца пристани мы можем проследить собственными глазами за ослепительной полосой огромного прожектора, которая протянута прямо и неподвижно через весь пролив до места встречи где-то посередине пролива с белым лучом английского прожектора из Дувра. И там, где они встречаются, из темноты появляется длинный серый английский военный корабль, идущий на север, и вновь исчезает во мраке.

* Район Нью-Йорка.— *Прим. ред.*

На площади Армии при свете факелов какие-то люди с криками и смехом разбирали палатки и прилавки еженедельного базара. Мы прошли вдоль погруженной в молчание улицы с булыжной мостовой, между рядов старинных серых домов и встретили двух подвыпивших матросов. Они проводили нас в Maison de Société, где находилось ночное кафе с музыкой и девицами. Оно было заполнено матросами и несколькими солдатами. Все они на множество ладов и голосов пели «Марсельезу», прерывая свое пение криками «Да здравствует Франция!» Нас встретили по-братски. Оказалось, что матросы принадлежат к командам трех подводных лодок, которые в пять часов утра должны выйти в Северное море сражаться с немцами. Солдаты, раненные и теперь выздоравливающие, должны были на следующий день присоединиться к своим полкам где-то на огромной линии фронта на реке Эн.

К утру, много времени спустя после ухода матросов, мы сидели с тремя солдатами и двумя девушками и пили шампанское во славу французского оружия. Мой друг социалист захотел выяснить, какие чувства действительно скрывались за пением «Марсельезы» и криками «Да здравствует Франция!» и что заставляло этих людей с такой радостью идти на смерть.

«Почему вы воюете?» — спросил он.

«Потому, что немцы напали на Францию».

«Но немцы тоже думают, что на них напали».

«Да, мне это известно,— сказал один,— в Кале было несколько немецких военнопленных. Все очень хорошие ребята».

«Так, может быть, на них действительно напали? Может быть, они правы?»

«Возможно»,— сказал француз.

«Но если на них напали первыми, почему тогда вы сражаетесь?»

«Потому,— пояснил другой,— что на нас тоже напали».

«А также потому,— прибавил второй,— что мы призваны в армию, чтобы сражаться за родину».

Мой друг социалист пустился в длинные рассуждения о войне. Он сказал, что народ от войны ничего не получает, что во время войны совершенно прекращается развитие рабочего класса, что война приводит к истреблению самой лучшей части народа, что она задерживает разви-

тие культуры и обрекает бедняков на нищету, из которой они так долго старались выбраться ценой напряженной борьбы. Все три солдата слушали все это с самым глубоким интересом.

«Верно,— сказали они,— война — ужасная вещь».

Седой мужчина, лет под сорок, с серьезным лицом, выдвинулся вперед и заметил:

«Мосье совершенно прав. Я воевал семь лет и видел, как вокруг меня падали мои товарищи. Мой лучший друг был убит под Шарлеруа, и, клянусь богом, я обязательно отомщу за него этим проклятым пруссакам. Вот подождите — только бы мне добраться до линии огня,— уж я-то знаю, что такое война,— добавил он, горделиво потряхивая головой.— Шесть лет я служил в колониях. Посмотрите, вот фотография, на которой я снят среди туземных войск в Индокитае. Мы там создали прекрасную туземную армию, чтобы подавлять восстания».

Другой паренек, хрупкого сложения, с приятным лицом, сказал с горячностью:

«Да, я социалист».

«А,— заметил мой друг.— Наконец-то мы кое-что узнаем. Почему вы воюете?»

«Я воюю,— ответил он, словно повторяя затверженный урок,— для того, чтобы уничтожить прусский милитаризм и освободить рабочий класс».

«Но ведь прусский рабочий класс воюет за то, чтобы сокрушить русский деспотизм!»

«Да, это совершенно верно. Они мне это говорили».

«Но что вы-то получите от уничтожения прусского милитаризма?»

«Мы добьемся свободы от прусского милитаризма...»

«После этой войны,— сказал третий,— никогда больше не будет войн».

«Никогда»,— подтвердили в один голос другие двое.

«Давайте закажем еще бутылочку шампанского,— сказал солдат из Индокитая.— Завтра мы вернемся к нашим товарищам. На этот раз мы не дадим немцам пощады. Они убивали наших раненых, и мы отплатим им тем же...»

Я спросил женщин, что они думают о войне.

«Французы и англичане — благородные люди,— сказала одна из них.— Немцы все свиньи. Да здравствует Франция!»

«Но что вы извлечете полезного из этой войны, которой вы так рады?»

«Я? Ничего. Почему я должна выиграть от нее? Но и мне она на пользу. В Кале сейчас гораздо больше солдат и матросов, чем раньше».

Я до сих пор вспоминаю эту великолепную картину. Мой друг, поменявшись одеждой с французским солдатом, рассказывает по комнате, воинственно жестикулируя и твердя, что он, как ему кажется, мог бы стать великолепным солдатом. А после этого мы возвращались домой по безмолвным улицам Кале, распевая песни, пока патруль каких-то весьма бдительных военных не напомнил, что Кале находится на военном положении и что война не терпит пения на улицах...

Через две недели после окончания жестокой битвы на Марне мы выехали в Эстернэ, чтобы осмотреть поле сражения.

Между Эстернэ и Сезанном разгорелись самые жестокие бои. Именно здесь армия фон Бюлова всем фронтом врезалась в правое крыло французских войск и, не переставая, сражалась в течение трех дней, продолжая арьергардные бои и тогда, когда вынуждена была отступить на север. В кафе «Эстернэ», где мы завтракали, было несколько французских офицеров. Французский комендант этого местечка проверил наши паспорта и любезно проводил нас на место, где произошло сражение.

В самом «Эстернэ» в стене зияла огромная пробоина от снаряда. Она была уже заделана, и через какие-нибудь две недели солнце и дождь сровняют это место свежей кладки, и никто не узнает, что сюда попал снаряд. Главный признак войны в Эстернэ состоял в том, что молоко и яйца было еще очень трудно достать. Кроме того, здесь было много мух — тысячи мух, которые слетелись сюда на трупный запах и исчезнут только после того, как наступят холода.

Мы пересекли железнодорожную линию и пошли вдоль дороги на Сезанн. Регулярно через каждые три фута с южной стороны дороги попадался маленький одиночный окоп. Засев в этих окопах, германские стрелки задерживали французскую пехоту под градом шрапнели, которой поливали их французы. Французская пехота прошла этот луг вдоль и поперек под прикрытием своей артиллерии и захватила окопы после штыкового боя. Сражение здесь

было очень жестоким. В течение трех дней французские пушки сеяли смерть на этом скошенном лугу и в прилегающем к нему лесу.

Мы могли судить о действиях огня по конюшням и хозяйственным постройкам замка, расположенного на перекрестке дорог. Они были совершенно разрушены пушечным огнем. До сих пор тонкая струйка дыма и удушливый запах горелого мяса поднимались над ними.

Но по полю недавнего сражения уже шагал человек с плугом, покрикивая на своих быков. Многие воронки от снарядов оказались уже под коричневыми бороздами, и никто не мог бы их отыскать. Даже в долине, где французская пехота ожесточенно отстаивала свои позиции под ужасающим огнем и где лишь клочки сена и жестяные банки указывали то место, где еще недавно стояла армия, даже здесь уже появились молодые бледно-лиловые крокусы, которые выделялись на фоне плодородной земли, как лампочки в полумраке.

Мы поднялись вдоль боковой дороги холма и подошли к Шатильону. По одну сторону дороги тянулись отягощенные плодами яблони, а по другую — буйно заросшие узкие лужайки, окаймлявшие опушку леса. Деревня эта во время сражения подвергалась ураганному огню. Это место немцы превратили в зону своей первой отчаянной обороны и при отступлении сожгли и разрушили деревню. Артиллерийский обстрел довершил дело. Прямо перед нами, напротив перекрестка, стояли мрачные полуразрушенные стены деревенского склада, кафе и гостиницы, а с обеих сторон открывался ужасный вид на дома без крыш, с обгоревшими переплетами зияющих окон и дверей. Только здания деревенской церкви и школы остались неповрежденными. По словам школьного учителя, это последнее здание уцелело благодаря тому, что на чердаке его укрылись три французских солдата. Они стреляли через щели в черепичной крыше и не подпустили немцев к дому. Мы представили себе весь ужас тех страшных дней: простые крестьяне, застигнутые всепожирающим огнем войны, погибали на улицах или бежали в ужасе без оглядки из своих домов, чтобы уже никогда не вернуться сюда. Школьный учитель сообщил нам, что все же через три дня после сражения все жители деревни вернулись и поселились у друзей в округе до тех пор, пока их дома не будут восстановлены. Даже самое полное и решитель-

ное разрушение и концентрированный огонь всей французской артиллерии не были в состоянии смести с лица земли одну эту маленькую деревушку.

В ясный золотой час после полудня мы шли, распевая, по дороге на Сезанн. Французский офицер предупредил нас, чтобы мы не углублялись в лес, так как солдаты разыскивают там немногих полумертвых от голода, несчастных немцев, скрывшихся после сражения. И действительно, мы слышали из глубины леса два винтовочных выстрела. Издали, с севера, доносился тревожный гул оружейной канонады. Там у Рейна усталые от бессонницы, измученные люди механически убивали друг друга. Мы постояли некоторое время, прислушиваясь к этим звукам и рассматривая расстилавшиеся желтые равнины Шампиньи, такие же, как во времена, когда здесь прошел Аттила со своими ордами гуннов более тысячи лет назад.

На поле виднелись длинные пятна желтой земли со следами негашеной извести по краям — сюда стаскивали за ноги мертвых и закапывали в землю, немцев и французов вместе. На одном длинном кургане был деревянный крест, увитый цветами, на нем надпись: «Здесь покоятся сорок три француза из 73-го линейного полка».

1914 год.

ВОЙНА В КОЛОРАДО

Херрингтон (юрисконсульт «Колорадо фьюэл энд айрон компани»):

— Я не знаю, что имелось в виду под термином «социальная свобода». Понимаете ли вы, мистер Уэлборн, что подразумевал под этим свидетель?

М-р Уэлборн (президент «Колорадо фьюэл энд айрон компани»):

— Не понимаю.

(Из материалов следственной комиссии Конгресса Соединенных Штатов.)

Я прибыл в Тринидад примерно через десять дней после массовых убийств в Ладлоу. По главным улицам города расхаживали сотни рослых горняков с мужественными лицами, в праздничных одеждах, собираясь небольшими группами на перекрестках улиц. То и дело кто-нибудь входил и выходил из здания стачечного комитета. Горняки спокойно и непринужденно прогуливались взад и вперед, переговариваясь через улицу на разных языках. Они напоминали толпу фермеров, собравшихся на сельскую ярмарку. Бросалось в глаза только отсутствие среди них женщин. После случившегося женщины в течение нескольких дней не выходили из подвалов...

День был ясный, солнечный. Магазины и кинотеатры открыты. По улицам двигались трамваи, автомобили, мелькали скотоводы верхом на лошадях. Полицейские стояли на перекрестках улиц, вертя в руках дубинки. Ничто не напоминало о том, что три ночи назад по улицам мчалась необузданная толпа вооруженных людей, готовых к отчаянной уличной борьбе с войсками милиции. На востоке возвышалась господствующая над городом огромная снежная вершина Фишерс пик. С севера и

востока город окаймляли крутые скалистые предгорья, поросшие колючим кустарником.

В каньонах, прорезывающих всю эту местность, расположились отдельные угольные поселки, которые в настоящее время были захвачены вооруженными детективами, установившими здесь пулеметы и прожекторы.

В помещение стачечного комитета ворвался человек и сообщил: «Вниз по улице идут три солдата из охраны штрейкбрехеров. Возможно, что они идут сюда». Все сразу бросились к дверям. Я увидел, как на тротуарах прохожие остановились, словно замерли; все глаза обратились в одну сторону. Жизнь города вдруг словно оборвалась. В наступившей тишине топот копыт проскакавшей лошади прозвучал неестественно громко.

Три солдата милиции * быстро прошли по направлению к станции. Они шли по мостовой, не глядя по сторонам, громко и нервно перебрасываясь шутками; шли как сквозь строй между двух рядов толпившихся на тротуаре людей, в глазах которых горела ненависть. Стачечники молчали, никто даже ни разу не свистнул. Все только смотрели на солдаг, замерев, как охотничья собака, делающая стойку, и, лишь только солдаты проходили, толпа инстинктивно, молча смыкалась позади них. Город словно затаил дыхание. Трамваи остановились, ничего не было слышно, кроме тяжелых шагов тысячи безмолвных рабочих и резких голосов солдат милиции. Затем подошел поезд, и солдаты вошли в вагон.

Мы вернулись назад. Город вновь ожил. В здании профсоюзов, где кормили женщин и детей, как раз окончились школьные занятия. Дети распевали одну из песенок стачечников:

В Колорадо идет борьба, чтобы освободить горняков
От пиратов, от денежных королей и от всех существующих
властей,

Они попирают твою и мою свободу.

Но право побеждает.

Славьте, ребята, славьте дело Союза,
Колорадского Союза горняков!
Слава, слава нашему Союзу,
Наше дело побеждает!

* Милиция — вооруженные формирования отдельных штатов, предназначенные для «поддержания внутреннего порядка». Регулярные силы милиционной армии называются национальной гвардией, которая подчинена не только правительству штатов, но и федеральному правительству.— *Прим. ред.*

На школьной доске кто-то написал: «Если благочестивый лицемер раздаст в трущобах Нью-Йорка милостыню во имя Христа, а в Колорадо расстреливает горняков, то где же здесь духовный прогресс? Если в Нью-Йорке он ратует за освобождение белых рабов, а в другом месте создает благоприятные условия для торговли ими, получит ли он воздаяние на том свете?»

Я спросил, кто это написал, и мне сообщили, что слова эти написаны одним тринидадским доктором, не имеющим никакого отношения к союзу. Эта стачка особенно замечательна тем, что девять десятых дельцов и специалистов из районов горнозаводских поселков являются ее горячими сторонниками.

После событий в Ладлоу к борющимся забастовщикам присоединились с оружием в руках врачи, священники, шоферы, аптекари и фермеры. Их жены организовали Федеральный рабочий альянс даже среди тех женщин, чьи мужья не были членами профсоюза. Они стремились обеспечить участников стачки едой, одеждой и медикаментами. Обычно при подобных обстоятельствах такие люди образуют Лиги охраны закона и порядка. Они считают себя выше рабочих и думают, что их интересы совпадают с интересами предпринимателей, к тому же многих владельцев магазинов в Тринидаде стачка разорила. А тут одна очень почтенная маленькая женщина, жена священника, сказала мне: «Я не понимаю, зачем стачечники вообще заключили перемирие, не перестреляв предварительно всю охрану на шахтах и милицию и не взорвав динамитом шахты». Ее слова были очень знаменательны, так как этот слой людей отличается наибольшей ограниченностью и самодовольством.

В этой стачке нет ничего особо революционного. Стачечники — не социалисты, не анархисты и не синдикалисты. Они не собираются конфисковать шахты, уничтожать существующую систему наемного труда. Они не понимают, что такое производственная демократия. Хозяина — босса эти люди почитают как бога. Они скромны, терпеливы, их легко прибрать к рукам, но они впали в такую отчаянную нищету, что сами не знают, что им предпринять. В Америку они приехали, страстно желая того, что, казалось, обещала им статуя Свободы в нью-йоркской гавани; приехали из стран, где закон считают почти священным. Они думали, что здесь законы справедливые, и от души же-

лали подчиняться им. Первое, что они обнаружили, это то, что босс, которому они доверяли, самым бессовестным образом нарушает законы.

Профсоюз казался им главным залогом счастья, гарантией того, что они получают свободу распоряжаться своей жизнью. Деятели профсоюза убеждали их, что если они объединятся и будут стоять друг за друга, то смогут заставить босса платить им заработную плату, достаточную для того, чтобы не умереть с голоду, и обеспечить им постоянную работу. В союзе они сразу встретили тысячи товарищей-рабочих, не прекращающих борьбы и готовых им помочь. Это море человеческой симпатии было абсолютно неожиданным для колорадских стачечников. Один сказал мне: «Мы были в отчаянии, и вдруг на нас хлынул поток дружеских чувств со стороны наших братьев, которых мы раньше и не знали».

Значительная часть рабочих, принимавших участие в этой стачке, была привезена сюда в качестве штрейкбрехеров в 1903 году во время большой забастовки. В то время более 70 процентов горняков в Южном Колорадо говорили на английском языке: американцы, англичане, шотландцы и уэльсцы. Требования у них фактически были те же самые, что и теперь. До этого начиная с 1884 года каждые десять лет устраивались подобные стачки. Милиция и специально нанимаемая охрана шахт безжалостно убивали, арестовывали и высылали за пределы штата сотни горняков. За два года до стачки 1903 года шесть тысяч человек были занесены в черные списки и уволены с шахт. Это явилось нарушением государственных законов, так как все шесть тысяч были членами профсоюза.

Несмотря на закон о восьмичасовом рабочем дне, никто не работал менее десяти часов. А когда горняки подняли забастовку, генеральный адъютант Шерман Белл, командовавший милицией, приостановил действие права *habeas corpus* *, заявив при этом: «К черту конституцию!» После подавления стачки десять тысяч человек оказались занесенными в черные списки, в то же время шахтовладельцы внимательно присматривались к тем, кто более терпеливо переносил гнет, и умышленно ввозили для рабо-

* Право арестованного требовать судебного рассмотрения в течение суток вопроса о законности его ареста.— *Прим. ред.*

ты в шахтах иностранцев. Они тщательно подбирали на каждой шахте людей, говорящих на разных языках, чтобы рабочим труднее было объединиться. В рабочих поселках за порядком следила военная охрана, имевшая право за любой проступок чинить на месте суд и расправу.

Для того чтобы разобраться в ходе стачки, надо изучить географию района Южного Колорадо. Из Денвера прямо на юг, на Тринидад, проходят две линии железной дороги. На восток простирается огромная равнина без всяких возвышенностей, которая продолжается и за границей Канзаса. На западе находятся предгорья Скалистых гор, тянущихся (грубо говоря) с севера на юг, а позади них возвышаются великолепные снежные вершины кряжа Сангре де Кристо. Большинство шахт разбросано в каньонах, между отрогами гор, а вокруг шахт расположены поселки феодального типа: дома для рабочих, магазины, рестораны, шахтные постройки, школы, почтовые отделения — все это расположено на земле частных лиц, повсюду укрепления и патрули, как в государстве, находящемся на военном положении.

Три огромные угольные компании: «Колорадо фьюэл энд айрон компани», «Рокки маунтен фьюэл компани» и «Виктор америкен фьюэл компани» — производят 68 процентов всего добываемого в штате каменного угля, а в рекламе указывают, что представляют 95 процентов всей добычи. Естественно, что они контролируют цены на рынке и курс акций всех остальных угольных компаний штата. Из этих трех компаний «Колорадо фьюэл энд айрон компани» добывает 40 процентов всего получаемого здесь угля, а м-р Рокфеллер владеет 40 процентами акций этой компании. Таким образом, Рокфеллер полностью контролирует политику всей горнодобывающей промышленности в штате Колорадо. На суде он заявил, что безоговорочно доверял знаниям и способностям служащих «Колорадо фьюэл энд айрон компани». Он показал, что ничего не знал об условиях, в которых работали горняки, и все передоверил президенту Уэлборну и председателю правления Бауэру. Они же в свою очередь торжественно заявили, что тоже ничего не знали об условиях труда горняков и во всем полагались на своих подчиненных. Они даже не знали, сколько у м-ра Рокфеллера акций. Тем не менее эти господа осмелились выступить в качестве свидетелей и заявить, что у горняков нет осно-

ваний для недовольства, что они живут, «как счастливая семья».

Немало велось разговоров о высоком заработке горняков, однако установлено, что в большинстве своем продавцы универсальных магазинов зарабатывают больше. Забойщик, то есть рабочий, который непосредственно добывает уголь, получает плату за тонну чистого угля, погруженного в вагонетки и выданного на-гора. Пустая порода в счет не принимается. Шахтовладельцы составляют блестящие отчеты о горняках, зарабатывающих пять долларов в день. Но в среднем в Колорадо горняк работает на шахте 191 день в году, и средний заработок забойщика составляет 2,12 доллара в день. Во многих местах он еще ниже. Те, кто в «контакте» с компанией, получают высокую заработную плату. Но остальные, как известно, и за 8 дней не могут заработать на взрывчатку, которую оплачивают из своих денег. Каждый месяц они должны платить по доллару за визиты врача, а в некоторых местах — за лечение сломанной ноги или руки — еще на десять долларов больше. Обычно доктор посещает шахту раз в две недели или около этого, и поэтому, если он вам понадобится в другое время, вы должны будете заплатить за внеочередной визит.

Многие шахтерские поселки принадлежали компании, поэтому мэром города являлся управляющий шахты. Школьный совет состоял из служащих компании. Единственный магазин в городе — магазин компании. Все дома принадлежали компании и лишь сдавались ею в аренду горнякам. Налога на имущество не было, но все оно принадлежало компании шахтовладельцев...

По сообщению члена Государственной комиссии по труду, с 1901 по 1910 год число убитых в угольных шахтах Колорадо относилось к числу убитых во всех остальных штатах, вместе взятых, как 2 : 1, а если взять период с 1910 года до настоящего времени, то отношение составит $3\frac{1}{3} : 1$. Было установлено, что угольные компании не принимали мер по охране безопасности служащих, пока их не принудили к этому специальным законом, но и после этого они не выполняли предписаний государственного горного инспектора...

Следователь (ведущий дела о скоропостижной смерти) в округе Лас-Анимас одновременно возглавляет похоронное бюро, к которому официально обращаются угольные

компаний. До недавних пор служащие по крайней мере двух угольных компаний владели акциями этого бюро. Состав присяжных этого бюро, назначаемых в случае крупных аварий, состоял из служащих компаний по назначению управляющих шахт. За пять лет, во время которых было особенно много несчастных случаев, только один раз вердикт следователя округа Лас-Анимас возложил ответственность на компанию. Понятно, что для шахтовладельцев эти вердикты были особенно ценны, так как они избавляли их от опасности предъявления иска о возмещении убытков. В этом округе за десять лет не было возбуждено ни одного иска о возмещении убытков.

Все это является еще далеко не полной картиной того, как угольные компании подчиняют себе всю жизнь в округах Лас-Анимас и Уэрфано. Окружные прокуроры, шерифы, члены комиссий округа и судьи — все фактически находятся на жалованье у «Колорадо фьюэл энд айрон компани». Даже для того, чтобы послать делегата на съезд, созываемый для выборов мирового судьи, нужно было созвониться по телефону с Денвером и испросить разрешения у Кэсса Херрингтона — политического директора «Колорадо фьюэл энд айрон компани»...

После стачки 1903 года профсоюз горняков был вытеснен из этой местности. В 1911 году он восстановил свое отделение в Тринидаде. После этого стали распространяться слухи о готовящейся стачке, и только с тех пор шахтовладельцы начали хоть частично подчиняться законам. Но злоупотребления не прекращались, и горняки поняли наконец, что для того, чтобы обеспечить постоянное выполнение законов их хозяевами, они должны вести переговоры с ними коллективно.

Профсоюз горняков предпринимал все, что было в его силах, чтобы предотвратить стачку. Он обратился к губернатору Эммонсу с просьбой созвать конференцию шахтовладельцев, чтобы обсудить с ними требования рабочих. Но представители компании отказались встретиться с рабочими, продолжали отказываться от этого и в дальнейшем. Затем в Тринидаде был созван съезд рабочих и служащих шахт и было выработано обращение ко всем предпринимателям с просьбой встретиться со своими рабочими и выслушать их претензии. В ответ на это хозяева компании начали готовиться к открытой войне. Они пустили в ход мощную машину по борьбе с забастовками. Эта

беспощадная машина за тридцать лет победоносных боев с горняками достигла полного совершенства. Из Техаса, Нью-Мехико, Западной Виргинии и Мичигана были привезены вооруженные бандиты — штрейкбрехеры, охранники, имевшие большой опыт подавления волнений среди рабочих, солдаты-авантюристы, дезертиры из армии и бывшие полицейские. В. Ф. Рено, главарь детективов в «Колорадо фьюэл энд айрон компани», учредил в подвале денверского отеля пункт по вербовке. Всем, кто умел стрелять, он раздавал ружья и порох и посылал их на шахты. Был заключен договор со знаменитым агентством детективов «Болдуин Фелтс» на поставку штрейкбрехеров. Многие его агенты, которые в других штатах привлекались к ответственности за убийство, теперь были назначены «помощниками шерифов» в южные округа штата. Кое-где на шахты доставили по 12—20 пулеметов и передали в их распоряжение...

16 сентября на съезде в Тринидаде делегаты всех шахт этого округа единогласно проголосовали за объявление стачки 22 сентября. Они выработали следующие требования: официальное признание профсоюза, повышение заработной платы на 10 процентов, восьмичасовой рабочий день, оплата непроизводительного труда и простоев, контроль за весовщиками, право покупать продукты в любом магазине, жить в любом доме и обращаться к любому врачу, проведение в жизнь колорадских законов о труде шахтеров и отмена системы вооруженной охраны шахт...

Профсоюз горнорабочих объявил, что для забастовщиков будут устроены палаточные лагеря. Откровенные угрозы администрации шахт и охраны повторить избиение и высылку рабочих, как в 1903 году, заставили самих горняков подумать о вооружении.

23 сентября шел дождь со снегом и град. Было страшно холодно. Рано утром охранники стали обходить шахтные поселки, спрашивая у всех, намерены ли они идти на работу. Если кто-нибудь отвечал «нет», ему предлагали убраться прочь. В Табаско охранники врываются в дома, выгоняли женщин и детей на снег, разбрасывая их вещи и одежду по земле. В Терцио рабочим предоставили час времени на то, чтобы покинуть город. Их домашний скарб был выброшен на улицу, а их самих охранники выгнали с шахты, угрожая винтовками и осыпая бранью. Повсюду в радиусе пятидесяти миль к выходу из каньонов брели

по снегу группы мужчин, женщин с младенцами на руках и детей. У некоторых были повозки. Длинные вереницы кляч и разбитых телег, доверху нагруженных имуществом нескольких семейств, двигались по дорогам по направлению к открытой равнине.

В Прайоре компания, чтобы привлечь рабочих на свою сторону, предоставляла им возможность строить на земле компании собственные дома. Теперь их выбросили из этих домов. Женщинам охранники говорили: «Убирайтесь отсюда в преисподнюю, а то мы вас все равно выкурим». В свое время в Западной Виргинии шахтовладельцы дали горнякам четыре дня срока. В Колорадо же было дано лишь двадцать четыре часа. Никто не был к этому подготовлен. Рабочих гнали без отдыха по горным каньонам, без вещей и одежды, а когда они прислали телеги за своим скарбом, им не позволили забрать его. Так было в Примеро и целом ряде других мест.

Палаток на месте не оказалось. Сотни беженцев расположились на открытой равнине, под непрекращающимся дождем и снегом; мужчины, женщины и дети собрались туда, куда велели им прийти их руководители. Но палаток все не было. Многие по два дня ночевали под открытым небом. Они рыли в земле ямы и прятались в них, как дикие звери. Им нечего было есть и пить. Тогда был проведен этот безумный налет на склады палаток в Денвере, и вдоль предгорий на протяжении пятидесяти миль начали возникать палаточные поселки, белевшие на фоне снега. Это было похоже на переселение народов. Из 13 тысяч горняков Колорадо, имевших перед стачкой работу, 11 тысяч были выгнаны из домов. Палаточные колонии были размещены по особому стратегическому плану. Они нарочно располагались у входа в каньоны, ведущие к шахтам, чтобы караулить дороги, по которым могли быть доставлены штрейкбрехеры. Кроме огромного поселения в Ладлоу, были и другие: в Старквилле, Грей-Крике, Саффилде, Эйгьюлере, Уолсенбурге, Форбсе и пяти-шести других местах.

Матушка Джонс * все время появлялась в разных местах округа; она произносила речи, подбадривая горняков

* Мэри (матушка) Джонс — известная деятельница рабочего движения, не раз играла видную роль в борьбе рабочих, особенно горняков Западной Виргинии и Колорадо.— *Прим. ред. ам. изд.*

на борьбу за свои интересы, заботилась о детях, помогала устанавливать палатки, доставляла пищу больным. А шахтовладельцы в это время призывали на помощь войска милиции. Они говорили, что скоро начнутся насильственные действия, что матушка Джонс — опасный агитатор и что ее следовало бы выслать из штата. Губернатор Эммонс ответил, что если местные власти не справятся со стачкой, то войска милиции, конечно, будут посланы, но они ни в коем случае не будут использованы для того, чтобы обеспечить владельцам доставку штрейкбрехеров или какими-нибудь мерами запугать горняков.

«Я намерен, — заявил он, — положить конец поджигательским речам матушки Джонс. Я позабочусь о том, чтобы ей создали такие условия, в которых она не сможет апеллировать ко всей стране. Ей не позволят популяризировать требования стачечников за пределами штата в тех несдержанных выражениях, какие она употребляла в угольных районах».

Эмма Ф. Лэнгдон, секретарь организации социалистической партии штата, публично заявила: «Если хоть один волос упадет с головы матушки Джонс, я брошу клич всем честным женщинам Колорадо и призову их организовать и, если нужно, идти на город Тринидад, чтобы освободить ее».

Однако с тех пор и поныне социалистическая партия Колорадо не проронила ни слова, хотя вскоре после этого матушка Джонс была арестована и ее девять недель продержали в заключении в Тринидаде.

Первым делом шахтовладельцев было наделить всех охранников и детективов полномочиями «помощников шерифа». Управляющие шахтами сообщили шерифу по телефону, сколько «помощников шерифа» им нужно, и шериф выслал им почтой чистые бланки удостоверений. Руководители союза попросили шерифа Грисхэма назначить «помощниками шерифа» нескольких забастовщиков. Он ответил: «Я никогда не вооружаю обе стороны...»

Шериф Джефф Фарр доложил, что забастовщики укрепились на холме 500 футов высотой, господствующем над шахтой Оуквью, и произвели тысячу выстрелов по постройкам (однако газетчики, расследовавшие это дело, нашли только три отверстия от пуль, да и те были пробиты в горизонтальном направлении). Затем он добавил, что один забастовщик грек затеял ссору с лагерным инспекто-

ром Бобом Ли из Сегундо (известным убийцей, некогда связанным с преступниками банды Джесси Джеймс), причем грек выстрелил первым.

Повсюду погромщики из охраны шахт старались затеять беспорядки. В Соприсе они подложили динамит под один из домов компании и пытались свалить вину на забастовщиков. Но на их беду один из заговорщиков рассказал обо всем этом. Содержание охраны обходилось компаниям очень дорого. Поэтому они хотели, чтобы это грязное дело осуществлялось войсками милиции за счет государства. Кроме того, палаточные лагеря забастовщиков серьезно препятствовали ввозу штрейкбрехеров и потому не позволяли возобновить работу в шахтах.

Самой большой колонией была колония в Ладлоу, расположенная на перекрестке двух дорог: из Бервина и Табаско на Гастингс и Делага. В колонии жило более 1200 человек двадцати одной национальности. Для них всех это была чудесная школа. Здесь их учили тому, что все люди равны. В течение двух недель совместной жизни мелкие расовые предрассудки и недоразумения, которые в течение долгих лет прививали им угольные компании, начали исчезать. Американцы начали постигать, что славяне, итальянцы и поляки не менее их добросердечны, веселы, приветливы и храбры. Женщины часто ходили друг к другу в гости, хвастались своими детьми и мужьями, а во время болезни угощали друг друга чем-либо вкусным. Мужчины играли вместе в карты или в бейсбол...

«До приезда в Ладлоу я никогда не уважала иностранцев,—говорила маленькая женщина.— Но они во всем похожи на нас, только не говорят на нашем языке».

«Конечно,—отвечала другая.— Я всегда думала, что греки очень темный, невежественный, грязный народ. Но в Ладлоу они проявили себя прямо как настоящие джентльмены. Не советую кому-нибудь дурно отзываться о них в моем присутствии».

Все стали изучать языки друг друга. А по ночам в Большой палатке устраивались танцы.

Итальянцы обеспечивали музыку, а остальные танцевали. Это было настоящее смешение народов. У этих измученных тяжелым трудом, забытых людей никогда раньше не было времени узнать друг друга...

Трудно было поверить, что этой мирной колонии охранники с шахт грозили разрушением. Ведь они не были

закоренелыми злодеями, а только черствыми людьми, действовавшими к тому же по приказанию других. А приказ был такой: стереть с лица земли колонию в Ладлоу. Она стала поперек дороги м-ру Рокфеллеру в его погоне за прибылями. Но если рабочие будут так хорошо понимать друг друга, как это было в Ладлоу, конец кровавой эксплуататорской системы станет неизбежным.

Через неделю после основания колонии в Ладлоу вооруженные банды стали угрожать, что они спустятся в каньон и уничтожат всех ее жителей.

Взаимные посещения, игры и танцы прекратились. Колония была объята страхом. Не было ни организации, ни вождей. Раздобыли всего-навсего семнадцать ружей и пистолетов и очень немного боеприпасов. Вооруженные мужчины долгие холодные ночи напролет несли караул, охраняя своих жен и детей, а по палаткам скользил луч прожектора, установленного на холме над Гастингсом.

В течение всей последней недели сентября по каньонам прибывали в колонию все новые толпы людей. Они рассказывали о том, как их выгнали на снег из их домов, как поломали их мебель, а мужчин, избивая прикладами, гнали по дороге. Всю эту неделю забастовщиков, отправлявшихся в горняцкие поселки за почтой, избивали и обстреливали. Им отказывали в праве передвигаться по дорогам. Распространился слух, что колонисты в Эйгьюлере опасаются за свою жизнь и вооружаются для защиты. 4 октября вооруженная охрана ворвалась на улицы поселка Олд Соприс, который расположен не на земле шахтовладельцев, и прикладами разогнала митинг забастовщиков, собравшихся в одном помещении. Повсюду по палаткам забастовщиков всю ночь скользили лучи прожектора, не давая спать женщинам и детям и заставляя мужчин по двадцать раз за ночь вскакивать, чтобы отразить атаку, которую они каждую минуту ожидали. 7 октября нападение было совершено.

Несколько забастовщиков направились в Гастингс за почтой. Их осыпали оскорблениями и не пустили в почтовое отделение. Когда они шли назад по дороге, один из охранников из Гастингса выстрелил два раза им вдогонку. Пули пролетели у них над головой и попали в палатки колонии. Через несколько минут на дороге, у подножия гор, остановился автомобиль. В нем сидел ответственный «Колорадо фьюэл энд айрон компани». По палаткам

было сделано еще двадцать выстрелов. Вся колония сейчас же словно закипела. Появились возмущенные, кричащие люди. Только у семнадцати человек были ружья, остальные вооружились камнями, кусками угля и палками и рассыпались по равнине. У них не было ни руководителя, ни плана действия. Появление забастовщиков послужило сигналом для нового залпа. Стреляли с холма, возвышающегося над Гастингсом, и из каменного дома, расположенного рядом с выходом из Гастингского каньона. Женщины и дети выбежали из палаток и бросились прочь от колонии. Теперь они оказались у всех на виду, под пулями. Охранники отступили перед бешеным натиском разъяренных забастовщиков. Борьба прекратилась, и забастовщики удалились в бешенстве, клянясь, что этой ночью они вернутся в горы и разнесут в пух и прах весь поселок Гастингс. Но руководители уговорили их отказаться от этого намерения.

На следующее утро ко времени завтрака кто-то опять начал палить по палаткам с проходящего мимо товарного поезда, а ночью луч прожектора, не переставая, скользил по палаткам колонии, пока в четыре часа утра один из забастовщиков выстрелом не разбил вдребезги стекло прожектора. В это утро забастовщики, как всегда, прогуливались по дороге, ходили за почтой и поджидали прихода поезда. Некоторые играли «в салочки» на бейсбольном поле к востоку от железнодорожной станции. Вдруг с Гастингского холма раздался выстрел, и пуля попала как раз в самую гущу играющих. Человек сто с криком бросились бежать по полю за ружьями. Но не успели они добежать до палаток, как их начали обстреливать со стороны железнодорожного моста.

Забастовщики бросились толпой вдоль дороги к мосту. Человек сорок или пятьдесят невооруженных бежали впереди всех, а остальные рассеялись по равнине, поспешно заряжая свое разнокалиберное оружие плохо подходящими патронами. Они пытались обнаружить, откуда стреляют, а затем залегли за грудой наваленного около станции угля, не зная, что предпринять, не понимая, откуда раздаются выстрелы. Все это время стрельба со стороны стального моста продолжалась. Первый ряд забастовщиков приближался к холму водокачки. Двигаясь ползком, распластавшись по земле, они открыли бешеный огонь. Вдруг кто-то закричал: «Милиция! Милиция под-

ходит! Это ловушка! Назад в колонию, назад к палаткам!» Толпясь и толкаясь, в панике, на бегу отстреливаясь через плечо, забастовщики устремились назад вдоль дороги. Но не успели они скрыться, как выстрелом с моста был убит проезжавший мимо верхом фермер Мак-Пауэлл; он не принадлежал ни к одной из сторон и просто возвращался домой.

Стрельба со стального моста продолжалась. Вскоре в Ладлоу прибыл поезд, двигавшийся на север, и Джек Маккари, специальный агент Колорадской и Южной железной дороги, сообщил газетным репортерам, что «здесь на железнодорожной ветке находилась группа помощников шерифа, пытавшихся что-то затеять». Небезынтересно отметить, что отряд милиции был погружен в Тринидаде в вагоны еще за час до того, как началась перестрелка, и что при первом выстреле поезд направился в Ладлоу.

Трое забастовщиков были ранены. После полудня в этот день колонисты начали с остервенением рыть земляные окопы, так как к прибытию войск на станцию Ладлоу охранники и помощники шерифа спустились с холма и с моста, хвастливо уверяя, что Ладлоу они уже захватили, а до ночи овладеют и палаточной колонией. Для забастовщиков наступила вторая ночь страха и ужаса. Никто не спал. До самого рассвета около двухсот мужчин пролежали в окопах. Из них только семнадцать были вооружены винтовками, а у остальных были ножи, бритвы и топоры. Но на следующий день охранники вернулись в предгорье, крича, что вскоре в одну прекрасную ночь они вернутся на равнину и перережут всех этих скотов.

Два дня спустя три охранника промчались на автомобиле мимо палаточной колонии в Соприсе, стреляя из своих пистолетов-автоматов прямо по палаткам. Еще через четыре дня «Колорадо фьюэл энд айрон компани» водрузила на холме над Сегундо прожектор и пулемет. В городе было здорово избит пьяный охранник, оскорбивший женщину, и в наказание за это в ту же ночь город был подвергнут десятиминутному обстрелу из пулемета.

На следующий день было арестовано 48 забастовщиков, мирно пикетировавших шахту в Старквилле, принадлежавшую Джеймсу Мак-Лафлину, сводному брату губернатора Эммонса. Их арестовали и заставили пройти пешком под конвоем вооруженных охранников весь путь до Тринидада. Там их бросили в тюрьму.

Насилия продолжались. В Сегундо детективы агентства «Болдуин-Фелтс» вторглись в Старый город, расположенный на земле, не принадлежащей шахтовладельцам, и вломились в дом частного лица. Под предлогом поисков оружия они взломали топором дверь. В Эйгьюлере охранники под угрозой расстрела произвели обыск в штабе забастовщиков, а в Уолсенбурге известный головорез Луи Миллер и его пять подручных убийц и еще шесть вооруженных молодчиков разгуливали по улицам и избивали членов профсоюза. А. С. Фелтс, управляющий агентством детективов «Болдуин-Фелтс», самолично явился к месту действий и немедленно заказал на сталелитейном заводе «Колорадо фьюэл энд айрон компани» в Пуэбло броневедомоуль, вооруженный пулеметом.

Слишком поздно руководители союза предприняли попытки раздобыть для забастовщиков оружие. Все склады боеприпасов были уже очищены шахтовладельцами. Таким образом, к 15 октября, например, у двадцати пяти мужчин из палаточной колонии в Форбсе было всего семь ружей и шесть револьверов — все разных марок. А боеприпасов к ним было совсем мало. Палаточная колония в Форбсе была расположена вдоль дороги у входа в каньон, ведущий к Форбсской шахте. Это место несколько раз обстреливалось снайперами с вершины холмов. Особенно усилился обстрел после того, как забастовщики преградили штрейкбрехерам дорогу на шахты. Мужчины этой колонии так испугались за своих жен и детей, что построили для них отдельный лагерь в стороне, на расстоянии трехсот ярдов.

Утром 17 октября отряд вооруженных всадников спустился галопом по дороге на Ладлоу и спешил на железнодорожной ветке возле колонии. Одновременно с ними со стороны Тринидада появился бронированный автомобиль Фелтса, сделал разворот и сейчас же навел свой пулемет на палатки. Удивленные и испуганные забастовщики выскочили, держа винтовки наготове, но один из охранников, по имени Кеннеди (впоследствии он стал офицером милиции), приблизился, размахивая белым флагом и крича:

«Все в порядке, ребята! Мы из союза.— Забастовщики опустили винтовки, а он продолжал: — Я хочу вам кое-что сообщить». Они окружили его, чтобы услышать, что он хочет сказать. Он же вдруг выкрикнул: «Я хотел вам ска-

зять, что мы сейчас проучим вас, скоты». И, опустив белый флаг, он бросился на землю. В тот же момент спешившиеся всадники дали залп по группе забастовщиков. Один был убит на месте. Забастовщики в панике бросились назад, к палаткам, и через поле побежали к узкому ущелью, в котором они еще раньше решили спрятаться в случае нападения. Пока они бежали, их все время поливали огнем из пулемета. Маленькому мальчику, бежавшему между палатками, прострелили в нескольких местах ноги, и он упал. Забастовщики сейчас же начали отстреливаться. Сражение продолжалось с двух часов дня до темноты. За это время раненый мальчик несколько раз пытался доползти до палаток, но на него всякий раз направляли пулемет. Он был ранен не менее чем в девяти местах. Палатки были изрешечены пулями, мебель в них разбита на куски. Маленькая девочка, дочь жившего по соседству фермера, возвращалась в это время из школы. Она была ранена в лицо. В сумерках стрельба прекратилась, и нападающие отошли, но всю эту ночь забастовщики не отваживались вернуться в свои палатки...

Страх, который вселило в забастовщиков жестокое нападение «отрядов смерти», почти уже утих. Но вот пять дней спустя забастовщики, проснувшись, почувствовали, что он охватил их с прежней силой. Сеющий смерть пулемет был вновь направлен на колонию, а три других пулемета были расположены в радиусе около двухсот ярдов. Колония оказалась в полном окружении. Когда взошло солнце, со всех сторон с предгорий хлынули на колонию вооруженные люди. Их было более сотни. Под прикрытием винтовок помощник шерифа округа Лас-Анимас Зик Мартин подошел к палаткам и приказал всем мужчинам построиться гуськом и идти к линии железной дороги. Их выстроили и повели вниз под дулами пулеметов «отряда смерти». По дороге их избивали и осыпали бранью. Затем начались повальные обыски в палатках колонии. Все оружие забастовщиков было отобрано, чемоданы открыты, кровати поломаны, деньги и ценности украдены. Солдаты ворвались в расположенный поблизости дом одного фермера, ветерана Гражданской войны, ни в какой степени не связанного с забастовщиками, и разграбили его, а жене фермера пригрозили, что, если она еще когда-нибудь приютит людей из союза, от ее дома ничего не останется.

В ту же ночь толпа возмущенных горняков окружила одного из детективов «Болдуин-Фелтс» в Тринидаде и грозилась линчевать его...

К этому времени во всех колониях от Старквилля до Уолсенбурга было решено не полагаться больше на честное слово или обещание посредников, но обязательно раздобыть винтовки и всеми доступными способами защищать своих жен и детей от жестоких набегов охранников. Это был жест отчаяния; ведь только немногие из стачечников видели когда-либо ружья, еще меньшее число когда-нибудь стреляло из них. К тому же большинство забастовщиков происходили из районов, где авторитет закона почти равнялся авторитету бога.

Ежедневно забастовщикам в письмах или по телефону угрожали расправой, а вооруженные стражники кричали с предгорий, что скоро ночью охранники всех шахт спустятся по каньонам и разрушат палаточные колонии. В Ладлоу населенные колонии жило в постоянном страхе. Многие колонисты ходили по улицам Тринидада от дома к дому, выпрашивая старые ружья, заряженные пистолеты, любое оружие, лишь бы из него можно было стрелять. В палаточной колонии составила своеобразная коллекция старого и вышедшего из употребления оружия. По указанию руководителей колонисты вырыли под своими палатками ямы, куда в случае атаки могли бы прятаться женщины и дети. Необходимость усиленной охраны по ночам, непрерывные оскорбления, а иногда и обстрел со стороны охранников, избивание членов профсоюза каждый раз, как они осмеливались выйти ночью в одиночку из колонии, и непрекращающиеся рассказы о насилиях, творимых повсюду головорезами, — все это довело забастовщиков до белого каления, и только уговоры руководителей удерживали их от того, чтобы напасть на охрану и перебить всех. На угрозы рабочие отвечали угрозами, и поэтому в лагерях при шахтах тоже царил страх.

26 октября плотина гнева и возмущения прорвалась. В течение последних нескольких дней колонисты в Ладлоу не переставали ожидать нападения, и поэтому вооруженные караулы день и ночь стерегли колонию. В субботу утром, двадцать пятого, несколько забастовщиков, дежуривших на станциях железной дороги, донесли, что вместо уничтоженного девятого октября прожектора привезен новый. Несколько человек закричали, что нельзя допустить,

чтобы был установлен новый прожектор, который опять будет освещать их.

Но руководители стачки настаивали, чтобы в это дело не вмешиваться, поэтому прожектор не тронули. Около полуночи зазвонил телефон и какой-то голос сообщил: «Я говорю из Гастингса. Поглядывайте там вниз. Отсюда выехал большой отряд, все верхом. Они что-то затевают. И еще больший отряд укрылся у выхода из каньона, чтобы наброситься на вас при первом выстреле». Почти в ту же минуту примчался один из караульных. «Они идут! Помощники шерифа скачут по дну каньона — огромная банда!» Мужчины стали бегать по лагерю в поисках своего оружия. «Не сражайтесь! — кричали руководители. — Это ловушка! Они пытаются что-то затеять!»

«Хорошо. Они кое-что получат!» — отвечали забастовщики.

«Они ведь не нападают на нас, — уговаривал кто-то еще. — Оставьте их в покое, ребята! Они идут, чтобы снова установить в Гастингсе новый прожектор».

«Ну нет, дудки! — закричал один из мужчин. — Я все не желаю, чтобы луч прожектора ползал по моей палатке всю ночь. Пошли, ребята!»

Но пока они колебались — начинать атаку или нет, — вопрос разрешился сам собой. Из каньона выехали двадцать вооруженных всадников и направились к станции. Вдруг один из них медленно поднял ружье и выстрелил. Этого было достаточно. Забастовщики бросились бежать прочь от колонии в сторону железнодорожной ветки и к руслу пересохшего ручья, чтобы ствлечь огонь охранников от палаток колонии. Они начали отстреливаться на ходу. Немедленно из каньона выскочили укрывшиеся там запасные части, и завязалась битва, продолжавшаяся до темноты. Под натиском численно превосходящего и лучше вооруженного противника забастовщики медленно отступали на восток и север. На стальном мосту Колорадской и Южной железной дороги они задержались. Охранники попытались с наступлением темноты выбить их и отсюда, но отступили ночью в предгорья; некоторые забастовщики последовали за ними. В эту ночь почти все забастовщики двинулись в горы. Утром в воскресенье, двадцать шестого, шахту в Табаско осадили стрелявшие забастовщики, укрепившиеся на вершинах холмов. В эту ночь из палатки в палатку передавалась весть о том, что наконец-то ребята

захватили охранников там, где хотели их захватить, в Ладлоу. Об этом узнали все семь тысяч забастовщиков, и всю ночь напролет в лагерь приходили люди с винтовками на плече, прошедшие подчас 25 миль.

Охранники позвонили по телефону в Тринидад и попросили помощи. Дважды в Тринидаде формировали поезд для отправки в Табаско «помощников шерифа» и отрядов милиции, но оба раза поездная бригада отказывалась вести состав. Тридцать шесть «помощников шерифов» Уолсенбурга поспешно выехали в Тринидад специальным поездом и по пути обстреляли палатки в Ладлоу. В отеле «Коронадо» их немедленно произвели в «помощники шерифа» округа Лас-Анимас. Но забастовщики, не имевшие организации и руководства, скоро устали от битв и направились по равнине в палаточную колонию. Они шли с пением и возгласами, в приподнятом настроении, как после победы. В эту ночь был устроен торжественный ужин и танцы. Всем гостям был оказан теплый прием; участники сражения рассказывали обо всех приключениях. Дело, конечно, не обошлось без хвастовства и лестьи. Но в разгар веселья распространился слух, что охранники установили на повозке пулемет и по каньону пробираются вниз к лагерю. Танцы прекратились, началась паника, всю ночь никто не сомкнул глаз. Однако на равнине до самого рассвета ни с чьей стороны не было сделано ни одного выстрела. Только по отдельным выстрелам в горах можно было судить, что бродившие там группы людей все еще стреляют в охранников.

Утром же все началось сначала. Охранники открыли с холмов огонь. По телефону из Тринидада сообщили из авторитетных источников, что приближается бронепоезд из трех бронев вагонов, оснащенных пулеметами, такой же, какой в прошлом году был пущен через Кэбин-Крик, чтобы осыпать стальным дождем палатки стачечников Западной Виргинии.

Пятьсот человек устремились через равнину, чтобы устроить поезду достойную встречу. Они не обращали внимания на выстрелы с холмов. Когда поезд был на расстоянии полумили от Ладлоу, его встретил такой град пуль, что он вынужден был отойти к шахте Форбса.

Ночью все застлала пелена снежной бури, надвинувшейся с северо-востока. В темноте около семисот забастовщиков вышли из палаток и двинулись в горы. В ночь на

двадцать восьмое на рассвете они открыли беспорядочный огонь по городкам Бервинд и Гастингс. Было убито свыше десяти человек охраны и помощников шерифов. Чем ближе подходили забастовщики, тем ожесточеннее становилась стрельба. Телеграфные и телефонные провода были перерезаны. Послали специальный отряд, чтобы взорвать линию железной дороги, идущей из Ладлоу. В Табаско забастовщики также принудили охранников спрятаться с семьями в стволе шахты. Если бы им позволили закончить так решительно начатое дело, они, безусловно, перестреляли бы на этих трех шахтах всю охрану. Но в этот момент из колонии Ладлоу прибыли, несмотря на метель, специально посланные люди. Последовала команда: «Прекратить сражение и быстрее возвращаться в палатки. Губернатор вызвал национальную гвардию!»

И вот рабочие потянулись с гор на равнину, обсуждая новое обстоятельство, осложнившее дело. Что все это означает? Будут ли солдаты соблюдать нейтралитет? Разоружат ли забастовщиков? Защитят ли их от вооруженных головорезов? Те, кто уже участвовал в больших стачках, были смертельно напуганы, но руководители на некоторое время успокоили их. В тот же вечер мужчины из других колоний разошлись по домам, а колонисты из Ладлоу сдали оружие своим руководителям, с тем чтобы его можно было утром сдать солдатам. Наступило утро, но ни солдат, ни известий о них не было. Зато кто-то позвонил из Тринидада и сообщил, что в Ладлоу выехали семь грузовиков с вооруженными помощниками шерифа и что все они клялись отомстить за нападение на Гастингс и Бервинд. А днем начали распространяться еще худшие слухи.

«Нас предали,— кричали поверившие этим слухам.— Солдаты прибыли, только чтобы отобрать у нас оружие. Они всех нас перестреляют. Это они всегда делают во время забастовок, и первым делом, конечно, к ночи явятся охранники. Надо отослать куда-нибудь женщин и детей». Так, жены, матери и дети были посажены на тринидадский поезд, а мужчины остались в опустевшем лагере.

«Покажем им, что мы мужчины,— говорили они.— Отомстим за себя охранникам, прежде чем явятся солдаты и убьют нас. По крайней мере повоюем по-настоящему».

Теперь осталась лишь маленькая горсточка вооруженных людей, не более сотни. Без определенных намерений, без руководителей вышли они перед рассветом из лагеря.

Вокруг бушевала снежная буря. Но охранники были теперь настороже и числом намного превосходили стачечников. Около семи часов утра забастовщики вернулись усталые и повалились спать прямо на пол.

«Это сообщение о войсках оказалось ловким трюком, чтобы оставить нас без защиты,— говорили они.— Никаких солдат нет и в помине. Возвратите нам оружие и патроны. Мы будем здесь поджидать охранников». Все словно оцепенели в немом отчаянии, в ожидании развязки.

Но утром 31 октября воинский поезд с отрядом милиции с севера подошел к Ладлоу на расстояние трех миль и остановился, а генерал Чэйз направился к колонии в Ладлоу под белым флагом. Он сообщил руководителям колонии, что губернатор Эммонс приказал обезоружить обе стороны и установить мир и что войска не будут использованы ни для помощи шахтовладельцам в доставке штрейкбрехеров, ни для запугивания стачечников.

Руководители передали это остальным. Все радовались, что кончилось время страха. Сейчас же собрали ружья, чтобы вручить их солдатам, и с легким сердцем послали за женами и детьми. Забастовщики чувствовали такое облегчение и так были благодарны солдатам, что решили устроить им торжественный прием.

По просьбе забастовщиков милиция вступила в колонию в парадной форме. Вся колония в полном составе, в самых лучших праздничных нарядах вышла их встречать за милю на восток по снежной, залитой солнцем равнине. Впереди всех шла, танцуя, тысяча детей, собранных со всех колоний. Все они были одеты в белое и пели песни забастовщиков. За ними следовал сдвоенный оркестр, а затем тысяча двести мужчин и женщин с американскими флагами в руках. Все расступились и стали в две плотные шеренги, весело и сердечно приветствуя солдат. Очень довольные таким приемом, национальные гвардейцы двинулись через этот живой коридор к своему лагерю.

Чэйз учредил свой штаб в Ладлоу. Лагерь милиции был отделен от колонии в Ладлоу у линии железной дороги и расположен между шахтами и колонией. Чэйз объявил, что немедленно приступит к разоружению обеих сторон. Чтобы продемонстрировать свое расположение к забастовщикам, он сперва разоружил охрану шахт. Затем потребовал ружья и у забастовщиков. Те сдали свыше тридцати двух ружей — две трети всего огнестрельного оружия,

имевшегося в колонии. Остальное оружие задержали, так как в Тринидаде распространился слух, что ружья, отобранные у забастовщиков, раздают охранникам в Соприсе и Сегундо. На вопрос руководителей стачки капитан милиции в Тринидаде ответил: «Да. Я передал их туда. Видите ли, в нашем распоряжении нет достаточного количества солдат на действительной службе, чтобы обеспечить безопасность на тех шахтах, а нам сказали, что ваши люди там сильно возбуждены». Из Эйгюлера тоже поступило известие, что отобранные у охраны и у детективов «Болдуин-Фелтс» ружья вручены им обратно по той же причине. Вскоре после этого ружья из Ладлоу были переданы охранникам в Делага, Гастингсе, Бервинде и Табаско. Но забастовщики не подняли из-за этого шума.

Отношения между колонистами в Ладлоу и милицией были вполне дружеские. Команды солдат и горняков играли на снегу в бейсбол и вместе охотились за кроликами. Забастовщики устраивали для солдат танцы в Большой палатке, и люди из охраны шахт посещали палатки и принимали участие в жизни колонии. Их всегда приветливо приглашали обедать. Со своей стороны, и забастовщики свободно разгуливали вокруг лагеря милиции. Среди забастовщиков было известное число греков и черногорцев — участников Балканской войны. Иногда офицеры разрешали им пострелять из ружья. Они восхищались их смекалкой.

Но такое положение продолжалось только около двух недель. Главным доводом шахтовладельцев, когда они просили прислать милицию, было то, что многие забастовщики из палаточной колонии охотно вернулись бы к работе, если бы были уверены, что их сумеют защитить. Шахтовладельцы утверждали, что, как только здесь будут расквартированы войска, поток забастовщиков устремится назад, на шахты. Но с прибытием национальной гвардии ничего подобного не произошло. Почти никто не дезертировал. Тогда шахтовладельцам пришлось прибегнуть к другой тактике.

Поведение солдат вдруг резко изменилось. Генерал Чэйз без всякого предупреждения объявил, что забастовщики в Ладлоу укрывают оружие и что они должны сдать его в течение двадцати четырех часов. Солдатам милиции было приказано держаться подальше от палаточной колонии. 12 ноября войска милиции вместе с охранниками неожиданно произвели обыск в домах забастовщиков в Ста-

ром Сегундо. Искали спрятанное оружие. Во время обысков солдаты взламывали сундуки и похищали ценности. Из Тринидада сообщили, что три самых отчаянных охранника из агентства «Болдуин-Фелтс» были зачислены в войска штата. Генерал Чэйз стал совершать рейды на автомобиле «Колорадо фьюэл энд айрон компани». Чтобы предотвратить столкновения между забастовщиками и штрейкбрехерами, отправлявшимися на работу в шахту, первым запретили подходить на близкое расстояние к железнодорожной станции и к общественным дорогам.

На содержание национальной гвардии штат не выделил никаких ассигнований. Угольные магнаты предложили предоставить деньги, но губернатор Эммонс счел это неудобным. Однако он разрешил, чтобы Денверская расчетная палата предоставила через своего президента Митчелла аванс в сумме 250 тысяч долларов. Косвенным путем это позволяло угольным компаниям оплачивать расходы по содержанию милиции, так как Митчелл являлся одновременно президентом Денверского национального банка, который грозил опротестовать векселя Хэйдена, президента Джуниперской угольной компании, в случае если он заключит соглашение с союзом.

Вскоре выяснилось, какого курса собирается придерживаться милиция. Хотя командование официально не объявляло военного положения и не вводило его в явной форме, генерал Чэйз опубликовал в Тринидаде декларацию о создании военного округа Колорадо под его личным командованием. Затем он заявил, что милиция будет арестовывать «военных преступников» и передавать в его распоряжение. Первым «военным преступником» оказался один горняк, который подошел на улицах Тринидада к солдату и спросил, где он может вступить в союз...

Чэйз открыто начал проводить кампанию террора и запугивания. Так же как и во время предшествующих стачек, за этим последовали повальные аресты. Мужчин и женщин группами в тридцать пять — сто человек заключали в тюрьму на неопределенный срок как «военных преступников». Арестовывали забастовщиков, направлявшихся в Ладлоу на почту за своей корреспонденцией. Если членов союза заставляли во время переговоров со штрейкбрехерами, их избивали и бросали в тюрьму. Представитель социалистической партии в профсоюзе горнорабочих Адольф Джермер был посажен под арест, как

только он сошел с поезда в Уолсенбурге, а его жена подверглась оскорблениям со стороны пьяных офицеров в своем собственном доме. Охранники, ободренные явным расположением милиции, возобновили свои налеты. Ночью 15 ноября они дали несколько залпов по домам забастовщиков в Пиктоне. Один солдат не разрешил жене забастовщика Радлиха пойти за письмами на почту в Ладлоу, а когда она отказалась ему повиноваться, сшиб ее с ног прикладом. Лейтенант Линдерфельт, встретив на станции Ладлоу семнадцатилетнего парнишку, обвинил его в том, что он пугает лошадей милиции и так избил, что тот не мог стоять на ногах.

Но даже эти меры были, по мнению шахтовладельцев, недостаточно суровыми. Корреспондентам газеты удалось подслушать в здании правительства штата, как за распахнувшейся дверью группа шахтовладельцев укоряла губернатора Эммонса. «Вы трус, черт вас поберит! — говорили они ему. — Мы не собираемся дольше терпеть все это. Вы должны что-то предпринять — и поскорее, а не то берегитесь!» А «олицетворение воли народа суверенного штата Колорадо» отвечал: «Не будьте со мной слишком суровы, джентльмены. Я делаю все, что могу». Вслед за этим дверь захлопнулась.

Вскоре после этого разговора генерал Чэйз издал вторую декларацию, в которой всем желающим идти работать на шахты гарантировалась защита. В ней говорилось также, что он намерен создать тайный военный суд для наказания всех нарушителей законов, изданных им как командующим военным округом Колорадо. Думается, что именно в эту ночь неизвестный забастовщик, выведенный из себя невыносимыми оскорблениями детектива Белчера из агентства «Болдуин-Фелтс», выстрелом убил его на улице Тринидада. Немедленно тридцать пять «военных преступников» были брошены в вонючие камеры окружной тюрьмы. Их держали там долгое время в переполненных холодных камерах, на голодном пайке. Пятеро из них предстали перед военным судом по обвинению в убийстве. Когда они отказались признать вину, их подвергли пыткам. В течение пяти дней и ночей их окатывали ледяной водой, кололи штыками и избивали дубинками так, что они не могли заснуть. К концу этого времени один итальянец, по имени Цанканелли, не выдержал и подписал «признание», составленное военными чиновниками. Но впо-

следствии он отказался от него, и было доказано, что оно фальшивое.

Профсоюз предпринял последнюю отчаянную попытку созвать конференцию шахтовладельцев и забастовщиков, но шахтовладельцы категорически отказались внять этому призыву. Генерал Чэйз заявил, что терпение милиции истощилось. Забастовщики с изумлением узнали, что в штат прибыл состав с несколькими сотнями штрейкбрехеров, которых в сопровождении милиции отправили на шахты. Они подали Чэйзу в связи с этим запрос. Чэйз заявил, что губернатор Эммонс в разговоре по телефону изменил свой приказ о запрещении доставки штрейкбрехеров из других штатов. Это было для забастовщиков лишь первой новостью.

Вслед за этим с востока стали доставлять тысячи рабочих. Этим рабочим уверяли, что в Колорадо нет никакой забастовки. Им обещали бесплатный проезд и высокую заработную плату. Одни нанимались на угольные копи, а других привлекала возможность получить землю на западе. Некоторые из этих рабочих были членами профсоюзов. Только немногие соглашались быть «скэбами», но им всем сказали, что их не отпустят, пока они не отработают за проезд и содержание. Один итальянец в Примеро попытался бежать с железной дороги, но был убит выстрелом в спину. Другого рабочего в Табаско убили за отказ идти на работу. Тех же, кто действительно хотел сохранить работу, заставляли в течение недель работать бесплатно. Один рабочий, у которого были деньги, заплатил за проезд наличными, но, хотя он и проработал двадцать дней и в книгах компании за ним было записано такое количество угля, за которое он должен был бы получать по 3,5 доллара в день, в конце этого срока ему заявили, что он заработал только 50 центов. Милиция, по указанию управляющих, никому не разрешала уходить с шахты без получения от компании полного расчета. Без пропуска нельзя было ни войти на территорию шахты, ни выйти оттуда. Сотни штрейкбрехеров ускользали по ночам через снежные сугробы и находили убежище и защиту в палаточных колониях забастовщиков. Там им выдавали пособие от союза и предоставляли палатки для жилья.

Беззакония и жестокости солдат росли. Два милиционера, солдат, и офицер вломились в дом одного фермера, когда ни его самого, ни его жены не было дома, взломали

сундуки, украли все ценное и приставали с гнусными предложениями к его двум маленьким детям. Хотя на них была подана жалоба, они остались безнаказанными. В палаточной колонии Прайор хорват-забастовщик, по имени Андрей Колнар, написал письмо одному из своих соотечественников — штрейкбрехеру и предложил ему присоединиться к союзу. Милиция арестовала Колнара, доставила его в лагерь и заставила рыть яму под присмотром вооруженной охраны. Ему сказали, что он роет себе могилу и будет расстрелян на рассвете. Удивленный и испуганный, несчастный попросил дозволения в последний раз взглянуть на свою семью. Ему ответили, что этого сделать нельзя и что, если он не будет рыть себе могилу, его расстреляют немедленно. Колнар лишился чувств и упал в вырытую им яму, а когда выбрался из нее, его осыпали бранью и избили. Подобные поступки стали любимым развлечением милиции. Том Иванич, поляк, ехавший в Тринидад, был в Ладлоу снят с поезда. Ему приказали рыть себе могилу. Против него не было никакого обвинения, и впоследствии солдаты милиции говорили, что это была шутка. Однако во время этой «шутки» ему разрешили написать свое последнее письмо. Вот оно:

«Дорогая моя жена!

Твой супруг шлет самые лучшие пожелания тебе, моему сыну, сестре Мэри и маленькой Кэт и моему брату Джо. Я арестован, но ни в чем не виноват, а сейчас я рою себе могилу. Это мое последнее письмо, дорогая моя жена. Не оставьте наших детей, ты и брат мой Джо. На меня уже рассчитывать нечего, если бог мне не поможет. В этом мире, где люди без вины должны уходить в могилу, да благословит бог землю, где я буду лежать. Мы копаем себе могилу между палатками и улицей. Дорогая жена и брат Джо, я прошу вас позаботиться о моих детях. Наилучшие пожелания тебе, детям, и брату Джо, и мачехе, и сводной сестре, и всем, кто живет с вами. Если я не доберусь сегодня ночью до Тринидада, чтобы повидать руководителей и подумать, нельзя ли что-нибудь для нас сделать, я думаю, что будет уже слишком поздно. Я не знаю, что еще вам написать, чтобы передать свое «прости» навсегда. Я уверен теперь, что меня ожидает могила. На все воля божья. Я достал пять долларов,

ты получишь их в письме, если их кто-нибудь не украдет. От Доминика Смирчича я получил 23 доллара 30 центов. Так, как записано в книге. Пусть их возьмет Джо. Привет всем знакомым, если они еще живы.

Твой муж Том Иванич.

Со скорбью и разбитым сердцем жду я последней минуты. Когда получите на детей деньги от общества, разделите их поровну».

А вот письмо одного итальянца, которого заставили выполнять ту же работу:

«Дорогая Луиза!

Привет от убитого горем Карло. Это мое последнее письмо. Вот и все, говорить больше нечего. Очень грустно. Прощай, прощай».

23 января женщины и дети забастовщиков устроили в Тринидаде демонстрацию в знак протеста против заключения в тюрьму матушки Джонс, которая находилась до этого в госпитале Сан-Рафаэль. Они шли всю дорогу довольно весело, смеясь и распевая, пока не свернули на Мэйн-стрит. Там неожиданно путь им преградил отряд конной милиции. «Расходитесь по домам! — закричали солдаты. — Разойдитесь! Назад! Здесь не пройдете!» Женщины в нерешительности остановились, а затем хлынули вперед, а отряд кавалерии медленно двинулся на них с саблями наголо. Вся ненависть к милиции, которая так долго накапливалась у забастовщиков, вдруг вырвалась у этих женщин наружу. Они начали насмехаться над солдатами, выкрикивать: «Эй вы, штрейкбрехерские пастухи! Болдуин-Фелтсы!» Солдаты въехали прямо в толпу, отесняя женщин. Во главе солдат выступал сам генерал Чэйз, выкрикивавший самые грубые ругательства. Генералу попала на пути молоденькая девушка, лет шестнадцати. Он подъехал к ней вплотную и со всего размаху ударил в грудь. В бешенстве она крикнула ему, чтобы он подумал о том, что делает. Затем подскакал солдат и ударил ее саблей. Из толпы женщин вырвался стон и пронзительный крик. Лошадь генерала Чэйза от неожиданности бросилась в сторону, генерал грохнулся на землю. Женщины разразились хохотом. «Топчите их

конями, наезжайте на них!» — закричал генерал. И солдаты повиновались. Они поскакали на женщин. Сам генерал Чэйз раскроил одной женщине голову своей саблей. Подкованные лошади топтали женщин, детей, сбивая их с ног. В ужасе толпа бросилась бежать по улице, солдаты помчались за ними, нанося удары и крича как одержимые. Соскакивая с лошадей, озверевшие солдаты набрасывались на женщин с кулаками, избивая их и таща по улице. В этот день тюрьма наполнилась более чем сотней «военных преступников».

В конце февраля в Тринидад прибыл для ознакомления с ходом стачки подкомитет Комиссии по шахтам и горному делу палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. Среди прочих обнаружившихся фактов самые тяжелые обвинения против милиции содержались в показаниях свидетелей. Правда, капитан Дэнкс, адвокат милиции, заявил, что он представит уйму свидетелей, которые могут опровергнуть эти обвинения, но он до конца слушания дела даже и не вызвал ни одного из них.

В последний день расследования, 9 марта, около палаточной колонии в Форбсе был обнаружен мертвый штрейкбрехер. На следующий день милиция под командованием полковника Дэвиса прибыла в Форбс и до основания разрушила колонию забастовщиков. Они снесли палатки, переломали утварь, а забастовщикам приказали в течение сорока восьми часов покинуть территорию штата. Полковник сказал, что генерал Чэйз приказал ему «уничтожить палаточную колонию», так как забастовщики из Форбса были главными свидетелями в комиссии Конгресса по делу о зверствах милиции. Более пятидесяти забастовщиков и их семьи были выгнаны прямо на улицу, несмотря на лютый зимний холод. Они остались без жилья и пищи. Вскоре после выселения два ребенка умерли от простуды.

Несколько дней спустя милиция выгнала из палаточной колонии в Ладлоу десять человек, выступавших против нее в качестве свидетелей. Их отправили под конвоем в Бервинд. Там их избили и заставили стоять навытяжку у каменной стены перед наведенной на них пушкой. Им не давали шелохнуться и при малейшем движении кололи штыками. В таком положении их продержали четыре часа, каждую минуту угрожая расстрелом, а затем раздобыли бич из сыромятной кожи и погнали ударами бича

по каньону, преследуя их на лошади. Преследователи гнались за ними галопом. Один старый горняк, по фамилии Файлер, совсем выбился из сил и не мог больше бежать. Он остановился. Тогда четверо солдат набросились на него и избили так, что ему пришлось ползком добираться до Ладлоу.

Казалось, все было сделано, чтобы довести забастовщиков до белого каления. Четыре раза милиция делала вид, что обыскивает колонию Ладлоу в поисках оружия. Каждый раз они устанавливали два пулемета на железной дороге и направляли их на колонию. Затем, обрушившись на палатки, выгоняли всех мужчин и выстраивали их в открытом поле, на расстоянии мили от лагеря, под дулом третьего пулемета. А в это время солдаты обходили весь лагерь и разворовывали все, что попадало им под руку. Они врываются в хижины забастовщиков, взламывали двери, оскорбляли женщин.

Я не собираюсь утверждать, что забастовщики не оказывали никакого сопротивления террору, но я знаю, что сами они не чинили насилия по отношению к милиции, если не считать насмешек и грубой брани. Несмотря на это, они были спровоцированы на ряд отчаянных поступков, от которых даже руководители не могли надеяться удержать их в течение долгого времени. Дома их разрушали или учиняли в них погром, жены их подвергались насилию, самих их постоянно грабили, избивали и оскорбляли. Они решили, что дольше терпеть не смогут. Генерал Чэйз запретил восстанавливать палаточную колонию в Форбсе. Тогда стачечники стали грозить, что сделают это наперекор всему. На этот раз, говорили они, они будут сопротивляться так, что милиция не сумеет разрушить их дома, не перебив предварительно их всех до единого. Затем забастовщики начали лихорадочно скупать оружие повсюду на пятьдесят миль в округности. И вдруг 23 марта милиция была отозвана.

250 000 долларов, предоставленные Денверским расчетным банком для содержания солдат, были уже давно израсходованы. Более того, государственный ревизор Кенехан произвел расследование и обнаружил такие ужасающие взяточничества и злоупотребления со стороны чиновников и частных лиц, что отказался санкционировать выплату по вексялям. Среди солдат стало расти недовольство, так как они не получали жалованья. Одетые

в форму охранники скитались по округе, занимая деньги и подписывая векселя, оплатить которые должно было государство. Дисциплина, таким образом, ослабела повсюду. Офицеры не могли заставить своих людей слушаться приказаний. Но перед тем, как милиция покинула район, были наняты новые две роты. Рота «В» — в Уолсенбурге и отряд «А» — в Тринидаде. Эти части состояли почти исключительно из охранников с шахт и из детективов «Болдуин-Фелтс». Издержки по их содержанию оплачивали угольные компании.

Наиболее упорные штрейкбрехеры из других отрядов были собраны в новый отряд, в шутку прозванный «рота Q». Его штаб разместился в Ладлоу. Эти три отряда и остались в районе стачки. Многие из этих людей были профессиональными штрейкбрехерами. Они выходили на работу в шахты в своей милицейской форме и оставляли ружья у входа в шахту...

19 апреля, воскресенье, было первым днем пасхи у православной церкви, и греки из палаточной колонии Ладлоу праздновали ее. Все праздновали вместе с ними, так как греков в колонии любили все забастовщики. Их было около пятидесяти — все молодые и неженатые. Некоторые из них участвовали в Балканской войне. Луис Тикас, окончивший Афинский университет, был самым милым и храбрым и пользовался наибольшей любовью. Поэтому он и стал вождем забастовщиков.

День был чудесный: земля просохла, солнце ярко светило. На рассвете все население Ладлоу уже встало и развлекалось возле своих палаток. Греки начали танцевать, как только взошло солнце. Они отказались идти в большую палатку и вместо этого украсили флагами залитую солнцем площадку утрамбованной земли. Вытащив со дна своих чемоданов национальные костюмы, они все утро танцевали на этой площадке греческие национальные танцы. На бейсбольной площадке шли состязания мужчин и женщин по бейсболу. Две женские команды отважились принять участие в игре, и греки преподнесли женщинам в качестве пасхального подарка спортивные костюмы. Так весь лагерь со смехом и шумом отмечал праздник. Повсюду видны были дети, игравшие в поле, на молодой травке.

Как раз в самый разгар игры в бейсбол через линию железной дороги перешли четыре милиционера с винтов-

ками. Солдаты частенько приходили сюда и смотрели, как играют забастовщики, но они никогда раньше не захватывали с собой винтовок. Они медленно вышли на площадку, где играли мужчины, и расположились между первой линией старта и чертой «дома», направив ружья прямо на толпу. Забастовщики некоторое время не обращали на них внимания, но вот они заметили, что солдаты стоят как раз на черте, которую надо переходить играющим, и мешают игре. Один из игроков попросил их подвинуться в сторону, чтобы бегуны могли пробежать. Он сказал также, что нет никакой необходимости направлять на толпу винтовки. Милиционеры грубо ответили ему, что это не его дело — черт возьми! — и что если он скажет еще хоть слово, то они немедленно устроят кое-что. Тогда мужчины спокойно перенесли игру в другое место и продолжали играть. Но милиционеры искали повода для ссоры и поэтому перешли на площадку, где играли женщины. У женщин, однако, оказалось меньше выдержки, чем у мужчин. Они стали смеяться над охранниками, называя их пастухами «скэбов», крича, что ружей они не боятся и что две женщины с хлопушкой могут напугать солдат до смерти. «Ладно, девчонки, — ответил один из милиционеров. — Сегодня веселье у вас, а завтра будет у нас». Вскоре после этого они удалились. Когда игра в бейсбол окончилась, греки устроили для всей колонии завтрак. Старая палатка для собраний показалась им недостаточно хорошей для их большого праздника. Они решили для полного великолепия послать в Тринидад купить ради этого случая новые палатки. Мужчинам было подано пиво, женщинам — кофе. И каждый раз, когда кто-нибудь из греков пил, он вставал и вместо тоста исполнял греческую песню. Все были очень веселы и наслаждались этим первым весенним днем. Вечером был устроен бал. Вдруг около десяти часов появился один человек и сообщил потихоньку мужчинам, что по колонии тайком разъезжает отряд милиции и подслушивает, что делается в палатках.

Танцы прекратились. Уже в течение нескольких дней до колонистов доходили слухи и даже прямые угрозы, что милиция собирается уничтожить их. В темноте все, у кого было оружие, собрались в большой палатке. Там оказалось сорок семь человек. Они решили ничего не говорить женщинам и детям, во-первых, потому, что если придется сражаться, милиция, конечно, не станет атаковать пала-

точную колонию, а позволит забастовщикам уйти в открытое поле и сражаться там. Так было и ранее. Во-вторых, потому, что таких угроз было уже много, но из них ничего не выходило. На всякий случай забастовщики в эту ночь расставили вокруг лагеря часовых. До самого рассвета все было спокойно. Тогда они вернулись в палатки и улеглись спать. Около 8.45 те же милиционеры, что накануне помешали игре в мяч, явились опять в лагерь. Они заявили, что пришли, чтобы увести человека, которого забастовщики задерживают против воли. Их встретил Тикас. Он заверил их, что в лагере такого человека нет, но они настаивали, говоря, что Тикас — лжец и что, если он немедленно не представит этого человека, они вернутся с отрядом и устроят в колонии обыск.

Вслед за этим майор Хэмрок вызвал Тикаса по телефону и приказал ему явиться в лагерь милиции. Тикас ответил, что готов встретиться с майором на железнодорожной станции, на полпути между лагерями, и Хэмрок согласился. Но когда Тикас явился туда, он увидел, что солдаты милиции надевают ленты с патронами и разбирают винтовки, что повсюду ведется подготовка к военным действиям, а на холме водокачки установлены два пулемета, наведенные на палаточную колонию. Неожиданно в лагере милиции взорвалась сигнальная бомба. Забастовщики тоже заметили пулеметы и услышали разрыв бомбы. Когда Тикас добрался до железнодорожной станции, он увидел, что сорок семь вооруженных людей вышли из палаточной колонии и направились к железнодорожному тупику и руслу ручья. «Боже мой, майор! Что это значит!» — воскликнул Луис. Хэмрок казался сильно взволнованным. «Вы вызвали своих людей, — заявил он с раздражением, — а я — своих». — «Но мои люди ничего не делают, — ответил Луис. — Они просто напуганы теми установленными на холме пулеметами». — «Ладно, тогда заставьте их вернуться в колонию!» — закричал Хэмрок. Луис бросился бежать к палаткам, размахивая белым носовым платком и крича, чтобы забастовщики вернулись назад. Взорвалась вторая бомба. Она упала на поддороге, и забастовщики замедлили шаг. Раздался третий взрыв бомбы, и вдруг, без предупреждения, прямо по палаткам застрочили оба пулемета: та-та-та-та-та...

Это было беспощадное и заранее обдуманное истребление колонистов. Милиционеры рассказывали мне, что им

было приказано разрушить палаточную колонию и уничтожить в ней все живое. Три бомбы послужили сигналом для охраны шахт, детективов агентства «Болдуин-Фелтс» и штрейкбрехеров на соседних шахтах. По этому сигналу все они толпой сбежали сюда из-за холмов в полном вооружении. Их было человек четыреста.

Ураганный пулеметный огонь разорвал на куски покрытия палаток, и это вызвало ужасную панику. Часть женщин и детей устремилась на равнину, подальше от палаточной колонии. Их расстреливали на бегу. Другие вместе с безоружными мужчинами искали спасения в русле высохшего ручья, к северу от колонии. Миссис Файлер повела группу женщин и детей под огнем к глубокому колодцу возле железнодорожной насосной станции, куда они спустились по лестнице. Другие забились в защищенные от пуль подвалы, вырытые для них в палатках. Сражавшиеся мужчины, напуганные всем происходившим, бросились к колонии, но град пуль заставил их повернуть назад. Теперь в дело вмешались охранники. Они стреляли разрывными пулями, и эхо разносило их выстрелы по колонии, как будто стреляли из шестизарядных револьверов. Пулеметы не замолкали. Тикас бросился бежать вместе с греками, но вернулся обратно в тщетной надежде спасти хоть кого-нибудь из тех, кто остался. Он оставался в колонии весь день. Он, миссис Джолли — жена американца-забастовщика, Бернабо — лидер итальянцев, Доменицкий — руководитель славян, доставляли тем, кто оказался взаперти в подвалах, воду, еду и бинты для перевязки. Со стороны палаточной колонии не было сделано ни одного выстрела. Ни у кого из мужчин в колонии не было винтовок. Когда начали стрелять разрывными пулями, Тикас подумал, что это стреляют откуда-нибудь из-за палаток, и побежал как угорелый, чтобы приказать не делать этой глупости и немедленно прекратить стрельбу. И только через час он обнаружил, откуда в действительности исходит эта стрельба.

Миссис Джолли надела белое платье, а Тикас и Доменицкий прикололи ей на грудь и рукава огромные красные кресты. Но милиция использовала их как хорошую мишень. Ее платье было прострелено в 12 местах, каблук от туфли оторвало пулей. Куда бы она ни приближалась, огонь становился так ужасен, что люди вынуждены были просить ее держаться от них подальше. Но она и трое

мужчин мужественно продолжали готовить бутерброды и доставлять воду женщинам и детям.

В этот день рано утром в Тринидаде был снаряжен бронепоезд, в который посадили 126 милиционеров из отряда «А». Но машинист и его помощник отказались их везти, и только в три часа дня, наконец, удалось найти поездную бригаду, чтобы доставить поезд к месту назначения. В Ладлоу солдаты прибыли около четырех часов и своими двумя пулеметами поддержали ураганный огонь, направленный на палаточную колонию. Одно подразделение медленно вытесняло забастовщиков с их позиций в русле ручья, а другое тщетно пыталось рассеять тех, кто засел у железной дороги. Лейтенант Линдерфельт, командовавший восемью милиционерами, палившими из окон железнодорожной станции, приказал своим людям «стрелять по любой проклятой твари, которая подвернется». Капитан Кэрсон подошел к майору Хэмроку и почтительно напомнил ему, что в их распоряжении до наступления темноты осталось лишь несколько часов на то, чтобы сжечь колонию. «Подожгите их! Выкурите их отсюда!» — закричали офицеры. И солдаты начали убивать всех попадавших под руку, обезумев от жажды крови.

Темнело. Милиция окружила палаточную колонию тесным кольцом. Приблизительно в 7.30 вечера один из солдат милиции, держа в руках ведро с керосином и кисть, подбежал к ближайшей палатке, смочил ее обильно керосином и поднес спичку. Пламя взметнулось, освещая все вокруг. Остальные солдаты бросились к другим палаткам, и в минуту весь северо-западный участок колонии был охвачен пламенем.

Как раз в этот момент прибыл товарный поезд, который должен был остановиться на запасном пути, возле водокачки. Женщины и дети, прятавшиеся в колодце, использовали благоприятный момент и под прикрытием поезда выбрались из колодца и поползли по канаве вдоль железной дороги, стремясь укрыться в русле высохшего ручья. Они громко кричали и плакали. Дюжина солдат милиции вскочила в кабину машиниста и, угрожая ему расстрелом, приказала двигаться дальше. Он повиновался. И при мерцающем свете горящих палаток милиция принялась вновь и вновь обстреливать беглецов.

Когда показался первый язык пламени, забастовщики прекратили стрельбу. Но милиция не перестала стрелять.

Солдаты разбрелись по лагерю, неистово крича. Они были охвачены жаждой разрушения, ломали открытые сундуки и расхищали все, что попадалось.

Когда начался пожар, миссис Джолли стала ходить от палатки к палатке. Она заставляла женщин и детей вылезать из погребов и собирала их всех в одно место на равнине. Вдруг она вспомнила, что миссис Петруччи с тремя детьми осталась в погребе под своей палаткой. Она решила спешно вернуться, чтобы вызвать их оттуда. «Нет,— сказал Тикас.— Вы идите вперед с этой группой, а я вернусь за семьей Петруччи». И он направился к горевшим палаткам. Там его и захватили солдаты милиции. Он пытался объяснить им свое намерение, но они обезумели от пролитой ими крови и не желали его слушать. Лейтенант Линдерфельт ударил грека по голове и сломал об него свою винтовку. Он раскроил ему голову до кости. Пятьдесят человек схватили веревку и перекинули ее через телеграфный провод, чтобы повесить Тикаса. Но Линдерфельт с циничной улыбкой передал его под охрану двух милицейских и сказал, что они ответят ему за жизнь Тикаса. Пять минут спустя Луис Тикас был убит тремя пулями в спину. А позднее из погреба миссис Петруччи были извлечены обуглившиеся трупы тринадцати женщин и детей.

Файлера они тоже захватили и убили. Они сделали по нему пятьдесят четыре выстрела. Среди рева бушевавшего пламени слышались вопли женщин и детей, заживо горевших в подвалах под палатками. Одних солдаты вытаскивали, избивали и арестовывали; других оставляли заживо гореть, не предприняв ничего для их спасения. Один американец-забастовщик, по фамилии Снайдер, в тупом отчаянии лежал в палатке на полу рядом с телом своего одиннадцатилетнего сына, которому разрывной пулей снесло затылок. В палатку вошел солдат милиции, смочил ее керосином и поджег. Ударив Снайдера по голове прикладом, он приказал ему убираться поскорее. Снайдер указал ему на тело своего мальчика. Тогда солдат взял мальчика за ворот и вышвырнул на улицу, крикнув: «Вот, можешь сам нести эту падаль!»

Известие о случившемся распространилось с быстротой молнии. Через три часа каждый забастовщик в радиусе пятидесяти миль знал, что милиция и охрана шахт заживо сожгли женщин и детей. В понедельник ночью все

они выступили в Ладлоу, где разыгрались эти события, с ружьями, какие только оказались у них под рукой. Всю ночь дороги были забиты толпами изможденных людей, направляющихся к Блэк-Хиллс. Шли не только забастовщики. В Эйгьюлере, Уолсенбурге и Тринидаде чиновники, извозчики, шоферы, учителя школ и даже банковские служащие взяли за винтовки и направились к месту побоища. Казалось, что зажженное в Ладлоу пламя охватило всю страну. По всему штату профсоюзы рабочих и лиги граждан в порыве возмущения открыто собирали деньги на покупку оружия для забастовщиков. В Колорадо-Спрингсе, Пуэбло и других городах произошли многолюдные митинги населения. Жители требовали, чтобы губернатор попросил президента прислать федеральные войска. Тысяча семьсот горняков из Вайоминга вооружились и передали по телеграфу руководителям стачки, что готовы выступить им на помощь. Профсоюз получал письма от ковбоев, железнодорожников, местных организаций ИРМ, представляющих тысячи рабочих. Все они предлагали двинуться через всю страну на помощь. Пятьсот горняков из Криппл-Крика бросили работу в шахтах и двинулись на восток — в Блэк-Хиллс...

В это время в Ладлоу солдаты совсем обезумели. Весь день они продолжали стрелять из пулеметов по сожженной и почерневшей от дыма палаточной колонии. Стреляли в кур, лошадей, скот, кошек. По проселочной дороге подъехал автомобиль. В нем сидели муж с женой и дочерью, совершавшие путешествие из Денвера в Техас. Они и понятия не имели, что здесь идет бой. Не успел автомобиль подъехать на две мили, как солдаты навели на него пулемет, пулями пробив у него крышу и изрешетили радиатор. Газетному репортеру Линдерфельт грозно заявил: «Мы убьем всех проклятых красных забастовщиков в этом районе, а прежде, чем окончательно со всем разделаемся, доберемся до всех негодяев в этом округе, сочувствующих профсоюзам». Вагоны, высланные профсоюзом из Тринидада за телами убитых женщин и детей, подверглись такой жестокой атаке, что пришлось вернуть их обратно. По колонии бродили милиционеры, расшвыривая трупы среди еще дымящихся палаток.

Забастовщики тоже пришли в ярость. Профсоюз горняков призвал всех к оружию. Днем все больше и больше забастовщиков пряталось за вершинами холмов и стреляло

из винтовок. Ночью они рыли траншеи, подбираясь все ближе и ближе к позициям солдат милиции. В среду майор Хэмрок позвонил по телефону охране шахт в Эйгьюлере: «Ради бога, предпримите что-нибудь! — попросил он. — Они надвигаются на нас со всех палаточных колоний. Все забастовщики из Эйгьюлера здесь у нас, и вы должны устроить у себя такой «спектакль», чтобы они вернулись». Тогда охранники стали обстреливать палатки в Эйгьюлере из окон гостиницы «Импайр-Майн». Результат оказался потрясающим. Триста возмущенных забастовщиков вместе с жителями города двинулись из города на шахты. С криками и ревом бросились они прямо на ружья охранников. Спротивляться им было совершенно бесполезно. На шахтах «Ройл» и № 9 охранники и штрейкбрехеры убежали в горы. Забастовщики овладели поселком, разрушили дома, сожгли надшахтные постройки, разбивая машинное оборудование прикладами своих винтовок. На шахте «Импайр» главный помощник управляющего компании спрятался вместе с охранниками в шахте. Забастовщики заперли его там, взорвали надшахтную постройку и так основательно разрушили пятьдесят домов, что нельзя было и узнать, где они стояли раньше.

Повсеместно происходило то же самое.

В Кэньон-Сити охранники изрешетили пулеметным огнем дома забастовщиков. Забастовщики захватили шахты «Саннисайд» и «Джексон» и разбили пулемет на части, чтобы сделать из него брелоки к часовым цепочкам, но никакого другого ущерба не причинили. В Раузе и Рэгби четыреста забастовщиков совершили нападения на шахты.

Через два дня после пожара в Ладлоу милиция позволила одному репортеру, нескольким сестрам милосердия из Красного Креста и священнику Рандольфу Куку из Тринидада произвести розыски среди руин палаточной колонии Ладлоу. Борьба еще кипела, и солдаты забавлялись тем, что стреляли по развалинам, стараясь попасть поближе к тем, кто был занят розысками. Из подвала под палаткой миссис Петруччи, до которого так упорно хотел добраться Луис Тикас, производившие розыски извлекли тела одиннадцати детей и двух женщин. Одна из женщин перед смертью родила ребенка. В погребке не видно было следов огня, хотя было много сильно обгоревших трупов.

Дело в том, что они сгорели в своих палатках, а солдаты побросали их в яму вместе с теми, кто задохнулся в дыму. Некоторые солдаты милиции признались мне, что ужасающие вопли женщин и детей продолжались все время, пока они грабили колонию.

Но когда спасательные партии вернулись в Тринидад, им сказали, что осталось еще много трупов, а один забастовщик сообщил им, что на северо-восточном участке колонии находился подвал, в котором погибло восемнадцать человек. Поэтому в субботу они снова отправились в колонию. К этому времени милиция возобновила свои действия. Командовал всем генерал Чэйз. Он сердечно приветствовал прибывших и спросил, уполномочило ли их Общество Красного Креста действовать под его флагом. Они ответили утвердительно. Генерал Чэйз вежливо попросил их минуточку подождать, пока он снесется с Денвером и выяснит это. Вскоре он вернулся. «Все в порядке,— заявил он.— Я звонил по телефону в Денвер, и вы можете идти туда». Когда они направились в колонию, Чэйз следил за ними в полевой бинокль из своей палатки, когда же они приблизились к тому месту, где, как они думали, лежат трупы, он послал за ними двух солдат, чтобы вернуть их назад. Генерал был страшно разгневан. Без объяснения причин он продержал их два часа под арестом. После этого их провели мимо генерала цепочкой. Генерал сидел за письменным столом. «Вы — банда проклятых обманщиков! — презрительно кричал он, размахивая телеграммой.— Меня только что известили из Денвера, что вы не имеете полномочий действовать под флагом Красного Креста. Чего вы добиваетесь, черт возьми, явившись сюда и пытаясь обмануть меня?!» Священник Кук пытался протестовать против таких выражений в присутствии женщин. «Сводники, священники и проститутки, для меня все одинаковы,— ответил генерал.— Отправляйтесь к дьяволу обратно в Тринидад и никогда не смейте и близко подходить к этому месту». И действительно, Общество Красного Креста в Денвере, боясь, что может оскорбить шахтовладельцев, позвонило в Тринидад после того, как спасательная партия направилась в Ладлоу, и лишило ее права действовать от имени Общества Красного Креста. В эту ночь управление Колорадской и Южной железной дороги доставило в лагерь милиции груз негашеной извести, а в окрестности было открыто

несколько давно не используемых колодцев. В результате забастовщики не могли установить, сколько же людей было убито в Ладлоу...

Правительство штата Колорадо оказалось не на высоте и не смогло справиться с создавшимся положением. Примечательно, что созванная губернатором чрезвычайная сессия Законодательного собрания штата, которая должна была заняться решением этой проблемы, прервала свои заседания, не предприняв ни малейших шагов к решению вопроса. Аппарат угольных компаний в палате представителей и в сенате пресек все попытки предложить какое-нибудь средство с целью исправить положение. Зато он провел под сильным давлением билль о выпуске акций на 1 000 000 долларов, для того чтобы заплатить милиции и охране шахт за их «блестящую работу» по расстрелу рабочих и сожжению заживо их жен и детей...

Для тех, кто полагает, что м-р Рокфеллер и владельцы шахт ни в чем не повинны и введены в заблуждение, я хочу привести лишь один очень знаменательный факт. Рассказывают, что на заключительном заседании сессии Законодательного собрания, прошедшем с таким триумфом, миссис Уэлборн, жена президента «Колорадо фьюэл энд айрон компани», рассказала своим друзьям, что ее муж получил от Джона Д. Рокфеллера младшего «очень милую телеграмму». Она гласила, по словам миссис Уэлборн: «Сердечные поздравления с победой над забастовщиками. Искренне одобряю все ваши действия и высоко ценю блестящую работу Законодательного собрания...»

1914 год,

КОК — ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН

— Эй, там, стоп! — проревел голос, который, казалось, наполнил собой весь необъятный небосвод. — Поворачивай! За кого ты себя принимаешь? За торпедный катер?

Этот голос мог принадлежать только одной паре легких в мире. Я посмотрел наверх, на плоскодонку, через борт которой свешивалось широкое красное лицо и огромные плечи.

— Сопатый Билл! — вскричал я.

— О, это ты, — прогрохотал он. — Сигай через борт! — И я, как тюлень, перевалился через планшир. Одним легким движением своих больших рук Билл послал лодку по волнам вдоль спасательного каната.

— Эй, вы! — гремел его голос, покрывая пронзительные крики купающихся и грохот волн. — Прочь за канат! Разве вы не знаете, что этот океан — частная собственность? Убирайтесь-ка за канат, пока я не раскрыл вам голову веслом!

Он обернулся ко мне со смущенной улыбкой.

— Эта спасательная работа определенно действует человеку на нервы!

— Что ты делаешь на Бас-Биче? В последний раз, когда я тебя видел...

— Да-а-а, я знаю, — пророкотал Сопатый Билл на умеренных нотах. — Но с тех пор, как я тебя видел в последний раз, утекло много воды. — Его большие кроткие глаза задумчиво блуждали по своим подопечным, резвящимся в прибое в этот воскресный день. — Нет, сударыня, это вам не аквариум. Ступайте за веревку, пока вас не укусила акула!

— Но не кажется ли тебе,— сказал я,— что это м-м-м... несколько лакейское занятие?

— Я приехал сюда, чтобы удалиться от людей. Мне опротивел род людской,— отозвался он, сплевывая.

Я молчал. Вдоль берега тянулась полоса пляжа с кишевшими на ней людьми. За купальнями возвышались безвкусные башенки и купола увеселительного парка. Сквозь шум ветра и людской гомон до нас доносились звуки шарманки.

— Человеческая натура — чертовски обескураживающий набор различных качеств,— продолжал Билл.— И чем больше человек, тем хуже натура. У толстяка она, по-видимому, хуже, чем у всех остальных. Не попадись на моем пути один толстяк, я был бы теперь капитаном хорошей шхуны и получил бы куш при разделе миллиона долларов.— И на его лице отразилась глубокая грусть, когда он мысленно представил себе недостижимое блаженство.

— Я проиграл,— продолжал Сопатый Билл со вздохом, напоминаям первое ворчание северного ветра,— по вине самого большого подлеца на свете. А ведь это был превосходный план, отверждаю я, да. Ты не слышал о нем? Так послушай. Один парень, по имени Эльмира Д. Питерс, владел шхуной «Лэдиез Харп»,— начал свой рассказ Билл.— Ей было сорок с лишним лет, и она передавалась в его семье по наследству. Как я уже говорил, этот парень Питерс носился с великолепной идеей. Он хотел закупать ранней весной лед в штате Мэн, перевозить его на Ямайку, где круглый год стоит тропическая жара, и продавать местным жителям. Это, по его расчетам, сулило шестьсот процентов прибыли. Ведь лед в Мэне ранней весной стоит дешевле, чем женские оправдания.

Тут Сопатый Билл внезапно заорал одному из купающихся:— Да нет, ты не тонешь! Держись за веревку, пират! Цепляйся за нее руками!

— Так ты говоришь, что этот Питерс был самый большой негодяй на свете? — спросил я, не в состоянии сдержать своего любопытства.

— О господи, нет! — загремел Сопатый Билл раздраженно, совсем как нетерпеливая мать, которая успокаивает визжащего ребенка.— Я сейчас объясню это. Когда ты сказал, что эта работа совсем не подходит для такого

человека, как я, ты попал в точку. Ведь я недаром заслужил репутацию лучшего в нью-йоркском порту помощника капитана. Питерс знал это и поэтому пообещал мне, если я возьмусь провести «Лэдиез Харп» на юг, сделать меня в следующий рейс капитаном.

В эту минуту один из купающихся рискнул отплыть на некоторое расстояние от спасательного каната. Билл безжалостно направил свою плоскодонку на пловца и в зловещем молчании несколькими энергичными гребками загнал его обратно. Мы остановились отдохнуть на глади безмятежного моря.

— Значит, так,— продолжал Билл.— Мы бросили якорь в устье Кеннебека. Погода была прекрасная. Но именно это и внушало мне сильное беспокойство. «Слишком везет,— говорил я себе, лежа на койке.— До сих пор хорошая погода не приводила ни к чему путному». Старик Питерс сам был капитаном, и я часто давал при нем волю своим предчувствиям. «Капитан,— говорил я,— мы несемся навстречу беде, прямо к черту в пасть. Ветер все время хороший, команда не брыкается, и похоже на то, что мы заработаем кучу денег. Что до меня, то мне все это не по душе. Уверяю вас, что на борту этого судна есть Иона *». Но он не считал нужным обращать внимание на мои слова. А кок, всякий раз, когда он приходил в каюту и приносил еду, откровенно выставлял напоказ свое недоверие и презрение. Он почти открыто смеялся надо мной, этот негодяй!

— Ну что ж, я терпеливый человек и могу смеяться шуткам над собой не хуже окружающих. К счастью, их было немного. Но зато не было такой каверзы, которой не сыграл бы со мной этот кок. У него был от природы злой характер. «Капитан,— говорю как-то я,— мне еще ни разу не приходилось плавать с таким попутным ветром без того, чтобы не кончилось плохо. На этом судне есть Иона»,— говорю. «Хи-хи»,— фыркает кок. Тут пришел мой черед. «Я знаю, кто этот Иона,— сказал я твердо, и, встав из-за стола, я дал коку такого тумака, что он свалился под койку».

* По библейскому преданию, бог поднял бурю вокруг корабля, на котором находился провинившийся перед богом пророк Иона; буря затихла только тогда, когда Иона был выброшен за борт.— *Прим. ред.*

Сопатый Билл сжал кулак, смахивающий на окорок, и любовно посмотрел на него.

— После этого дела пошли, на мой взгляд, веселее. Мы попали в полосу плохой погоды, и у нас сорвало ветром стаксель-форстеньги. Многие ребята, которые плавали до этого только на паромах, заполучили морскую болезнь. Дня два я простоял у руля, ругая на все лады этих извозчиков. И тут еще этот кок, который выказал похвальное мужество, подмешав зеленой краски в мой суп. Я с подлинным уважением протащил его взад и вперед по палубе шесть раз, буксируя на конце фала.

Сопатый Билл улыбнулся своим воспоминаниям.

— После этого он, казалось, смирился не на шутку. Но в действительности негодяй замышлял самое подлое предательство, про какое я когда-либо слышал.

Тень мировой скорби о несовершенстве человеческого рода на миг омрачила физиономию Билла.

— Значит, так. В первых числах февраля мы поплыли вниз по Кеннебеку в открытое море с грузом льда. Многие из команды дезертировали, но это только показывало, что дисциплина, которую я установил, была крепка. Пятеро из них убежали без жалованья, и это тоже понравилось старику. Когда пробило четыре склянки, мы уже были в открытом море, в десяти милях от берега, и шли курсом на юго-юго-восток; судно было нагружено так, что палуба находилась почти на уровне воды. Я пошел вниз пообедать. И тут нам открылась страшная истина. Этот кок сбежал, ускользнул на берег, где-то в устье реки. В каюте посреди стола мы обнаружили записку, приклеенную зеленой краской. В ней говорилось: «Я не желаю быть мальчиком на побегушках у пары мошенников. Предпочитаю стать призовым борцом. Надеюсь, что на этой работе хоть немного отдохну и успокоюсь. Я взял лампы из каюты, брюки капитана и башмаки помощника в возмещение части моего жалованья и захватил бы оба медных вентилятора и медный компас, но не мог отвинтить их».

— Здесь очень важно запомнить следующее.— Сопатый Билл пошевелил пальцем, формой своей напоминающим болт.— Эти вентиляторы и компас были в ужасающем виде. Нам так и не удалось выправить снова компас. Этим и объясняется, что мы приплыли в Саргассово море,

думая все время, что идем прямо на Ямайку. Но самой страшной бедой было то, что мы лишились кока. «Капитан,— заявляю я,— недаром я твердил вам, что этот проклятый анархист — Иона. А вы мне не верили. Если бы вы позволили мне поступить по-своему,— говорю я,— я бы каждый день после обеда гонял его палками от полубака до нактоуза. Тогда у нас не было бы никаких хлопот»,— говорю.

— Когда живешь в городе и все такое,— продолжал Сопатый Билл с чувством,— подчас не понимаешь, что в море желудок человека играет самую важную роль. Я был выброшен на необитаемый остров и прожил там три месяца в обществе одних только песчаных блох; я терпел крушение в Ледовитом океане, где каждая волна превращается в лед, прежде чем ударится о судно, разбивая его на куски; я проплыл полмили наперегонки с двумя акулами в Индийском океане; на меня напали людоеды в Южных морях, и я был вынужден в порядке самозащиты уничтожить нескольких из них. Ты можешь называть меня человеком слабым, бабой, но, говорю тебе, когда я услышал, что кок дезертировал с корабля, я побледнел и зашатался. Я сразу же подумал об ужасах, грозящих нам, если будет готовить боцман — он был итальянец. Меня бросило в дрожь при одной мысли, что, может быть, придется готовить мне самому.

«Капитан,— говорю,— если мы не вернемся назад, чтобы взять кока, я посажу этот корабль на первую подходящую скалу, только чтобы заняться чем-нибудь и отвлечь свой ум от еды».

— Дело кончилось тем, что мы отправились обратно в Портленд за коком.

— Я был достаточно глуп, чтобы полагать, что с уходом кока мы избавились от старухи-заботы,— продолжал Билл с горечью. Наверное, я был не в себе. Ведь смешно — переменить одного Иону на другого, не так ли? Но именно это мы и сделали. Потому что, хотите верьте, хотите нет, в Портленде не оказалось коков — никого, кроме толстяка, по имени Флиндерс, который пришел на корабль и сказал, что обожает море.

«Что вы подразумеваете под словом «обожаю»? — спросил я этого Флиндерса. — Ступала ли ваша нога на корабль за все время вашей никчемной жизни?»

«Конечно, нет,— говорит он холодно.— Но я учусь на

капитана на заочных курсах. Я уже могу изобразить на бумаге любой узел, и если только мне удастся заполучить в руки секстет,— говорит,— держу пари, что я мог бы определить широту и долготу, если только они окажутся поблизости. Кроме того,— говорит он,— нет такого течения или мели во всех семи морях, которых я не знал бы наизусть. Вопрос 33: «В каком направлении, если оно вообще есть, движется Семилинейное экваториальное североатлантическое течение во время зимнего солнцестояния?» Ответ: «Направляясь на запад через юг, огибая перед тем Мыс Ближнего Света в одной линии со старым сикомором и проходя на полтора румба севернее Уиндвордских островов». Я посмотрел на него свирепо, и он осекся и съезжился. «И еще я могу перечислить все румбы компаса...» — окончил он тихим и слабым голосом.

«Помолчи, Билл,— приказал мне старик.— Послушай, ты, невежественный мешок с кишками,— продолжал он кротко,— нам не нужны еще капитаны на этой шхуне».

«О-о-о»,— протянул разочарованно Флиндерс.

«Но умеешь ли ты готовить?»

«В ходе моих усилий обеспечить себя достаточными средствами для пополнения образования,— чирикает Флиндерс,— я занимался приготовлением пищи в лагере лесорубов. Говоря правду, я прямо оттуда...»

«Очень хорошо,— говорит старик.— Тащи свою подстилку на борт. Мы отплываем через полчаса».

«Кок! — с презрением произносит толстяк.— Кок! И это я, который понимает в навигации, быть может, больше, чем кто-либо другой на этом судне!»

— Капитан знаком снова заставил меня сесть на свое место. Некоторое время Флиндерс задумчиво смотрел на пол: «А почему бы и нет,— сказал он наконец, обращаясь к самому себе.— Ведь это все-таки удобный случай. Я мог бы дослужиться до капитана. Скажите, быстро ли идет продвижение?»

«Более, чем быстро,— говорю я.— С того места, где вы сидите, вас можно продвинуть через световой люк под нактоузом на рубку на полубаке, стремительно провести через кучу всякого хлама в форпике и вдвинуть в камбуз. И все за один час».— Говоря это, я сделал пару недвусмысленных движений. Тут Флиндерс встал.

«Капитан! — закричал он, весь бледный.— Эта личность, совершенно мне незнакомая, угрожает мне, очевидно, физическим насилием. Я требую извинений!»

Сопатый Билл выразительно понизил голос, как того требовало сделанное им затем поразительное признание.

— Капитан Питерс извинился,— сказал он тихонько.— Но не это было самое худшее. «Билл, вспомни о желудке»,— сказал мне старик. И я, я тоже извинился! Но про себя я подумал: «Ну погоди, как только мы окажемся в открытом море, сам Георгий и все святые отцы не смогут спасти тебя от уготованного тебе персонального ада!»

— После этого я занимался некоторое время посвящением нескольких новичков в их обязанности и не сталкивался с Флиндерсом до того, как пробило восемь склянок и я не спустился вниз завтракать. Я человек не злопамятный и поэтому не имел против него никаких дурных намерений. Но что же вы думаете? Вхожу и вижу: за столом сидит наш капитан, около жабер у него выступили этикие пурпурные пятна, а на столе ни тарелок, ни вилок.

«Что за дьявольщина?» — спрашиваю я его.

«Пусть меня обмажут дегтем, если я знаю,— говорит тот с недоумением в голосе.— Я тут сижу один и голодаю. Когда я сошел вниз, здесь торчал кок с пятью или шестью раскрытыми перед ним книгами и занимался *арифметикой!* «Где, черт возьми, мой завтрак!» — взревел я. Он вроде вздрагивает и говорит: «О, простите, капитан, я так увлекся тригонометрией»,— и отправляется на камбуз».

«Флиндерс!» — реву я совершенно вне себя от голода и разочарования. Он появляется в дверях, мурлыкая песенку вроде этой:

На белокрылом
Маленьком челне
Я поплыву
По голубой волне.

«Ах, ты, поганая акуля глотка,— говорю я,— ты почему не приготовил мне обед?»

«Ну, ну,— отвечает он таким срывающимся голосом.— Незачем подымать такой шум. Если вы хотите,

чтобы я готовил для вас, вам лучше всего повесить на кухне маленькое расписание: завтрак — с 7.30 до 9.30; второй завтрак — с 12.30 до 2.00, обед — с 6.00 до 8.30 и т. д. В лагере лесорубов второй завтрак бывал у нас рано. И было бы гораздо лучше, если бы вы сказали мне об этом на час раньше. Кстати, не знаю, по какому праву вы вмешиваетесь в чисто личное дело между мной и моим работодателем?»

— Дружище,— сказал мне Билл,— ты не представляешь, какие усилия я должен был приложить, чтобы сдержать себя. Но это было перед завтраком и, если бы я ударил его, мы остались бы без пищи. «Ну, подожди, пока я позавтракаю»,— повторял я про себя. И ограничился тем, что сказал ему: «Эй ты, ничтожная частица адского огня, я — первый помощник. Понятно? Поверещи-ка у меня еще немного, и школьницы Глочестера повесят еще один венок на памятник неизвестным мертвецам. И вот что: каждый раз, как будешь впредь открывать глотку, произноси «сэр».

«Ах так,— говорит Флиндерс,— теперь вы *меня* оскорбили. За это вы не получите обеда».

«Что?!» — воскликнул я.

«Вы оскорбили мои чувства,— повторяет он.— Я не буду служить вам. Я привык готовить джентльменам. И я вам это докажу, так и знайте».

— Тут я лишь немного встряхнул его и дал ему разок по уху. А он, поверишь ли, упал как мешок с моллюсками и еще разразился громким плачем, совсем как ребенок. Так он и сидел, загораживая сходной трап, готовый лопнуть от пронзительного крика. При этом все его тело дрожало, как висящий против ветра парус, когда меняется направление ветра. Я просто не знал, что делать.

«Вставай немедленно,— проревел я наконец — и убирайся, пока я не дал тебе снова!»

— Но он не двинулся с места, а лишь продолжал всхлипывать и причитать: «Никогда, никогда меня так не унижали. Что бы подумала моя бедная матушка? О мама, мама!» Я ругал его на всевозможные лады — как только мне приходило в голову — и даже пытался ударить его. Но бог мой! Невозможно ударить медузу — в ней нет ничего человеческого!

— К этому времени весь мой аппетит пропал. И в довершение всего команда прислала делегацию узнать, по-

чему им не дают обеда. Тут внезапно начался шквал и стало слышно, как скрипят грузовые стрелы и трещат паруса. Я сгрел в охапку этого толстяка, который давился от слез, чтобы оттащить его в сторону и выйти на палубу, но, клянусь богом, я не мог сдвинуть его с места. Он, должно быть, весил четыреста фунтов. Тогда я вышел из себя, начал бить и толкать его, но он все-таки не двигался.

«Я буду сидеть здесь,— сказал он,— пока этот грубиян не попросит у меня прощения!»

— В результате мне пришлось выползти из каюты через световой люк...

Сопатый Билл погрузился в грустные воспоминания. Он вздохнул, и волны вокруг покрылись белыми барашками.

— Когда я вышел, шкипер задал Флиндерсу нахлобучку. Он сказал ему, что высадит его посреди океана, если тот не будет повиноваться приказаниям. Судя по всему, аргументы такого рода были доступны пониманию этой горничной мужского рода. Во всяком случае, через полчаса обед был на столе, а сам он двигался по каюте с обиженным видом и бледный, огромный, как гора. Кстати, следует сказать, что обед он приготовил первоклассный.

— Но прошло немного времени, и Флиндерс снова начал заноситься. День или два спустя я стоял на вахте у руля, когда мы увидели пару китов. Как раз в эту минуту на палубу вываливается наш верзила кок, вытирая руки передником. Он поднимается на корму, куда ни один кок на моем корабле не осмеливался до сих пор ступить ногой, и при этом весело кивает головой.

«А, киты! — говорит он. — Я на втором курсе выучил все про китобойное дело. Думаю,— говорит,— что вы не очень-то много знаете про китов».

«В свое время я был помощником капитана на трех китобойных судах»,— отвечаю я с горечью и сарказмом. Но он этого даже не заметил.

«Есть три породы китов,— начал он,— молот-рыба, собственно кит и кашалот. Первая порода не имеет абсолютно никакой коммерческой ценности. Вторая — собственно кит — дает подчас от сорока до пятидесяти бочек китового жира. Но больше всего охотятся за кашалотами. Место его обитания теперь ограничено почти исключительно арктическими районами. Однако ранее он водился

в морях умеренного климата. Одно такое животное дает иногда сотни бочек китового жира. Помимо жира, из кита добываются другие продукты — китовый ус, амбра, которая...»

«Эй, убирайся прочь на камбуз! — заорал я. — И если ты только выставишь свою башку наружу, я запущу в тебя румпелем!»

— В другой раз капитан производил наблюдения, а я определял положение корабля. Вдруг сзади тихо подходит Флиндерс, наклоняется над моим плечом и обдает меня запахом лука.

«Дорогой мой, — говорит он, как бы жалея меня. — Все это устарело и просто смешно! Почему бы вам, дружище, не воспользоваться логарифмами? Поймите, что вы никогда не получите строго научных данных из-за своих неверных приемов. Дайте я покажу вам...» И он выхватил у меня из рук бумагу! Я приказал вахтенному по левому борту стать к кабестану, прицепил кока к грузовому крану, и мы искупали его в водах Северной Атлантики. Как он кричал и брыкался!

— Но даже это, казалось, не выучило его уму-разуму. Ему ничего не стоило в разгар обеда войти в кают-компанию с подносом в руках и сказать: «Знаете ли вы, капитан, что это за ветер? Это хвост северо-восточного циклона, который в течение февраля дует с островов Карибского моря через проливы Флориды и отклоняется сначала током теплого воздуха, образованным Гольфстримом, а затем струей холодного воздуха, порожденной Лабрадорским течением». И так до бесконечности. В конце концов мое терпение лопалось и я давал ему по зубам. Тогда он усаживался прямо на пол у сходного трапа и плакал, и вы не могли ни обойти, ни сдвинуть его с места. Частенько я сидел там часами, ожидая, когда Флиндерс уйдет, так как мы не решались открыть световой люк.

— Я рассказываю обо всех этих фактах лишь для того, чтобы ты понял, до какого раздражения мы дошли. То же самое чувствовала и команда. Неуверенность матросов в том, получат ли они обед, и покровительственный тон кока, потому что они — простые матросы, а он — будущий капитан, привели к тому, что все они ненавидели кока жгучей ненавистью. Они завели обыкновение подбрасывать ему на койку плотву, а потом нашли еще лучший

способ рассчитаться с ним—перестали замечать его. Когда он заговаривал с кем-нибудь из них, они вели себя так, как если бы его не было. Разумеется, он не мог открыто высказывать свое недовольство, но такое отношение ужасно оскорбляло его. Вскоре с Флиндерсом совсем перестали разговаривать, но все равно нельзя было заставить его остановить свою мельницу. Всякий раз за едой он общал нам какие-нибудь сведения, да так, что в животе у нас все переворачивалось.

— Впервые мы заметили неладное через три дня после выхода в открытое море. Наблюдения, производимые в полдень, неизменно указывали на отклонение от курса по меньшей мере на три румба. Мы внесли поправку в расчеты, но на завтра произошло то же самое. Я подумал было, что причиной тому небрежность рулевого, и, действуя на основании этой теории, чуть не вышиб из него душу. Несмотря на это, судно по-прежнему отклонялось от курса. Это обстоятельство, а также переменный ветер да еще этот Флиндерс, презирующий наше невежество в навигации, все это вместе взятое, заставило меня немало попотеть в те дни. Кончилось тем, что в один прекрасный день я сказал ему: «Независимо от того, удастся ли мне совершить еще что-нибудь в моей грешной жизни, я увековечу себя в истории тем, что заткну твою амбразуру, Флиндерс»,— и добавил: «Если ты еще раз откроешь в моем присутствии свою пасть, кроме как для удовлетворения законных стремлений' плоти, то я отправлю тебя вместе с твоим изюмовым пудингом к Дездемоне. На этот раз я говорю серьезно». После этого некоторое время было тихо.

— При скорости, с какой мы шли, нам следовало прибыть в Ямайку через одиннадцать дней. Выправление курса и тому подобное должны были, по моим расчетам, отнять у нас еще день или два. Но в течение шести дней небо было затянуто тучами, и мы не могли производить наблюдений. Поэтому мы должны были идти по компасу, а компас, как я уже говорил, был неисправен, хотя мы этого не знали. Так вот. Небо все время затянуто облаками, а мы день за днем идем по ветру. Проходит пять дней, потом еще пять, а земли все не видать и облачность не уменьшается. Погода становится все жарче .

«Не беда,— говорит старик,— во всяком случае, мы идем на юг. Не обязательно же нам прийти на Ямайку,

годится любой остров с жарким климатом. В чем мы нуждаемся, так это в тропиках. Тропик Рака или тропик Красного перца — не все ли равно.

— Так прошло десять дней, а мы все плыли и плыли. Температура с каждым днем повышалась, а бриз слабел. Ужас как было жарко! Скоро мы стали замечать, что в море больше не видно кораблей. Я забеспокоился. Все говорило за то, что мы прошли мимо Ямайки. Уж очень долго мы плыли. Удивляло меня также и то, что мы не встретили на пути никаких островов. Вода, которую брали за бортом для мытья палубы, была так горяча, что можно было обжечься. У нас не было запасов на случай длительного рейса, и питьевая вода стала подходить к концу. В довершение всех бед ветер спал до полного штиля, и однажды утром, выйдя на палубу, я обнаружил, что мы запутались в каше из густых водорослей, простирившихся, насколько хватал глаз, на восток.

Затем показалось солнце, и впервые за две недели или больше нам удалось произвести расчеты. *Мы оказались на четыреста миль южнее и на восемьсот миль восточнее Ямайки!* Флиндерс подавал нам и слышал наш разговор. Он так взволновался, что опрокинул суп на пол каюты. «Капитан! — кричал он. — Я знаю, в чем дело. Об этом говорится в уроке 654 «Экваториальные штили и район их распространения». Мы попали в Саргассово море! Оно образовано пересечением круговых движений Канарского течения и Гольфстрима. Множество покинутых судов...» Тут я скорчил страшную гримасу, и он закрылся как морской анемон. Но он был прав. Мы были именно там, в пятистах морских милях от судоходных линий, при полном штиле, почти без воды и с небольшим запасом продуктов.

— И как раз в эту минуту вбегает матрос и орет: «В трюме четырнадцать футов воды!» Этот Флиндерс только было открыл рот, чтобы заговорить, но я гаркнул: «Заткнись!» И он заткнулся. Правда, он тут же начал очень некстати чему-то улыбаться, этот подлый изменник!

— Итак, открываем мы крышку главного люка и видим: внизу плещется лишь черная масса воды с плавающим поверху ледяным крошевом. «О господи! — заорал Питерс. — Мы получили ужасную пробоину. Ребята, за помпы!» И мы бросились к помпам как одержимые. Мы

откачивали воду весь день и всю ночь и потом измерили уровень воды снова. Воды было на восемнадцать футов, и все льдинки растаяли. К этому времени палуба была почти на уровне моря. Было ясно, что нам следует покинуть корабль, если мы не хотим утонуть. Питерс кружил по судну как большой краб во время отлива. Он никак не мог примириться с этой мыслью. К довершению всех бед резервуары с пресной водой были почти пусты, а продукты иссякали.

— За эти тридцать шесть часов я очень многое обдумал. Нас занесло на сотни миль от пароходных линий и еще дальше от земли. Воды и пищи оставалось очень мало. Мы наверняка останемся без еды, так как даже в лучшем случае нельзя погрузить в лодку столько провизии, сколько хватило бы на плавание в пятьсот миль. Весьма вероятно, что нам придется слопать одного из своих спутников. Я мысленно искал себе наиболее подходящего компаньона, и мой взор упал на Флиндерса. На девять десятых этот человек состоял из жиров, а об его отсутствии пожалеют разве лишь заочные курсы.

— Итак, я остановился на палубе около него и говорю: «Флиндерс, когда мы будем покидать судно, вы должны сесть в мою шлюпку».

«Почему? — спрашивает он удивленно. — Большое вам спасибо, но я поеду с боцманом».

«Вам не следует ехать с боцманом, — говорю я ему мягко. — Он лишь простой матрос. Вы должны ехать со *старшим помощником*».

«Весьма признателен, — говорил тот. — Но боцман сказал, что мне не придется грести в его лодке. Я, — говорит, — *ненавижу* физические упражнения».

— Тут я понял, что боцман, этот закулисный интриган, думает о том же, что и я. «Ладно, — говорю, — в моей лодке вам тоже не нужно будет грести. Больше того, я буду выдавать вам полный рацион, пока хватит провизии».

«Гм, — говорит он и смотрит озадаченно. — Не понимаю, почему все так добры ко мне. Должен сказать, что я с большим облегчением замечаю эту перемену в людях с тех пор, как мы находимся здесь. Все так милы со мной, что я не в состоянии отблагодарить их за доброту. Я *знал*, что когда-нибудь меня оценят». («Эге, — подумал я, — как видно, все на него точат зубы».)

— Примерно около двух часов подходит ко мне Флиндерс и говорит: «Мне очень, очень жаль, но я не могу ехать в вашей шлюпке. Старший рулевой предложил мне, помимо всего, половину имеющейся воды и обещал держать надо мной зонтик, чтобы защищать меня от солнца».

— Тут я потерял терпение. «Ты поедешь в моей шлюпке, понятно?! — закричал я.— В противном случае я пробью дыру на твоей ватерлинии». Как раз в эту минуту из каюты выходит старина Питерс и спускается по трапу. «Что за шум?» — спрашивает он. Флиндерс немедленно начинает жаловаться. «Все эти джентльмены приглашают меня ехать с ними в шлюпке,— говорит он,— потому что у меня такие познания в навигации. Я и не подозревал, что у меня столько друзей. И вдруг этот помощник приказывает мне ехать с ним и угрожает при этом физическим насилием. Ну, а я говорю, что не поеду, не поеду и все!»

И вот я вижу по глазам Питерса, что он начинает понимать. Мысленно он прикидывает, сколько бифштеков, отбивных, ветчины и котлет выйдет из этого человека. «Вы совершенно правы,— говорит он.— Мистер помощник, мне стыдно за вас, сэр! Что же касается вас, мистер Флиндерс, то я буду счастлив, если вы поедете в моей шлюпке!»

«Я, конечно, очень польщен,— говорит Флиндерс,— но старший рулевой, он предложил мне...»

«Я буду счастлив предложить вам то же, что и рулевой, и, кроме того, все, что вы еще захотите».

«Ладно,— заявляет Флиндерс,— Вы ведь знаете, что я мечтаю когда-нибудь стать капитаном. Так вот, если я смогу быть капитаном на первом судне, владельцем которого вы в ближайшее время станете...»

«Согласен,— говорит шкипер, который не собирался обзаводиться другим судном и не имел намерения выполнить обещание.— Условились. Поедете в моей шлюпке».

— Тут я заметил, что он прикидывает в уме, через сколько дней этот кок исчезнет из списков кандидатов в капитаны любого флота мира. Меня охватил страх, и я с ужасом подумал, что же будет со мной.

«Капитан,— говорю я,— вы не захотите, чтобы в вашей шлюпке было слишком просторно. Возьмем ялик: вы,

я и добрый старина Флиндерс отправимся все вместе». — Питерс и я заговорщически посмотрели друг на друга, и в наших голодных глазах отразилось полное взаимопонимание.

«Хорошо, — сказал он. — А теперь давайте отчаливать. В какой-нибудь час нас всех затопит, вода быстро прибывает».

В этом месте рассказа Сопатый Билл сильно скосил глаза, словно стараясь подыскать подходящие слова, чтобы передать картину, вставшую перед его мысленным взором.

— Не буду останавливаться на том, — пробасил он, — как отчалили наши шлюпки и какой вопль вырвался из глоток боцмана и рулевого, когда они увидели, что рыбка соскользнула у них с крючка. Их вопль замер в отдалении, а шлюпки одна за другой отчалили от «Лэдиез Харп» и скрылись за горизонтом. Мы со шкипером устроили на корме удобное ложе из подушек, укрепили над ним раскрытый зеленый зонтик Питерса и уложили поудобнее эту дрянь, этого никчемного увальня. Затем мы отчалили, оставив шхуну покачиваться на волнах, и налегли на весла. Питерс плакал не таясь. Флиндерс, он тоже лил слезы: из чистой симпатии, как он заявил. Итак, мы двинулись в путь по зеркальной глади моря. Солнце палило немилосердно, от водорослей подымалось такое зловоние, какого я не испытывал никогда за все путешествия. В тишине слышался только крик альбатроса, с нетерпением и надеждой ожидавшего мертвечины, да тихое всхлипывание двух идиотов.

Очень скоро Флиндерс вытер глаза и говорит:

«Ладно уж, земля возвращается к земле, прах — к праху. Нечего плакать о погибшем льде. Чтобы отвлечь вас от этого печального события, — говорит он, — я оживлю томительные часы сообщением вам полезных сведений, почерпнутых во время моих занятий. Итак, это Саргассово море своеобразно во многих отношениях. Различные водоросли и водяные растения, которые несут два главных океанских течения Южной Атлантики, под действием сил, создаваемых вихревыми течениями, отклоняются к их внутренней окружности и собираются в центре, где нет течений. Это место и называют Саргассово море. Это море, подобно ступице колеса, постоянно вращается справа

налево, с севера на запад, юг, восток и так далее, и ужасна судьба покинутого командой судна, которое будет следовать по этому курсу без конца».

В этом роде он продолжал часа два, так что я чуть не начал кричать. Но я сдержал свои чувства, утешаясь мыслью, что скоро внутренний механизм, производящий всю эту болтовню, будет перевариваться в моих кишках. Вскоре этот Флиндерс стал клевать носом и преспокойненько уснул. А я и капитан обливались потом и до головокружения работали веслами под палящим солнцем.

Мы думали, что находимся в южной части Саргассова моря, и вместо того чтобы прокладывать себе опасный путь через водоросли в центре моря, мы взяли курс на юго-восток, намереваясь обойти его по краю и двигаться вместе с течением до Канарских островов недалеко от берегов Африки.

Вечером на закате мы съели сухарь, запили его глотком воды и отдохнули некоторое время. На севере виднелись еще мачты «Лэдиез Харп». Затем мы снова взялись за весла.

Очень скоро Флиндерс проснулся и уничтожил пять бисквитов и целую пинту воды. Это было ужасно. Но мы не решались ничего сказать, ведь мы обещали ему полное довольствие. Поев, он закурил трубку и сказал, глядя на небо: «В доброе старое время моряки ночью прокладывали себе путь по морю при помощи Полярной Звезды и Южного Креста. Конечно, Полярная Звезда в этих широтах не видна, но если вы взгляните повнимательнее,— говорит,— вы увидите в северо-западной части небосвода ковш Большой Медведицы. Две звездочки на конце рукоятки называются стрелкой, потому что указывают прямо направление на Полярную Звезду, иначе называемую Арктур, а выше расположено созвездие под названием Кассиопея. Прямо над нашими головами находится так называемый Южный Крест, значение которого было понятно морякам еще в древности. Он...» — Да, к счастью для этого толстяка, он вновь захрапел. Я сдержался, потому что хотел съесть его свеженьким, когда настанет время.

— Проснулся он опять на рассвете, проглотил полдюжины сухарей, две банки варенья и полторы пинты воды. Я попробовал возразить. Он серьезно посмотрел на меня и

оглядел себя со всех сторон. «Что мне две банки джема?» — спросил он. Питерс, тот прошипел мне: «Оставь его. Мы должны сохранить его в хорошем виде».

Вскоре на востоке показалось солнце, как раскаленная докрасна печь, и мы вновь стали грести до изнеможения. Пока мы гребли, этот Флиндерс растянулся во всю длину, устроился поудобнее и начинает: «Я, — говорит, — больше всего интересовался курсом предварительных лекций, посвященных важнейшим вопросам строения моря. Он назывался «Океаны, их «почему» и «отчего»» и имел большое значение для моряков вообще. Держали вы, — говорит, — когда-нибудь в руках этот курс лекций?» — Мы не осмеливались голову поднять. «Так, — продолжал он. — Океан содержит растворы различных химических веществ, из которых главное — натрий, поваренная соль. Этот натрий приносят стекающие сюда реки вместе с мельчайшими частицами других компонентов земли. «Как вы полагаете, отчего океан такой соленый?» — Мы ничего не ответили. «Вы не знаете, — говорит он с чувством превосходства. — Это из-за постоянного испарения морской воды солнцем. Это испарение не уничтожает химических веществ, которые остаются в непрерывно концентрирующемся растворе при постоянно уменьшающемся количестве H_2O , — говорит, — которая непрерывно пополняется испарившейся жидкостью, выпадающей на землю в виде дождя и достигающей океанов в виде речной воды, которая в свою очередь несет новые порции химических веществ».

— Я хочу сказать в связи с этим, — заметил Сопатый Билл, — что страдания первых христианских мучеников — детская забава по сравнению с тем, что было с нами. Мы до того наслушались этой чепухи, что я не знал, куда деваться от бешенства. Большую часть времени Флиндерс спал на подушках под зонтиком, а Питерс и я работали веслами. Мы гребли весь тот день, теряя сознание от зноя, и всю следующую ночь, и следующий день, и следующую ночь. Но к чему все это? Вскоре стало казаться, что жизнь — это не что иное, как бесконечные утомительные взмахи веслами, когда мышцы так устали, что ты вскрикиваешь каждый раз, как делаешь гребок, а голова идет кругом от палящего солнца, и голос Флиндерса доходит словно издалека: «Семь восьмых поверхности земного шара находится под водой».

— А иногда он начинал петь отвратительным хриплым голосом, чтобы подбодрить нас, как он говорил, песенки вроде этой:

Славный удался денек.
Дружно гребите, без лени!
Голову ниже к коленям!

— Это как раз подходило к нам с Питерсом, так как мы изнемогали от гребли и уже готовы были разреветься. На второй день Флиндерс проснулся, съел обильный завтрак и пил из бочонка так долго, что я думал, он уж и не оторвется.

«Вот дела, доложу я вам,— говорит он, ставя на место бочонок. Он пуст».

«Что?!» — вскричали мы, не веря своим ушам.

— Так и есть. Этот кок выпил всю воду, а мы думали, что нам ее хватит еще на пару дней.

Мы с Питерсом сидели ошеломленные, в ужасе от того, что слышали. Но вот Флиндерс опять заснул, и старик обернулся ко мне. Глаза у него кровожадно блестя. «Пора,— говорит он.— Дела идут слишком плохо, чтобы мы могли сохранить его на еду. Лучше мы его укукошим и напьемся его крови». — Я как раз начал освобождать весло, когда Флиндерс неожиданно проснулся.

«Я не уверен,— начал он сонно, трогая себя за шею,— но мне кажется, у меня вскочил чирей. Это все от бездействия,— говорит,— и от нерегулярного питания. Не думаю, что кровь у меня хорошая. Не найдется ли у вас в лодке случайно немного серы и железа»,— говорит.

— Я совершенно взбесился. Прыгая взад и вперед по лодке, я вопил:

«К черту серу и железо. Ты несчастный кусок божьего благословения! Ты знаешь, что ты сделал? Взял и выпил всю пресную воду! Ты увалень, дурацкая баржа с углем. Вот, что ты наделал!»

«Ладно,— говорит он,— я считаю, что было очень неосмотрительно с вашей стороны не захватить побольше воды. Если бы уж я назывался матросом,— говорит,— я бы не допустил такой небрежности».

«Побольше! — заорал Питерс, побелев от бешенства и разочарования.— Послушайте, вы! Побольше! Что ты, не знаешь, что ли, что больше в баках не было?»

«Тогда почему же вы не зачерпнули в трюме? — говорит Флиндерс.— Вам надо было только опустить туда ведро».

«Не троньте его,— говорит Питерс.— Он сошел с ума. Сейчас он испустит дикий вопль и прыгнет за борт, а мы будем иметь удовольствие наблюдать, как он медленно уйдет под воду».

«С ума сошел кто-то другой, а не я,— говорил Флиндерс с горячностью.— Вы хотите убедить меня, что вы, взятые матросы, не знали, что вода в трюме — это растаявшие в теплом море льдины»,— говорит он.

— Казалось, мы с Питерсом уже часа два сидим, вытаращив глаза друг на друга.

«Но почему, почему же ты ничего не сказал?» — прошипел шкипер.

«Я пытался,— говорит Флиндерс,— но вот этот невежественный помощник капитана, вот он, каждый раз грубо приказывал мне прекратить болтовню».

— То, что произошло дальше, можно назвать только одним словом: светопреставление.— Сопатый Билл провел дрожащей рукой по лицу, и рука его стала мокрой от пота. Наконец он продолжал: — Мы оба схватили по веслу и принялись молотить Флиндерса. Но тот вдруг воскликнул:

«Не смейте меня бить, или я предоставлю вас вашему жребию здесь, в открытом море. Никто, кроме меня, не знает течений Саргассова моря и никто не сможет вновь разыскать корабль, если я не скажу, как это сделать».

«Боже мой,— говорит Питерс со вздохом.— А ведь верно, Билл! Садись».

— Я повиновался в отчаянии.

«Вспомните о своем обещании,— говорит Флиндерс,— неожиданно поднявшись.— Я ведь капитан на этой посудине и буду капитаном «Лэдиез Харп» тоже, если мы найдем ее! В путь, веселее! Мы находимся к северо-востоку от нее, на один румб на север. Помните, что я рассказывал вам о центробежном выталкивающем течении? Так вот, это течение выталкивает корабль нам навстречу каждую минуту, и к завтрашнему утру мы его увидим».

— Он убедил нас в своей правоте. И мы стали его слушаться. Бог мой, вот стыдно было смотреть, как два сильных здоровенных матроса со способностями выше среднего

слушались во всем приказаний толстяка-повара, который никогда и на море-то не бывал.

Но я думал, что не все еще потеряно. Как только мы доберемся до шхуны, мы сможем безнаказанно размозжить этому коку голову болтом, ведь команды там под рукой не будет и никто ничего не увидит. Однако я не принял в расчет предательства Эльмира Д. Питерса. Он был ужасно расстроен, просто вне себя от стыда и от бешенства. Не желая ругать самого себя, он озирался вокруг, ища, на ком бы сорвать злость. И этим кем-то оказался я. На закате, когда Флиндерс уснул, я наклонился вперед и выложил свой план, как избавиться от этого кока.

«Отстань,— говорит Питерс в бешенстве.— Не смей никогда обращаться ко мне с этим, ты, чертов негодяй! Если бы ты не затыкал рот Флиндерсу, мы бы никогда не переживали всех этих несчастий».

— И вот от этого-то,— простонал Сопатый Билл,— я навсегда потерял веру в человеческую натуру.

— Конец всад истории — это длинный рассказ о низости и неблагодарности. К утру мы действительно увидели «Лэдиез Харп». Она была погружена не больше, чем когда мы ее покидали, а к полудню мы уже выкачивали шлангом воду из трюма. Чудесная свежая вода, именно такая, как говорил этот лживый паршивец! Затем вдруг поднялся легкий бриз. «Беритесь за насосы»,— говорит Флиндерс, становясь у руля. И мы принялись за дело и измучились вконец, на наше несчастье. На следующий день мы подобрали шлюпку боцмана, а еще через день и шлюпку рулевого. И поверишь ли? Ни один из них и слышать не хотел о том, чтобы убить кока. Но все набросились на меня, как собаки, как только я спустился, и сказали, что расквитаются со мной за строгость, в которой я их держал.

— Но что окончательно сокрушило мне сердце,— сказал Сопатый Билл, задыхаясь от волнения,— это когда Питерс и Флиндерс заставили меня заняться стряпней...

— Конечно, я не мог этого долго выдержать. Однажды ночью, когда мы держали курс на северо-запад, я заметил огни парохода, приближавшегося к нам. Я незаметно спустил на воду ялик и постарался, чтобы меня подобрали на корабль...

Билл устремил свой блуждающий взор на одного купальщика, весело резвившегося как раз за спасательным канатом, и на лице его, пока он молча греб к нему, устано-

вилось выражение свирепой радости, как у тигра, готового броситься на свою жертву.

— И это еще не все,— проговорил он отрывисто.— Этот дьявольский Флиндерс приказал перестать выкачивать воду и повел корабль на север, пока не наткнулся на айсберг, плывший из Гренландии. Он поставил шхуну бортом к айсбергу и пришвартовался к нему, продержавшись так до тех пор, пока вода в трюме не замерзла и не превратилась в глыбу льда. Тогда он взял курс на юго-запад и прибыл в Ямайку, где, как я слышал, заработал миллион долларов чистой прибыли...

Незаметно подкравшись к ничего не подозревающему пловцу, Билл неожиданно испустил несколько грозных воплей и со злостью стукнул его веслом.

— Убирайся за канаты,— загремел его голос, перекрывая крики купающихся и шум прибоя.— Забирай себя и свои бесстыдные голые конечности из этого океана! И не подумай еще крутиться здесь, беспокоить меня и мутить мой океан, ты, несчастное оправдание существования пляжа!

1914 год.

ВОЙНА В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА ВОЙНЫ *

Здесь проходили американские отряды Красного Креста и иностранные медицинские комиссии, направлявшиеся к пораженной тифом Сербии. Это были высокие крепкие сестры и бывалые доктора, смеявшиеся над опасностью и гордившиеся тем, что им предстоит совершить. Через этот же пункт возвращались исхудалые, шатающиеся от слабости люди, перенесшие болезнь; они рассказывали, как умирали их товарищи.

И все же эти свежие силы ехали туда. Пока мы находились в Салониках, через них проследовало еще три английских санитарных отряда общей численностью 119 че-

* Через месяц после того, как Рид вернулся с Западного фронта, куда он ездил в качестве корреспондента журнала «Metropolitan», он отправился в Восточную Европу, чтобы описать происходившие здесь военные события. Его сопровождал канадский художник Бордмен Робинсон, которому «Metropolitan» поручил иллюстрировать рассказы Рида. Они собирались пробыть здесь три месяца, а пробыли семь — с апреля по октябрь 1915 года. И все же им не довелось быть свидетелями ни одного из полных драматизма конфликтов, наступления которых они ожидали. Из Италии они поехали в Салоники, оттуда в Сербию, а затем в Бухарест, но и там не было значительных военных действий. Затем они приехали в Россию и после ряда неприятностей, вызванных поведением царских властей, попали, наконец, в Петроград. Оказавшись затем снова в Бухаресте, Рид решил повидать Константинополь. Здесь ему неофициальным образом предложили покинуть Турцию, потому что его часто видели разговаривающим с армянами. Не обнаружив ничего интересного в Болгарии и еще менее на обратном пути в Сербию и Салоники, Рид и Робинсон сели на пароход и поехали домой через Италию. По иронии судьбы, сразу же после их отъезда разгорелись военные действия: немецкие и австрийские части вторглись в Сербию, и Болгария оказалась под ударом.— *Прим. ред. ам. изд.*

людей. Неопытные молодые девушки, не получившие ни специальной подготовки, ни снаряжения, расхаживали по живописным улицам и базарам в полном неведении того, что ждет их впереди.

«Разумеется, у меня нет никакого опыта по уходу за больными,— сказала одна из них,— но ведь это не трудно, не правда ли?»

Услышав это, лейтенант британской военно-медицинской службы в отчаянии покачал головой.

«Черт бы побрал этих дураков из Англии, позволивших им приехать сюда почти на верную смерть! — воскликнул он.— И поверьте мне, они хуже чем бесполезны. Первыми заболевают, и нам же придется ухаживать за ними».

Само собой разумеется, каждые пять минут распространялись новые слухи. Днем и ночью на улицах и в кафе появлялись все новые, сменявшие одна другую газеты с сенсационными заголовками:

«Константинополь пал!»

«Сорок тысяч англичан убито на полуострове!»

«Турецкие революционеры убивают немцев!»

Однажды вечером толпа возбужденных солдат с флагами стремительно промчалась по дамбе, оглашая воздух радостными криками: «Греция объявила войну!»

Город наводняли шпионы; немцы с наголо обритыми головами и лицами, обезображенными рубцами от рапир, выдавали себя за итальянцев; австрийцы в зеленых тирольских шапочках представлялись турками; в кафе сидели англичане с чудаковатыми манерами и, выпивая и беседуя, внимательно прислушивались к многоязычному гомону; эмигранты-магометане из партии старотурков заговорщически шептались по углам. Греческие агенты тайной полиции меняли по четырнадцать раз в день одежду и форму своих усов.

Изредка на безбрежной глади моря медленно вырастал французский или английский военный корабль, плывущий с востока. Он пришвартовывался в доках для ремонта. Тогда по городу днем и ночью бродили пьяные матросы.

Таким образом, Салоники нельзя было назвать нейтральным городом. Помимо того, что по его улицам бродили армейские офицеры, каждый день сюда прибывали

британские корабли с боеприпасами для сербского фронта. Ежедневно машины, груженные английскими, французскими и русскими пушками, уходили на север, исчезая в мрачных горах. Мы видели собственными глазами, как английская канонерка, поставленная на специальную платформу, начала свое долгое странствование к Дунаю. И, наконец, через Салоники доставлялись французские аэропланы с десятками пилотов и «механиков», проезжали русские и британские моряки.

С утра до вечера сюда стекались беженцы: политические эмигранты из Константинополя и Смирны, европейцы из Турции, турки, опасавшиеся хаоса, который последует за крушением империи, греки из Леванта. Беженцы, прибывшие на лодках из Лемноса и Тенедоса, разнесли чуму, завезенную туда индийскими войсками. И еще сейчас она свирепствует в нижних перенаселенных кварталах города.

Постоянно можно было наблюдать печальные процессии, медленно передвигавшиеся по улицам города: мужчины, женщины и дети с окровавленными ногами ковыляли рядом с разбитыми тележками, на которых лежала кое-какая рухлядь, вынесенная из жалких крестьянских хижин. Сотни греческих священников из монастырей Малой Азии плелись по улицам в своих потертых черных рясах, высоких, рыжих от пыли шапках и с обмотанными тряпками ногами, неся за плечами пожитки, сложенные в грубый мешок. На утопанных двориках старых мечетей, в тени портиков с колоннами, раскрашенных красной и голубой краской, толпились полузакрытые покрывалами женщины с черными платками на головах, безучастно глядя в пространство или тихо оплакивая своих мужей, взятых в армию. Среди поросших сорняками могил различных хаджи играли дети. Тощие узелки с пожитками были свалены по углам.

Однажды ночью мы шли по пустынному кварталу доков и складских помещений, где днем царит такое шумное оживление. Из одного слабоосвещенного окна до нас донеслись топот и пение. Мы посмотрели через стекло. Это был портовый кабачок — низкое сводчатое помещение с плотно утрамбованным земляным полом, грубым столом и стульями, грудами черных бутылок и вделанными в

стены бочками. С потолка свешивалась, покачиваясь и чадя, одна-единственная лампа. За столом сидело восемь человек, выводивших заунывно жалобную восточную песню и отбивавших такт стаканами. Внезапно кто-то из них увидел в окне наши лица. Песня оборвалась, все вскочили на ноги. Дверь распахнулась, к нам потянулись руки и втащили нас в кабачок.

— Entrez! Pasen ustedes! Herein! Herein! * — громко закричали нетерпеливо обступившие нас люди, как только мы вошли в комнату. Невысокий лысый человек с бородавкой на носу тряс нам руки, восклицая на смеси разных языков:— Выпьем! Выпьем! Что вы будете пить, друзья?

— Но это мы приглашаем вас,— начал было я...

— Это моя лавка! Я никогда не позволю, чтобы иностранцы платили в моем заведении! Вина? Пива? Мاستики **?

— Кто вы? — спрашивали другие.— Французы? Англичане? А, американцы! У меня есть двоюродный брат — его зовут Георгопулос — он живет в Калифорнии. Вы его не знаете?

Один из них говорил по-английски, другой — на грубом жаргоне французских моряков, третий — на неаполитанском наречии, четвертый — на испанском языке, принятом в Леванте, и, наконец, еще один — на испорченном немецком. Все они знали греческий язык и своеобразный жаргон средиземноморских матросов. Превратности войны согнали их со всех концов «Срединного мира» в эту мрачную заводь у салоникских доков.

— Странное дело,— сказал человек, говоривший по-английски.— Мы встретились здесь случайно, никто из нас прежде не был знаком друг с другом. И мы все семеро — плотники. Я — грек из Кили, что на Черном море, он — тоже грек и те двое — греки родом из Эфеса, Эрзерума и Скутари. Тот парень — итальянец, он живет в Алеппо, в Сирии, а этот — француз из Смирны. Прошлой ночью мы сидели здесь, совсем как сегодня, и француз, так же как и вы, заглянул в окно.

Седьмой плотник, который до сих пор молчал, сказал

* Войдите! (на французском, испанском и немецком языках).— *Прим. перев.*

** Крепкий алкогольный напиток.— *Прим. ред.*

что-то на языке, похожем на один из немецких диалектов. Хозяин кабачка перевел:

— Этот человек — армянин. Он говорит, что всю его семью убили турки. Он хотел объяснить вам это на немецком языке, которому научился, работая на Багдадской железной дороге.

— Там, в Смирне,— воскликнул француз,— я оставил жену и двоих ребятишек. Я уехал тайком на рыбацкой лодке.

— Бог знает где теперь мой брат,— покачал головой итальянец.— Солдаты забрали его. Оба мы не могли убежать.

Тут хозяин принес вина, и мы подняли стаканы перед его сияющей улыбающейся физиономией.

— Вот он какой,— сказал, жестикулируя, итальянец.— У нас нет денег. Он нас кормит и поит, и мы, несчастные беженцы, спим здесь на полу. Господь, конечно, воздаст ему за его доброту!

— О да! Бог вознаградит его,— согласились другие, потягивая вино. Хозяин истово осенил себя замысловатым крестным знаменем, принятым в православной церкви.

— Богу известно, как я люблю общество,— сказал он.— Да и нельзя же в такое время выкидывать на улицу обездоленных людей, тем более таких приятных собеседников. К тому же, когда есть работа, плотники хорошо зарабатывают; когда-нибудь они расплатятся со мной.

— Хотели бы вы, чтобы Греция вступила в войну? — спросили мы.

— Нет! — воскликнул кто-то. Другие с угрюмым видом отрицательно покачали головой.

— Дело в том,— медленно заговорил грек, объяснявшийся по-английски,— что эта война выгнала нас из наших домов и лишила работы. Для плотников теперь нет работы. Война уничтожает, а не строит. А плотник создан, чтобы строить.— Он перевел эти слова молчавшим слушателям, и те одобрительно зашумели.

— Ну, а как быть с Константинополем?

— Константинополь — Греции! Константинополь — греческий город! — крикнули двое плотников. Остальные ожесточенно заспорили.

Итальянец встал и поднял стакан:

— Evviva (да здравствует) международный Константинополь! — крикнул он. Все одобрительно зашумели, вскочив на ноги. — Константинополь должен принадлежать всем!

— А теперь, — сказал хозяин, — песню для иностранцев!

— Что вы пели, когда мы вошли? — спросил Робинсон.

— Арабскую песню. А сейчас давайте споем настоящую турецкую! — И, откинув голову назад, собеседники затянули жалобную песню, отбивая такт негнушимися пальцами. На столе подпрыгивали и звенели стаканы.

— Еще вина! — крикнул возбужденный хозяин. — Что за песня без вина?

— Господь вознаградит его! — проговорили семеро плотников сдавленными от волнения голосами.

У итальянца был сильный тенор: он спел «Сердце красавиц». К нему присоединились другие с восточными импровизациями. Затем потребовали американскую песню, и мы с Робинсоном должны были спеть песню «Тело Джона Брауна». По просьбе слушателей мы повторили ее четыре раза.

Затем на смену музыке пришли танцы. При мерцающем свете полупогасшей лампы хозяин повел за собой в коло — танце всех балканских народов — громко топящее трио. Неуклюже били оземь большие сапоги, раскачивались руки, шелкали пальцы; в коричневом полумраке и желтом свете лампы развевались рваные одежды... Затем последовал арабский танец, весь состоящий из покачивания телом, синкопированных скользящих шагов и медленного кружения с закрытыми глазами. К утру мы уже давали нашим друзьям уроки бостона и токитрота... Так окончилась встреча с семью плотниками из Салоник...

СЕРБИЯ

Мы натерлись с головы до ног камфарным маслом, смазали керосином волосы, наполнили карманы нафталиновыми шариками, посыпали нафталином все вещи и сели в поезд, до такой степени пропахший формалином, что наши глаза и легкие словно обожгло негашеной известью. Американцы из конторы «Стандард ойл» в Салониках приплелись на вокзал, чтобы проститься с нами...

Таковы были обычные предосторожности путешественника, едущего в Сербию, страну, где свирепствовали тифы: брюшной, возвратный и загадочный и жестокий сыпной тиф...

Теплая погода и прекращение весенних дождей уже начали оказывать сдерживающее влияние на эпидемию — вирус становился слабее. Теперь в Сербии насчитывалось лишь сто тысяч больных, и в день умирало всего по тысяче человек, не считая случаев смерти от ужасающей постельной гангрены. Вероятно, ужаснее всего было в феврале, когда на улицах валялись в грязи сотни умирающих и метавшихся в бреду людей, для которых не хватало мест в больницах.

Иностранные медицинские миссии понесли тяжелые потери. Умерло около 50 священников, заразившись от умирающих во время отпущения грехов. Из четырехсот случайно набранных в армию врачей, с которыми сербская армия начала войну, осталось в живых менее двухсот. Но дело было не только в тифе. По большим дорогам и в отдаленных деревнях свирепствовали оспа, скарлатина и дифтерия. Уже были отмечены первые случаи заболевания холерой, которая с наступлением лета неизбежно должна была распространиться в этой опустошенной стране, где над полями сражений, селениями и дорогами стоял смрад от едва засыпанных землей тел, а источники были заражены трупами людей и лошадей...

Ущелье реки Вардар, служившее нейтральной полосой между греческой Македонией и высокогорными долинами Новой Сербии, переходило в широкую долину. Ее окаймляли каменистые холмы, за которыми лежали более высокие горы, с проглядывавшими изредка крутыми снеговыми вершинами. Из всех каньонов сбегали вниз быстрые горные потоки. Воздух в долине был горячий и влажный; от реки отходили оросительные каналы, обсаженные большими ивами; они пересекали плантации с молодыми посадками табака, многие акры тутовых деревьев и полосы распаханной земли — тяжелых жирных суглинков, похожих на те, где выращивается хлопок. Каждое поле, каждый клочок земли здесь были возделаны. Выше, на обнаженных склонах гор, паслись козы и овцы, за которыми присматривали бородатые крестьяне с огромными посохами, одетые в овчинные куртки. Женщины пряли на деревянных пряхках шерсть и шелк. Вдоль избитой колеи,

где коренастые низенькие быки и черные буйволы тащили скрипящие повозки, в беспорядке теснились белые с красными крышами деревенские дома. Изредка попадался украшенный галереей *конак* какого-нибудь богатого турка, ревнителя старины, обсаженный высокими желто-зелеными ивами или цветущими, наполненными ароматом миндальными деревьями. А над городком, вросшим в землю, возвышались то стройный серый минарет, то купол греческой церкви.

На станциях толкалась самая разношерстная публика: мужчины в тюрбанах, фесках, коричневых меховых шапках конической формы, одетые в турецкие шаровары или длинные рубашки с поясами из домотканого кремового холста и кожаные куртки, богато расшитые разноцветными кругами и цветами; некоторые были в костюмах из тяжелой коричневой шерсти, украшенной узором из черной тесьмы, высоко подпоясанные несколько раз красными шарфами. На ногах они носили кожаные сандалии с загнутыми кверху носами, которые прикреплялись к икрам ремнями, обвивавшими ногу до колена. Здесь же были женщины в своих турецких чадрах и панталонах или в кожаных и шерстяных жакетах, вышитых яркими цветами и подпоясанных кушаками из грубого шелка, какие ткут в деревнях. Из-под жакетов виднелись нижние юбки, черные, затканые цветами фартуки и тяжелые верхние юбки в пеструю клетку, подобранные сзади. Головы их покрывали желтые или белые платки. На многих были черные платки — единственный знак траура. И всегда и повсюду попадались цыгане — мужчины в ярких головных уборах, напоминающих тюрбаны, женщины с золотыми серьгами в ушах и в пестрых тряпках, сплошь состоящих из лоскутков и заплат, которые заменяли им платья. Босые, они плелись по дорогам со своим табором или коротали время около покосившихся черных шатров своего лагеря.

Высокий бородатый человек в черном отрекомендовался нам на французском языке как сербский офицер тайной службы, которому поручено присматривать за нами. Однажды к нам поднялся щеголеватый молодой офицер и спросил его о чем-то, кивая на нас. Наш бородач что-то ответил.

— *Добро!* Хорошо! — сказал он, щелкнув каблуками и взяв под козырек.

— Через эту станцию проходит граница,— пояснил офицер тайной службы, когда поезд тронулся опять.— Теперь мы в Сербии.

Мимо нас промелькнуло несколько высоких изможденных людей, ожидавших на платформе. Через плечо у них висели ружья с примкнутыми штыками. Кроме фуражек, на них не было никакой форменной одежды.

— Чего вы хотите? — улыбаясь, пожал плечами наш друг.— У нас, сербов, уже не осталось формы. За три года мы пережили четыре войны — первую и вторую балканские войны, албанское восстание и, наконец, теперь... Вот уже три года, как наши солдаты не меняли одежды.

Теперь мы проезжали узкую полосу земли, усеянную небольшими деревянными крестами, отстоявшими на три шага друг от друга и похожими на деревянные подпорки на виноградниках. В течение пяти минут они бежали мимо поезда.

— Тифозное кладбище в Гьевгъели,— пояснил лаконично наш провожатый. Их были тысячи, этих маленьких деревянных крестов, и каждый отмечал собой могилу!

Затем показалось большое вытопанное пространство на склоне холма, все изрытое — наподобие пчелиных сот — дырами, уходящими в глубь коричневой земли, и бородавчатое от бугров насыпанной глины, образующих круглые землянки. Люди то и дело вползали в эти дыры и выползали из них. Это были оборванные, грязные парни, одетые очень пестро, в полуформенную одежду, с ружейными ремнями, скрещенными на груди, как у мексиканских революционеров. В промежутках между землянками стояли пирамиды из ружей и пушки, соединенные с бычьей упряжью. С полсотни повозок без рессор выстроились в стороне, поодаль паслись быки с путами на ногах. Ниже землянок, у подножья холма, люди пили желтую воду из реки, которая протекала через десятки зараженных эпидемией деревень, расположенных по ее течению. Вокруг костра сидели на корточках человек двадцать солдат и смотрели, как поворачивается над огнем туша барана.

— Этот полк прибыл для охраны границы,— пояснил наш друг. Именно здесь болгарские комитаджи пытались на прошлой неделе пробиться и перерезать железную дорогу. В любую минуту они могут прийти опять... Сделало ли это болгарское правительство на свой страх и риск или

им заплатили за это австрийцы, этого никто на Балканах вам не скажет.

Теперь через каждые четверть мили мы проезжали мимо хижин, грубо сделанных из прутьев и глины. Перед каждой стоял оборванный, с ввалившимися щеками солдат, страшно грязный и похожий на умирающего с голоду, но с винтовкой в руках. По всей Сербии можно встретить таких людей, как бы последнюю отчаянную вспышку ее мужской силы,— людей, которые живут в грязи, едят впроголодь, одеваются в лохмотья, охраняя давно заброшенные пути железных дорог.

Сначала кажется, что между этой страной и греческой Македонией нет никакой разницы. Те же самые деревни, только немного более запущенные: крыши с выпавшей черепицей, стены, с которых облупилась белая краска; такие же люди, только их меньше, и это большей частью женщины, старики и дети. Но вскоре разница становится ощутимой. Тутовые деревья здесь заброшены, на полях лежит прошлогодний сгнивший табак. На заросших сорняками полях, не паханных по году или больше, торчат стебли кукурузы. В греческой Македонии обработана каждая пядь земли, пригодной для земледелия. Здесь же едва лишь одно поле из десяти носит на себе следы обработки. Только однажды мы увидели двух быков, погоняемых женщиной в ярко-желтом платке и очень пестрой юбке, которые тащили за собой деревянную соху, вырезанную из изогнутого дубового сука. За сохой шел солдат с винтовкой, болтавшейся на плече.

Указывая на них, офицер тайной службы сказал:

— Все мужчины сербы находятся в армии или погибли, а быки отобраны правительством для транспортировки пушек и обозов. Но с декабря, после того как мы прогнали австрийцев, сражения прекратились. Поэтому правительство рассылает солдат и быков по всей Сербии, всюду, где они нужны, чтобы помочь в пахоте.

Как часто в деталях, подобных этим, перед нашим мысленным взором вспыхивала яркая картина этой страны мертвых; страны, пережившей две кровавые войны, которые унесли цвет ее юности, перенесшей двухмесячную партизанскую кампанию, а затем эту ужасную борьбу с величайшей военной державой на земле и в довершение всего — опустошительную чуму. Гьевгьели и Валиево пользовались славой самых чумных мест в Сербии. Де-

ревья, станция, строения — все было опрыскано раствором хлорной извести. Вооруженная охрана стояла на страже у изгороди, за которой теснилось человек сто громко переговаривавшихся оборванных людей. Здесь был карантин. Мы посмотрели через изгородь на широкую грязную улицу, грубо вымощенную булыжником. С обеих сторон ее обступали одноэтажные строения, побелевшие от дезинфицирующих средств. Почти над каждым домом хлопал черный флаг — знак того, что здесь побывала смерть.

На платформе зазвонил колокол. Начальник станции загудел в рожок, паровоз свистнул, и поезд тронулся...

Поздно вечером мы остановились на разъезде, чтобы пропустить воинский состав — дюжину открытых платформ, набитых солдатами в самой разнообразной форме, закутанных в топорщащиеся, ярко окрашенные плащи. Начинал моросить дождь. Скрипач цыган играл дикую мелодию, поддерживая подбородком свою однострунную грубо сделанную скрипку, напоминающую по виду лошадиную голову. Лежащие кругом солдаты пели недавно сочиненную балладу о поражении австрийцев.

В каждом полку имеется двое или трое цыган, которые передвигаются вместе с войсками, играя на сербской скрипке или волынке. Своей игрой они сопровождают песни, которые неустанно сочиняют солдаты: любовные песни, гимны в честь побед, эпические былины. Повсюду в Сербии они — народные музыканты, переходящие с одного сельского праздника на другой, аккомпанирующие песням и пляскам. Странное превращение! Цыгане фактически заменили прежних странствующих бардов, «гусляров», которые из поколения в поколение разносили по отдаленным горным долинам старинные народные былины и баллады. И в то же время они единственные в Сербии люди, не имеющие права голоса. У них нет ни домов, ни деревень, ни земли — только шатры и полуразбитые повозки.

Мы бросили несколько пачек сигарет солдатам на платформе. Сначала нам показалось, что они не поняли, в чем дело. Они повертели их в руках, затем открыли и посмотрели на нас тяжелым, недоуменным долгим взглядом. Внезапно их словно озарило светом; они улыбнулись и закивали нам головой: «Фала», — крикнули они приветливо. «Фала лепо! — Большое спасибо!»

ДОЛИНА ТРУПОВ

Во время второго своего вторжения австрийцы захватили вершину горы Гучево и окопались там. Под их уничтожающим огнем сербы шаг за шагом карабкались по восточному склону горы, пока их окопы тоже не достигли узкого гребня. Здесь на вершине дикой горы вдоль десятимильного фронта разыгралась странная «битва над облаками», которая длилась пятьдесят четыре дня и закончилась отступлением сербов только потому, что третье вторжение австрийцев опрокинуло их линии под Крупенью. Но после поражения под Валиевом австрийцы оставили Гучево без сопротивления.

Симпатичный молодой капитан, сопровождавший нас, был некогда офицером комитаджиев, которого правительство послало подготовить мятеж сначала в Македонию, а затем в Австрийскую Боснию и Герцеговину.

— Прежде чем мы завербовались добровольцами в отряды комитаджиев,— сказал он,— правительство направило нас в берлинский и венский университеты изучать вопросы подготовки революций, и в частности итальянского Рисорджименто.

Мы свернули на скверную проселочную дорогу с глубокими колеями, затем на простую тропинку, по которой могли пройти только мулы и пешеходы. Тропинка шла вверх по спирали среди огромных ясеней и дубов и терялась в быстрых горных ручьях и зарослях кустарника. После часа тяжелого подъема мы достигли вершины первой горы, с которой виден был головокружительный пик Эминовых Вод, как окрестили его турки-старожилы. Громадный пик поднимался над маленькой долиной, сверкая свежей зеленью молодых деревьев и ослепительным блеском черных шишковатых скал.

В лощине, расположенной на значительной высоте между холмами, белые дома деревни наполовину тонули в пенистом море цветущих слив. Широко зияли проемы окон, от ветра распахивались и захлопывались двери. Женский голос за невидимой стеной, звучащий пронзительно и монотонно, по временам переходивший в истерические вскрикивания, выводил заунывную песню скорби по мертвым. Капитан остановил свою лошадь и громко позвал хозяев. Через некоторое время из глубины сада появилась худая, изможденная женщина.

— Есть у тебя *ракия*, сестрица?

— Есть.— Она скрылась на минуту и вернулась с каменным кувшином и сосудом с узким горлышком, предназначенным для питья.

— Что это за место?

— Это деревня Богатое, здешние жители делают *ракию*.

— Где же весь народ?

— Все умерли от пятнистой лихорадки (тифа).

Мы пришпорили лошадей и поехали дальше. Вокруг царило полное безмолвие, напоенное солнцем, запахом цветущих слив и жужжанием пчел. Плач замер позади. Проезжая дорога кончилась. Впереди простиралась горная тропа, которой обычно никто не пользовался, кроме охотников и козьих стад, пасшихся на вершине Гучева. Теперь же вся она была вытоптана тысячами ног и изрезана колеями от орудий, которые протаскивались через скалы и кустарники.

— По этой дороге армия поднялась на Гучево,— сказал капитан.— Эти следы оставлены пушками, которые мы тащили наверх.— И он указал на нависшую вершину Эминовых Вод.— Лошади тут не годились, быки тоже подыхали от усталости. Поэтому пушки люди тащили на себе — по сто двадцать человек на каждое орудие.

Тропинка шла, извиваясь, вверх по склону горы через прыгающий по камням поток, который мы перешли вброд. Здесь она прерывалась. На другой стороне ручья почти отвесно поднимался глубоко изрезанный склон холма высотой примерно пятьсот футов. Мы спешили и повели на поводу своих спотыкающихся горных лошадок, двигаясь зигзагом от одного земляного уступа к другому и лавируя меж осыпающимися камнями.

— Им понадобилось три дня, чтобы поднять туда пушки,— сказал запыхавшийся капитан.

Так, двигаясь пешком, отдыхая, а на ровных местах проезжая верхом короткие расстояния, мы поднялись лесом, одевающим вершину горы, на высоту примерно тысячи футов. Перед нами была площадка, усеянная медными гильзами, кожаными постромками, ключьями сербской форменной одежды, колесами от разбитых орудийных передков. Повсюду в лесу были разбросаны покинутые шалаши, сооруженные из ветвей и листьев, и пещеры, вырытые в земле, в которых сербская армия жила на снегу

в течение двух месяцев. Еще выше мы заметили, что, в то время как нижняя часть деревьев была покрыта листвой, вершины их как бы омертвели. По мере того как мы поднимались, линия омертвления спускалась все ниже к земле, так что вскоре вся верхняя половина леса, там, где злобный град пуль сорвал с деревьев верхушки, представляла собой торчащие вверх изломанные сучья. Затем шли деревья, совершенно лишенные ветвей. Мы пересекли две линии глубоких траншей и поднялись на голую вершину Гучева, на которой тоже когда-то рос лес, а теперь не осталось ничего, кроме расщепленных пней с блестками вбитого в них свинца.

По одну сторону этого открытого пространства находились сербские окопы, по другую — австрийские. Каких-нибудь двадцать ярдов отделяли их друг от друга. Как сербские, так и австрийские окопы прерывались огромными ямами сорока футов в окружности и пятидесяти футов глубиной. В этих местах противником были произведены подкопы и взорваны заложенные мины.

Поверхность земли между ямами была вздыблена беспорядочными нагромождениями глины. Присмотревшись поближе, мы увидели потрясающие вещи: из этих маленьких холмиков выглядывали обрывки форменной одежды, черепа с выпачканными в земле волосами, на которых еще висели клочья мяса, белые кости с гниющими кистями рук, окровавленные ноги, торчащие из солдатских сапог. Нестерпимый смрад стоял здесь. Стаи полудиких собак рыскали на опушке леса. Видно было, как две из них рвали что-то, полузарытое в земле. Не говоря ни слова, капитан вытащил револьвер и выстрелил. Одна собака зашаталась, упала в судорогах и затихла, другая убежала с воем за деревья. И тотчас же из глубины леса со всех сторон раздался в ответ жуткий волчий вой, замерший вдали, за много миль от поля битвы.

Мы шли по мертвым — так густо они лежали, — иногда попадая ногами в ямки, полные гниющего мяса, и давя с хрустом кости. Маленькие углубления внезапно проваливались, образуя глубокие ямы, кишасшие червями. Большинство трупов было покрыто лишь тонким слоем земли, частично смытой дождем, а многие вовсе не были похоронены. Целые груды мертвых тел австрийцев лежали на земле в том же положении, в каком их застала смерть в момент отчаянной атаки, — в позах борющихся не на

жизнь, а на смерть. Между ними попадались и сербы. В одном месте тесно переплелись два полусгнивших скелета — австрийца и серба. Руками и ногами они сжимали друг друга в мертвой хватке, и даже теперь их невозможно было оторвать друг от друга. *Позади* линии австрийских окопов шла изгородь из колючей проволоки. Она наглядно показывала, каково было настроение у людей, загнанных в эту мышеловку. Ведь в большинстве своем это были сербы из славянских провинций Австрии, которых под дулом револьвера погнало сражаться со своими братьями.

На протяжении шести миль вдоль вершины Гучева мертвецы нагромождены огромными штабелями.

— Их здесь десятки тысяч, — сказал капитан.

С того места, где мы стояли, открывался вид на сорок миль кругом. За серебряной лентой Дрины виднелись зеленые горы Боснии, маленькие белые деревушки и уходящие вдаль дороги. Кругом расстилались равнины полей, местами желто-зеленые от нового урожая, местами коричневые от пахоты. Среди приветливых деревьев в излучине реки пестрели башенки и дома австрийского города Сворника. Далеко на юг тянулась линия отдаленных вершин Гучева, которая то поднималась вверх, то круто шла вниз. Казалось, они двигались: столько в них было жизни. Параллельно линии гор извивалась, насколько хватал глаз, двойная линия окопов. Между окопами лежала зона мертвого пространства...

Мы ехали мимо находившихся в полном цвету фруктовых садов, мимо больших лесов, где росли дубы и буки и цвели каштаны, мимо высоких холмов, склоны которых то и дело расступались, образуя сотни высокогорных лужаек, покрытых волнующейся, как шелк блестящей на солнце травой. Повсюду из ложбинок текли ручьи, и прозрачные струи прыгали по камням заросших зеленью ущелий, спускаясь с Гучева, прозванного турками Водяной Горой, — Гучева, пропитанного запахом разлагающихся трупов. Вся эта часть Сербии питалась водой из рожденных на Гучеве источников. С другой стороны горы они стекали в Дрину, а оттуда в Саву и Дунай, орошая земли, где миллионы людей пили эту воду, мылись в ней и удили рыбу. Отравленные воды стекали с Гучева в Черное море...

РОССИЯ

Холм. Где-то здесь среди теснящихся друг подле друга крыш и шпилей находилась штаб-квартира генерала Иванова — главнокомандующего всеми русскими армиями юго-западного фронта, самого влиятельного лица после великого князя Николая Николаевича. Наконец-то перед нами был человек, имеющий достаточно полномочий, чтобы разрешить нам посещение фронта.

Часовой у штаба заявил нам, что все уже легли спать.

— Лютчая гостинитса! — сказали мы извозчику по-русски. Машинально мы начали искать глазами гостиницу «Бристоль», которую можно найти в любом городе, городке и деревне европейского континента. Но она разделила судьбу других гостиниц «Бристоль», пришедших повсеместно в упадок. Лучшей гостиницей оказалось трехэтажное оштукатуренное здание. Оно стояло посреди круто подымавшейся вверх улицы в перенаселенном еврейском квартале. На вывеске было по-русски написано «Английская гостиница». Но по-английски здесь, конечно, никто не говорил. Говорившие на английском языке постояльцы сюда никогда и не заезжали. Зато низенький черноусый поляк, который, обливаясь потом, метался по комнатам в ответ на крики «номерной» нетерпеливых гостей, знал две французские фразы: «Tres jolie» и «Tout de suite»*. Кроме того, *гашейн* — хозяин заведения — говорил по-еврейски.

Когда утром следующего дня мы одевались, пришел офицер с наголо обритой головой и вежливо попросил нас сопровождать его в штаб. Он сказал, что по меньшей мере четыре человека слышали, как мы разговаривали по-немецки, и донесли, что в Холме находятся шпионы. Нас ввели в комнату, где за маленьким столом сидел человек с симпатичным лицом. Улыбаясь, он пожал нам руки и заговорил по-французски. Мы подали ему наши паспорта и рекомендательное письмо от князя Трубецкого.

— Генерал-губернатор Галиции посоветовал нам приехать сюда и попросить у генерала Иванова разрешения посетить фронт.

Он понимающе закивал головой:

* Очень красиво! Сию минуту! (фр.).— Прим. перев.

— Прекрасно. Но мы должны сначала телеграфировать великому князю. Поймите, это простая формальность. Ответ придет самое большее через два-три часа. Пока же возвращайтесь, пожалуйста, в свою гостиницу и ждите там.

Наша комната с двумя слуховыми оконцами и наклонным потолком находилась на третьем этаже, сразу же под крышей. За окнами виднелись старые, залатанные железные крыши сгрудившихся в беспорядке домишек еврейского квартала. За ними возвышались холмы с заросшими густым лесом склонами. Их венчали башни и золоченые купола монастыря. Справа от нас к воротам монастырского парка поднималась вверх по холму вымощенная булыжником улица. Она была застроена по обеим сторонам вперемежку лачугами и большими домами. Слева за крышами домов взору открывались широко раскинувшиеся равнины, тянувшиеся далеко на север: квадраты темных лесов, полей и деревень. Поблизости находилась сортировочная станция, на которой сновали поезда.

Мы ждали весь день, но никто не пришел. На следующий день, не успели мы встать с постели, как вошел с поклоном лысый офицер.

— Великий князь еще не ответил,— сказал он уклончиво.— Но нет никакого сомнения, что ответ последует в течение дня или, может быть, завтра.

— Как завтра! — воскликнули мы в один голос.— А мы думали, что это дело двух или трех часов!

Офицер смотрел куда угодно, только не на нас:

— Его высочество очень занят.

— Не может ли его высочество урвать несколько минут от планирования отступления и заняться нашим делом?

— Потерпите, господа,— пробормотал офицер, испытывая при этом неловкость.— Теперь это дело лишь часа или около того. Обещаю, что с ответом не будет задержки... Пока что мне приказано затребовать у вас документы — все, что у вас имеется.

— Неужели нас заподозрили в шпионаже? — Офицер натянуто засмеялся, давая нам расписку, и ответил отрицательно.

— А теперь,— сказал он,— я должен просить у вас честного слова не покидать гостиницу, пока не придет ответ.

— Значит, мы арестованы?

— О господи, нет. Вы совершенно свободны. Но это важный военный пункт, понимаете...— И, бормоча что-то невразумительное, он вышел как можно поспешнее, чтобы избежать ответа на новые вопросы.

Пятнадцатью минутами позже в нашу комнату бесцеремонно вошел *гашейн* в сопровождении трех казаков. Это были здоровенные парни в высоких меховых папахах, остроносых сапогах и длинных, открытых на груди поддевах. У каждого из них спереди на поясе висел длинный, отделанный серебром кинжал, а на боку тоже длинная с серебряной рукояткой казацкая шашка. Они уставились на нас с бесстрастным выражением на лице.

— Чего они хотят? — спросил я по-немецки.

Гашейн улыбнулся примирительно: — Всего лишь посмотреть на господ.

Когда несколько позднее я направился вниз, один из казаков расхаживал взад и вперед перед нашей дверью. Он посторонился, чтобы пропустить меня, но перегнулся через лестничные перила и крикнул вниз что-то по-русски. Другой казак, стоявший внизу, в передней, выступил вперед. Через дверь, ведущую на улицу, я заметил третьего, смотревшего наверх.

Мы написали негодующую записку генералу Иванову. В полночь пришел полковник, извинился от имени генерала и сказал, что казаков немедленно отзовут (на следующий день их действительно отозвали и поставили внизу у лестницы, откуда они недружелюбно и подозрительно глядели на нас). Что же до нашего ареста, то полковник объяснил нам, что тут дело обстоит очень серьезно: мы проникли в зону военных действий, не запасшись нужными пропусками.

— Откуда нам было знать, какие нужны пропуска? Ведь наши пропуска были подписаны генералами и утверждены в Лемберге князем Бобринским. Что же мы сделали дурного?

— Прежде всего, — сказал он, — вы приехали в Холм, что запрещено корреспондентам. Во-вторых, вы узнали, что в Холме находится штаб-квартира генерала Иванова, а это военная тайна.

В субботу утром явился наш друг — бритый лейтенант, который выглядел мрачнее, чем когда-либо.

— Я должен вам сообщить, господа, одну весьма неприятную новость, — начал он официально. — Великий

князь ответил на нашу телеграмму. Он приказал: «Держать арестованных под строгой охраной».

— А как же с нашей поездкой на фронт?

— Это все, что ответил великий князь.— И он продолжал быстро: — Таким образом, вы, к сожалению, должны оставаться в этой комнате впредь до получения дальнейших приказаний. Часовые у дверей будут к вашим услугам.

— Послушайте! — воскликнул Робинсон.— Что случилось там с вашим глупым великим князем...

— О,—прервал его офицер, явно шокированный.

— Зачем вы нас запираете? Неужели великий князь принимает нас за шпионов?

— Видите ли,—продолжал он неопределенно,— в ваших бумагах оказались странные, необъяснимые вещи. Прежде всего там есть список имен...

Мы объяснили нетерпеливо, наверное в сотый раз, что это имена американских граждан, которые, по нашим сведениям, были застигнуты войной в районе Буковины и Галиции, занятом русскими, и что американский посланник в Бухаресте передал нам этот список для расследования.

Офицер смотрел на нас сочувственно, но недоуменно:

— Но ведь многие из этих имен еврейские.

— Однако они американские граждане.

— А! А...—протянул он.— Вы хотите сказать, что евреи — американские граждане?

Мы подтвердили этот невероятный факт, и он не возражал нам, хотя видно было, что он нам не верит.

Затем офицер отдал распоряжения: мы не должны были покидать комнату ни при каких обстоятельствах.

— Можем ли мы расхаживать по комнате?

— Мне очень жаль,—передернул он плечами.

— Это нелепо,—сказал я.— В чем нас обвиняют? Я требую, чтобы нам разрешили снести по телеграфу с нашими послами.

Он в нерешительности почесал себе затылок и вышел, бормоча, что спросит у своего начальника. Два казака немедленно поднялись по лестнице и начали расхаживать взад и вперед по маленькой передней перед нашей дверью, третий стоял на площадке внизу, четвертый поместился у парадной двери, а пятый взобрался на сарай, расположенный во дворе еврейского дома, прямо под нами, и устремил оттуда неподвижный взгляд на наше окно на третьем этаже гостиницы.

Посоветовавшись, мы с Робинсоном уселись и сочинили дипломатическую ноту русскому правительству, причем на английском языке,— специально, чтобы они потрудились над ее переводом. В ней мы официально извещали всех имеющих к этому отношение лиц, что с сегодняшнего дня мы отказываемся оплачивать наш счет в гостинице. Позвав казака, мы велели ему отнести письмо в штаб.

Было около двенадцати дня. Над широкой польской равниной медленно плыло июньское солнце, ударяя лучами по покатою железной крыше, расположенной прямо над нашими головами. Мы срывали с себя одежду, вещь за вещью, и далеко высовывались из окна, жадно ловя воздух. Слух о знатных пленниках, заключенных на верхнем этаже «Английской гостиницы», успел уже распространиться. Еврейская семья, жившая в доме под нами, высыпала из дверей и стояла, глаза на нас. За изгородью двора собралась молчаливая толпа горожан, тоже почти сплошь из евреев, и безмолвно глядела на наше окно. Они принимали нас за арестованных немецких шпионов.

В тот же вечер вернулся бритый офицер. Он передал нам разрешение отправить телеграммы посланникам и сообщил ответ генерала Иванова на нашу ноту: ему, мол, неизвестно, почему великий князь распорядился нас арестовать. Что же касается счета в гостинице, то это дело будет улажено.

Между тем наши телеграммы канули в безвестность; в течение восьми дней мы не получали ответа. Восемь дней прожили мы в затхлой атмосфере комнаты, находившейся под раскаленной железной крышей. Комнатка была пять шагов в длину и четыре в ширину. У нас не было никаких книг, кроме русско-французского словаря и «Сада пыток», утратившего свою прелесть после того, как мы перечитали его в шестой раз.

Позже, на пятый день, *гашейн* разыскал где-то в городе колоду карт, и мы занялись игрой в бридж. Играли мы до одури, до того, что еще теперь я вскрикиваю от ужаса при виде карт. Чтобы скоротать время, Робинсон нарисовал для меня городской дом и загородную виллу. Он набросал также роскошные городские резиденции для казаков и портреты самих казаков. Что же до меня, то я писал стихи, набрасывал план романа, вырабатывал фантастические планы побега. Через окно мы заигрывали с кухаркой из еврейского дома, расположенного под нами;

мы обращались с речами к жителям, собиравшимся на улице; мы оглашали окрестности проклятиями и распевали непристойные песни; мы расхаживали взад и вперед; мы спали или пытались спать. И ежедневно мы проводили счастливые часы, сочиняя оскорбительные послания царю, Думе, Государственному совету, великому князю, генералу Иванову и его штабу. По нашему настоянию казак передавал их в штаб-квартиру*.

Каждый день рано утром приходил *гашейн* — молодой еврей со смуглым, красивым, но невыразительным лицом, обрамленным шелковистой каштановой бородой. За ним следовал недоверчивый казак.

— Morgen! — кричал он нам на ломаном немецком языке, как только мы высовывали нос из-под одеял.— «Was wollen sie essen heute?» **

— Что у вас есть? — был наш неизменный ответ.

— Spiegeleier-bifstek-kartoffeln-schnitzel-brot-buttertschai ***.

И каждый день мы вынимали наш русско-французский словарь и трудились над ним, пытаясь внести разнообразие в меню. Но хозяин не умел читать по-русски и не понимал нас, когда мы произносили те или иные слова. Поэтому нам приходилось выбирать между яйцами, жестким бифштеком и телятиной и всякий раз запивать это неизменным чаем (не менее шести раз в день). На балконе под нашим окном кипел самовар, и время от времени один из нас бросался к дверям, отталкивая в сторону казака, перевешивался через перила лестницы и рывкал: «*Гашейн!*» Обеспокоенные казаки принимались бегать и звать, двери открывались, из них высовывались головы постояльцев, и, наконец, снизу доносился до нас гулкий крик.

— Что!

— Чай! — ревели мы.— Два чая — скорей!

Мы пытались было заказывать яйца к завтраку, но *гашейн* отказал нам.

— Яйца на второй завтрак, яйца на обед — это мож-

* Продав таким образом шестнадцать дней, Рид и Робинсон были освобождены и получили разрешение поехать в Петроград.— *Прим. ред. ам. изд.*

** Доброе утро! Что вы хотите есть сегодня? (*ломан. нем.*).— *Прим. перев.*

*** Глазунья, бифштекс, картофель, шницель, хлеб, масло, чай.— *Прим. перев.*

но,— сказал он бесстрастно.— Но не к завтраку. Яйца на завтрак очень вредны...

Иногда душными вечерами, когда казак, стоявший внизу на дворе, уставал сторожить нас и отлучался, чтобы перехватить стаканчик, мы вылезали из нашего окна на крутую, покатуую крышу и смотрели оттуда вниз на железные крыши и кишашщие народом улицы города. К югу от нас на холме виднелись два древних шпиля большого старинного католического собора — современника тех славных дней, когда Станислав Понятовский был королем Польши. Ниже нас на теневой стороне улицы находилось ничем не замечательное приземистое здание, где помещались еврейская синагога и хедер — еврейское духовное училище. Из этого здания до нас днем и ночью доносилось заунывное гудение детских голосов, повторявших нараспев тексты из священных книг, и более низкие голоса раввинов и ребе, горячо обсуждавших запутанные вопросы религиозного права.

Прибой волн из России поднимался все выше и захлестывал этот город старой Польши. С нашей крыши видны были огромные воинские казармы и учреждения — огромные здания, фасады которых вытянулись на четверть мили в длину, совсем как в Петрограде. Восемь церквей, строящихся и законченных, возносили к небу свои забавные, луковичной формы башенки, окрашенные красной и голубой краской или отделанные серыми ромбовидными украшениями. Прямо против нашего окна находился Священный Холм. На нем над массой густо разросшихся деревьев возвышались шесть золотых луковиц-куполов, увенчивавших причудливые башни утонувшего в зелени монастыря. По вечерам и воскресеньям гудели и заливались басистые и звонкие колокола. Днем и ночью можно было видеть священников, расхаживавших по улицам. Это были люди с лицами фанатиков, с бородами и вьющимися, падавшими на плечи волосами. Они были одеты в серые или черные шелковые рясы, доходившие до земли. При встрече с ними евреи сходили с тротуара, уступая им дорогу. Теперь монастырь был превращен в военный госпиталь. Группы девушек в красивых белых косынках русского Красного Креста входили и выходили из больших ворот, где постоянно несли охрану двое часовых. Там всегда стояли кучки мол-

чаливых людей, которые с любопытством смотрели через железную решетку. Время от времени раздавался мощный рев сирены. Возникнув вдали, он по мере приближения становился все сильнее и ниже, и вот вверх по крутой улице стремглав пронеслась машина, набитая ранеными офицерами. Однажды проехала большая открытая машина, в которой корчился огромного роста человек, с трудом удерживаемый в лежащем положении четырьмя сестрами. Там, где у него был живот, виднелось кровавое месиво из мяса и лохмотьев. Все время, пока автомобиль подымался на Холм, он душераздирающе кричал. Так продолжалось до тех пор, пока деревья не скрыли машину и не заглушили крика.

Днем в уличном шуме города тонули все прочие звуки. Зато ночью можно было слышать, или скорее чувствовать, раскаты неприятельских орудий, стрелявших менее чем в двадцати милях от нас.

Ежедневно на наших глазах разыгрывалась трагедия евреев в России. По двору дома под нами надменно расхаживал стороживший нас казак. Он важничал здесь, как лорд,— этот смиреннейший раб русской военной машины. Дети, проходившие мимо, далеко обходили его. Девушки, приносившие ему чай, пытались улыбаться его грубым шуткам. Старики вежливо останавливались, чтобы поговорить с ним, но бросали на него взгляды, полные ненависти, как только он отворачивался от них.

Мы обратили внимание на то, что каждые два-три дня у всех евреев, молодых и старых, появлялся на груди маленький бумажный кружок. Однажды утром с таким значком к нам пришел *гашейн*. Это была дешевая гравюра с изображением дочери царя, великой княгини Татьяны.

— Зачем это,— спросил я, указывая на нее.

Он пожал плечами и сказал с горькой иронией.

— Сегодня день рождения великой княгини.

— Но я уже дважды видел на этой неделе на людях такую штуку.

— У великой княгини день рождения бывает каждые два-три дня,— ответил он.— Так по крайней мере говорят нам казаки. Они заставляют каждого еврея покупать и носить в день рождения великой княжны ее изображение. Это стоит пять рублей. Мы всего лишь бедные евреи, слишком невежественные, чтобы знать, когда у великой княгини день рождения. Зато казаки — русские, они-то знают.

— А что если вы откажетесь покупать их? — спросил я.

Он провел многозначительно пальцем по горлу и издал булькающий звук.

Что за отвратительное место был этот двор, полный отбросов, которые выкидывались из двух еврейских домов, и всего того, что постояльцы гостиницы выбрасывали из своих окон. Высокий дощатый забор отделял его от улицы, большие деревянные ворота запирались на мощный засов. Дверь и нижние окна дома тоже были защищены тяжелыми деревянными ставнями, закрывавшимися изнутри. Это делалось для защиты от погромов. К забору был пристроен покатый навес, на который весь день напролет карабкались бесчисленные грязные ребятишки, со смехом и визгом съезжавшие затем оттуда. Часто они лежали там на животах и, высунув носы из-за верхушки забора, подстерегали проезжавших казаков. Малыши с плачем ползали по мусору, покрывавшему двор. Из открытых дверей и окон проникали неизменные запахи кухни.

Но каждую пятницу в этом доме, как и во всех еврейских домах, подымалась суматоха — готовились к субботе. Все женщины надевали свои самые старые рабочие платья. Помои выносились на двор, на пороге дома устанавливалась железная лохань с горячей водой. Воду зачерпывали ведрами и вносили в дом. Слышно было, как внутри скребут, чистят и стучат мокрыми швабрами. Доносилось ритмичное пение работавших там еврейских женщин. Ведра, уже полные грязной воды, опорожнялись обратно в лоханку. Когда ее содержимое приобретало коричневый цвет и густоту супа, из дома вытаскивали все домашнюю утварь — сковородки, глиняную посуду, ножи, вилки, чашки и стаканы — и мыли в этой воде. Колодец был слишком далеко, чтобы зря выливать воду. После этого каждый из детей наполнял водой из лохани ведро и входил в дом, чтобы помыться, а остальные оттирали дверные косяки, подоконники и две каменные ступеньки перед дверью, распевая хором печальную песню.

В дом вносилось белье, висевшее на веревках. Повсюду царило чувство радости и облегчения. Казалось, что исчез давящий мрак будней. Все еврейские лавчонки закрывались рано, и мужчины шли домой небольшими, дружески беседующими группами, как люди, окончившие свое дело. Каждый надевал свой лучший лапсердак, фуражку и

самые блестящие башмаки и выходил на улицу, присоединяясь ко все растущему потоку степенных, одетых в черное людей, направлявшихся к синагоге.

В домах скатывались пыльные дорожки и обнажался белый пол, закрытый все дни недели, кроме субботы и больших религиозных праздников. Из прибранных домов поодиночке выходили одетые в свои лучшие платья женщины, девушки и дети, которые, смеясь и болтая, присоединялись к другим собравшимся на улице женщинам и детям, чтобы посплетничать и похвастаться своими нарядами.

Из нашего окна мы могли видеть угол кухни и сморщенную старую хозяйку, наблюдавшую за тем, как опечатают печи. Было слышно звяканье ключей, которые прятали на день праздника, был виден обеденный стол с рядом подсвечников, субботним хлебом, накрытым салфеткой, и графинчиком с вином и чашкой, приготовленной для молитвы «кидеш».

После ужина дети, чувствовавшие себя стесненно в праздничной одежде, тихо играли в углу, а женщины собирались в группы перед своими домами. По мере наступления темноты в окнах еврейских домов один за другим зажигались огни, которые должны были показать путнику, что дух божий парит над этой крышей. Нам видны были окна длинной скудно обставленной комнаты второго этажа, которая пустовала всю неделю. В этот день в ней собирались мужчины, раскладывая перед собой на столе большие книги. Своими низкими голосами они допоздна распевали звучащие по-восточному псалмы.

По субботам мужчины отправлялись утром в синагогу. В этот день соседи, одевшись по-праздничному, усердно ходили друг к другу в гости. Это был день нескончаемых обедов, которые тянулись с полудня почти до вечера под аккомпанемент веселых песен, распеваемых всей семьей, и под ритмичные хлопки ладоней. Разряженные семьи, вплоть до младенцев, гуляли группами по дороге, огибавшей подошву Священного Холма и выходившей в поле... Затем наступала ночь, а потом снова распечатывались печи, раскладывались дорожки, и опять маленький Яков унылым речитативом отвечал учителю урок. И снова старые одежды, грязь и страх...

Почти ежедневно вверх по улице, которая вела к тюрьме, расположенной за монастырем, двигалась небольшая

мрачная процессия: два или три еврея в их характерных длинных сюртуках и фуражках тащились по дороге с безучастными лицами и безнадежно опущенными плечами. Впереди и сзади них плелись ленивой походкой двое рослых солдат, держа наперевес винтовки с примкнутыми штыками. Мы неоднократно спрашивали *гашейна* об этих людях, но он всегда притворялся незнающим. Куда они идут?

— В Сибирь,— бормотал он нечленораздельно,— или, может быть...— и он делал вид, что спускает курок. *Гашейн* был очень осторожный человек. Но иногда он подолгу задерживался в нашей комнате, поглядывая то на Робинсона, то на меня, как если бы он многое хотел сказать нам, но не осмеливался. В конце концов он качал головой, вздыхал и выходил, минуя бдительного казака и благоговейно касаясь бумажки с молитвой, прибитой к косяку двери.

1916 год.

ПРОДАЛСЯ*

Редактор нью-йоркской «Ивнинг мейл» советовал американцам немецкого происхождения голосовать за Теодора Рузвельта. Кто-то спросил его, почему. Он ответил: «Я знаю, что он не любит немцев. Но немцы должны поддерживать Рузвельта, так как он единственный в Соединенных Штатах представитель германской культуры».

Когда Теодор Рузвельт был президентом, в Вашингтон приехала делегация от штата Мичиган. Она просила его выступить в защиту республики буров, сражавшейся тогда не на жизнь, а на смерть с английским правительством. Один из делегатов рассказал мне, что Рузвельт ответил им с ледяным спокойствием: «Нет, более слабые нации должны уступать место более сильным, даже если им придется исчезнуть с лица земли».

Когда немцы вторглись в Бельгию, полковник Рузвельт сообщил нам на страницах «Аутлук», что это нас не касается. Наша изоляционистская политика, писал он, долж-

* В 1916 году Рид в качестве корреспондента журналов «Metropolitan» и «Masses» присутствовал на съездах Демократической, Республиканской и Прогрессивной партий, выдвигавших кандидатов на пост президента. На съезде Прогрессивной партии Рид был свидетелем измены Теодора Рузвельта партии прогрессистов. Под влиянием широко распространенного движения против монополий они добивались выдвижения Рузвельта на республиканском съезде 1912 года. Когда республиканская олигархия добилась вторичного выдвижения Уильяма Говарда Тафта, не согласные с этим республиканцы, обманутые фальшивым либерализмом Рузвельта, образовали Прогрессивную партию, которая выдвинула его кандидатом на пост президента. Но через четыре года он открыто занял свою прежнюю позицию безудержной апологетики империализма и помог сокрушить движение прогрессистов.— *Прим. ред. ам. изд.*

на проводиться непреложно, пусть даже в ущерб бельгийскому народу.

Эти примеры свидетельствуют о специфически прусском направлении ума, свойственном полковнику. Поэтому мы были поражены, когда впоследствии он выступил в защиту той самой Бельгии, которую так бесповоротно осудил, и явился перед нами в роли поборника «слабых наций». Было ли это рыцарством или симпатией к делу демократии? Мы — скептики — медлили с ответом и выжидали. Но вскоре нам стало ясно, что за этим скрывалась тайная мысль. Все эти разговоры насчет Бельгии постепенно сменились страстной проповедью необходимости создания огромной армии и флота, которые дали бы нам возможность выполнить свои международные обязательства. К ним присоединились ожесточенные нападки на правительство Вильсона за то, что оно не осуществляло в первую очередь того, что требовал полковник. Особенно подчеркивал он при этом трусливый отказ правительства от разгрома мексиканского народа!

Стоило генералу Леонарду Вуду и честолюбивой военной касте нашей страны настроить его соответствующим образом, стоило фабрикантам оружия и агрессивно настроенным финансистам устроить в честь полковника обед, стоило хищникам-плутократам, с которыми он так славно сражался в прошлом, дать ему понять, что его кандидатура на пост президента Соединенных Штатов будет поддержана, как «наш Тедди» выступил в защиту слабых наций за границей и за подавление их на родине; за уничтожение прусского милитаризма и поощрение милитаризма американского; за либерализм во всех его проявлениях, включая финансирование России англо-американским займом, и за консерватизм финансировавших этот заем джентльменов.

Нас не ввел в заблуждение характер рузвельтовского патриотизма. Не были одурачены им и фабриканты оружия и финансовые тресты. Полковник работал на них, и поэтому они поддерживали его. Но множество честных людей нашей страны, помнивших его разглагольствования об «Армагеддоне»* и «социальной справедливости», ду-

* Название места, где, согласно библейскому пророчеству, должна произойти битва между силами добра и зла; в переносном смысле — огромный по масштабам общественный конфликт. — *Прим. ред.*

мало, что Рузвельт все еще на стороне народа. Большинство этих людей, упоенных мечтой о возрождении человечества, собралось в 1912 году под его знаменами. Они пожертвовали значительной долей своего времени, денег, а частично и положением, чтобы следовать демократическому учению нового мессии. Их веры не загасили четыре года диктатуры Джорджа У. Перкинса и Стального треста, в течение которых полковник спокойно допустил, чтобы его соратники погибли политической смертью, затерявшись в толпе,— четыре года, полных таких противоречий и непостоянства, что под конец он сам начал во всю мощь своих легких вопить, призывая к кровожадности, повиновению и действию.

Люди эти не были милитаристами, они были не за войну, а за мир; они вовсе не стремились каким бы то образом служить обществу или повиноваться корпорациям. Они шли за Рузвельтом. Они думали, что в конечном счете он стоит за социальную справедливость. Поэтому они, не рассуждая, глотали все, что он им преподносил, и кричали: «Хотим Тедди!»

В 1912 году Теодор Рузвельт опубликовал свое «Соглашение с американским народом», в котором уверял, что никогда не покинет его, и утверждал незыблемость отстаиваемого им принципа «социальной справедливости». В этом «соглашении» был весь смысл существования Прогрессивной партии. И действительно, если бы прогрессисты не верили, что «Соглашение с американским народом» снова обретет силу, то вряд ли они после четырех лет молчания и забвения могли бы снова слепо пойти за полковником Рузвельтом. Они познали поражения. Они многое принесли в жертву. Им было ясно, что как партия они не могут прийти к власти в 1916 году. Но когда раздался этот призыв, по всей стране в миллионах сердец разгорелась ярким пламенем почти уже погасшая искра энтузиазма. Призыв к крестовому походу за демократию, воодушевлявший мужчин и женщин четыре года назад, снова прокатился по стране.

В Тедди верили отнюдь не радикалы-интеллигенты, которые независимо от своих симпатий к нему знали, что он предаст их, когда сочтет это нужным для себя. В него верили политически отсталые и неопытные люди, своего рода допотопные идеалисты. Разве не сказал он, что никогда не покинет их? У них будет свой Армагеддон, и они,

как прежде, снова принесут жертвы на алтарь общего дела. Мало кто из них знал, что Теодор Рузвельт отзывался о них в Нью-Йорке как о «черни» и придумывал способы освободиться от энтузиастов и идеалистов, от грязных и тупых представителей низших классов. Они не знали, что он говорил про них с досадой: «Нельзя создавать политическую партию из чудаков. Я должен избавиться от этого окружения сумасбродов». Под «окружением сумасбродов» он подразумевал тех людей, которые верили в «социальную справедливость» и хотели осуществить ее на деле.

В обращении, адресованном съезду прогрессистов, говорилось о необходимости достичь соглашения с Республиканской партией. Прогрессисты согласились на это. Некоторые потому, что хотели вернуться в лоно Республиканской партии, другие потому, что хотели навязать республиканцам и всей стране Рузвельта и «социальную справедливость». А если республиканцы не пожелают принять Тедди и принципы прогрессистов, почему бы ему не заключить соглашения с прогрессистами? Они снова будут действовать одни, как в 1912 году действовала Партия Протеста, партия благородной погибшей надежды. В таком-то настроении и явились они в Чикаго — косноязычные, полные веры, подогреваемые смутной надеждой, которая лишь позднее была облечена в слова. Тедди был для них не просто Тедди. В его лице сочетались одновременно демократия, справедливость и чистота, он выражал интересы бедных и состояние готовности. А если Тедди говорит, что готовность — это справедливость и свобода, то Тедди, должно быть, прав. Платформа Прогрессивной партии показывает, насколько полно личность Рузвельта заслонила принципы крестоносцев 1912 года. В этих принципах нет и следа «социальной справедливости».

С платформы чикагского «Аудиториума» я смотрел вниз на волнующееся человеческое море, охваченное почти религиозным чувством; на мужчин и женщин из больших и маленьких городов, из деревень и с ферм, из пустынь, с гор и со скотоводческих ранчо, отовсюду, куда ветер донес до ушей бедных и угнетенных весть о том, что на защиту правого дела встал великий воин и исцелитель. Любовь к Тедди переполняла сердца этих людей. Ослепленные своим энтузиазмом, они пели: «Вперед, воин Христа» и «Мы пойдем за Тедди, за Тедди!» Силу, воодушевление, молодость — вот что олицетворяло это собрание. Здесь были

великие борцы, люди, всю свою жизнь отдавшие неравной жестокой борьбе против несправедливости, выраженной в том, что 60 процентов народа нашей страны владеет лишь 5 процентами ее богатства. Они не были революционерами. Большею частью это были люди недалёковидные и не умеющие рассчитывать,— обычные, простые люди, огрубевшие от гнева и жестокой несправедливости, с которыми они постоянно сталкивались. Без вождя, который мог бы выразить их мысли, они были бессильны. Мы — социалисты и революционеры — издевались над прогрессистами и высмеивали их. Мы вышучивали их преклонение перед личностью. Мы потешались, когда они истерически распевали свои гимны обновления. Но когда я увидел съезд Прогрессивной партии, я понял, что в этих делегатах воплощена надежда страны на мирную эволюцию, что они — материал, из которого создаются народные герои.

На трибуне теснились другие люди, стояла другая толпа — лидеры прогрессистов. Только что на съезде республиканцев я видел Бернса, Рида Смута, Пенроуза, У. Мэрея Крейна и другие зловещие фигуры, боровшиеся не на жизнь, а на смерть с народом. Так вот, люди, сгрудившиеся на трибуне съезда Прогрессивной партии, на мой взгляд, немногим отличались от них. То были Джордж Перкинс с Уолл-стрита, Джеймс Гарфилд, Чарльз Бонапарт и др. В сердцах этих скрытных и холодных людей не было ни единой искры энтузиазма, никакой симпатии к делу демократии. И действительно, проходя около них, я услышал, как они отзывались о делегатах внизу. Они называли их «дешевой скотиной»! И тем не менее этот тесный кружок, в чьи задачи входило использовать прогрессистов как угрозу против республиканцев, но не позволять им мешать полковнику, состоял, как мне было известно, из доверенных людей Теодора Рузвельта, его представителей на съезде.

Съезд Республиканской партии заседал недалеко, всего за несколько кварталов. Он полностью контролировался Пенроузом, Смутом, Крейном, Бернсом и другими. Делегаты прогрессистов знали об этом. Они знали также, что Теодор Рузвельт ни при каких обстоятельствах не может быть выдвинут там. И они орали, требуя Тедди. Грозовые раскаты этих криков сотрясали здание. «Хотим Тедди! Назначим сейчас же Тедди!» Лишь с огромным трудом эта шайка убедила их подождать. «Созыв съезда под-

черкнул необходимость сближения с республиканцами ради спасения страны,— говорили они.— Мы должны назначить комитет, чтобы договориться со съездом республиканцев о возможном кандидате, которого могли бы поддерживать обе партии». «Хотим Тедди! Мы за Тедди!»

«Подождите,— советовали Перкинс, Пенроуз, Гарфилд и прочие члены шайки.— Не будет никакого вреда, если мы поговорим с ними». Губернатор Хирам Джонсон из Калифорнии крикнул делегатам громовым голосом: «Помните, что сделали Бернс, Пенроуз и Крейн в 1912 году! Мы ушли со съезда республиканцев потому, что его контролировали боссы. Они и теперь возглавляют его. Единственное, что мы можем сказать съезду,— это назвать своим кандидатом Теодора Рузвельта!»

«Ничего страшного не случится, если мы обсудим это совместно,— советовали заправилы съезда.— У нас есть телеграмма от Теодора Рузвельта, рекомендующая нам обсудить эти вопросы с республиканцами».

Пылкий Виктор Мэрдок вскочил на трибуну: «Вы хотите Тедди,— закричал он.— Так вот, единственный путь, которым вы можете этого добиться,— это выдвинуть его сейчас же!»

«Я скажу вам, какое послание надо направить съезду республиканцев! — кричал Уильям. Д. Макдональд.— Велите им убираться ко всем чертям!»

Все они — Мэрдок, Макдональд и Джонсон — прекрасно знали, что полковник способен предать их. Они отчетливо сознавали, что единственный способ заставить Рузвельта разговаривать начистоту — это выдвинуть его кандидатом немедленно, прежде чем республиканцы начнут действовать.

«Подождите! — советовали напуганные этим заправилы, люди хладнокровные, логично рассуждающие и вежливые.— Ничего дурного не случится, если мы назначим комитет для консультации с республиканцами. Если мы будем действовать одни, Теодор Рузвельт и «социальная справедливость» не победят на выборах».

Таким образом был назначен совещательный комитет прогрессистов, ибо делегаты доверяли Перкинсу, Гарфилду, Бонапарту и... Рузвельту. Что думали об этом республиканцы, показал состав совещательного комитета, выбранного их съездом: Рид Смут, У. Мэррей Крейн, Никлас Мэррей Батлер, Бора и Джонсон.

«Храни нас, боже! — воскликнул губернатор Хирам Джонсон. — Отныне мы под началом у Рида Смута и Мэрея Крейна!»

И он действительно попал в точку: его назначили одним из членов прогрессистского комитета, который возглавили Джордж У. Перкинс и Чарльз Д. Бонапарт.

На следующий день среди президиума съезда прогрессистов потихоньку распространился слух, что полковник попросил по телефону, чтобы его кандидатуру не выдвигали, пока республиканцы не назначат своего представителя. Комитет зачитал свой доклад, который во всех отношениях страдал непоследовательностью. Постепенно все глубже укоренялось убеждение, что Рузвельт должен быть выдвинут. И только заправилы сдерживали съезд, требуя, чтобы комитет провел еще одно заседание совместно с республиканцами. А потом, как гром среди ясного неба, пришло второе послание Рузвельта из Ойстер-Бея, призывавшее в порядке компромисса выдвинуть сенатора Генри Кабота Лоджа из Массачусетса. Генри Кабота Лоджа — этого заклятого реакционера, как никто далекого от народа! На делегатов съезда точно повеяло холодом. Никто ничего не понимал. К этому времени на республиканском съезде началось выдвижение кандидатур, и шайка, заправлявшая съездом прогрессистов, уже не в состоянии была контролировать события. Слово взял Бэйнбридж Колби из Нью-Йорка, который выдвинул кандидатуру Теодора Рузвельта. Хирам Джонсон поддержал выдвижение. В три минуты все процедуры были выполнены, и Рузвельт был избран без голосования. «Теперь, — сказал председательствующий Реймонд Робинс, — ответственность ложится на полковника Рузвельта. А я никогда еще не видел, чтобы он отступал перед ответственностью независимо от того, велика она или мала. Я думаю, что полковник Рузвельт даст согласие». И заседание было отложено до трех часов.

Как произошло, что республиканцы подавляющим большинством голосов выдвинули Чарльза Е. Хьюза — теперь уже старая история. Но как прогрессисты, полные надежд и энтузиазма в предстоящей им великой битве, собрались снова, чтобы выслушать ответ Рузвельта, я видел собственными глазами. Играли оркестры, и люди, подобно детям, ликующе размахивали в проходах флагами. Профессор Альберт Башнелл Харт из Гарварда носился по залу, потрясая огромным американским стягом.

«Прогрессивная партия не может быть отдана на откуп одному, двум или трем лицам! — кричал председатель Робинс, указывая прямо на Джорджа Перкинса. — Она должна быть народной партией, финансируемой народом. Я призываю зал к подписке на фонд для проведения избирательной кампании». Последовал взрыв неистового энтузиазма. За двадцать минут делегаты на галерее подписались на 10 000 долларов. Это была поистине величественная дань духу «дешевой скотины».

Потом по трибуне пошел шепоток, что прибыл ответ от Теодора Рузвельта. Если съезд настаивает на немедленном ответе, говорилось в нем, он вынужден отказаться. Прежде чем принять назначение прогрессистов, полковник Рузвельт должен услышать заявление судьи Хьюза. Он даст ответ Национальному комитету Прогрессивной партии 26 июня. Если комитет сочтет позицию судьи Хьюза по вопросам готовности и американизма подходящей, Рузвельт отклонит выдвижение прогрессистов. Если же комитет сочтет позицию судьи Хьюза неприемлемой, он проконсультируется с комитетом о том, как лучше поступить. Мы, репортеры, так же как и Джордж Перкинс и заправила съезда, знали об этом еще за час до того, как заседание было отложено. Но ни единое слово не достигло еще ушей делегатов в зале.

Председатель Робинс дипломатично объявил, что, согласно воле делегатов, он позаботится о том, чтобы собрание было отложено ровно до пяти часов, хотя никто не просил его об этом. В зале по-прежнему бойко собирали деньги. Жертвовавшие их делали это потому, что думали, что Теодор Рузвельт поведет их на новую битву. Только в речах губернатора Хирама Джонсона да Виктора Мэрдока пробивалась нотка горечи и предчувствие измены.

«Прости нас, боже, за то, что мы с самого начала не действовали так, как следовало!» — воскликнул губернатор Джонсон.

Еще меньше иллюзий питал Виктор Мэрдок:

«Паровой каток прошел над нами! — воскликнул он. — Мы никогда больше не должны откладывать выполнения своих решений».

А затем без четырех минут пять председатель Робинс объявил с похоронным видом о новом письме от Теодора Рузвельта и зачитал его. И прежде чем собравшиеся могли осознать его смысл, заседание было отложено и его

участники, огорошенные и недоумевающие, выходили через многочисленные двери на улицу. Понадобилось несколько часов, чтобы истина дошла до этих людей, чтобы они поняли, что мессия предал их за тридцать политических сребреников. Но в конце концов, я думаю, они поняли.

В тот же вечер я посетил штаб-квартиру прогрессистов. Рослые, бронзовые от загара люди плакали, не стесняясь. Другие ходили взад и вперед ошеломленные. В воздухе царило ощущение беды. Да, интеллигенты-радикалы знали, что это произойдет таким образом, так нагло и грубо, но они думали, что полковник мог бы оставить и им какую-нибудь лазейку, как он оставил себе. Они не понимали, что это было как раз в его духе. В том-то и заключалась его цель, что он хотел бесповоротно порвать с этими «чужаками», с этим «сбродом». Его намерением было нанести им пощечину, предложив в качестве кандидата от прогрессистов Генри Кабота Лоджа. А теперь они остались, по выражению одного из прогрессистов, «одни на подпиленном суку».

Что же касается полковника Рузвельта, то он вернулся обратно к единственным людям, с которыми ему хорошо: к «хищникам-плутократам». Теперь он по крайней мере не связан больше с демократией. От одного этого ему, несомненно, легче дышать. Что же до самой демократии, то мы можем только надеяться, что когда-нибудь она перестанет доверять людям.

1916 год.

АНТИНАРОДНАЯ ВОЙНА

Был один из тех влажных и душных летних вечеров, какие нередки в Вашингтоне. После превосходного обеда мы сняли для удобства пиджаки и перешли в библиотеку. Дворецкий принес нам сифоны, лед, высокие стаканчики и принадлежности для курения.

Нас было четверо или пятеро: я — человек новый в этом мире, и другие — умные молодые люди, год назад или около того кончившие колледж. Теперь они работали добровольцами: кто в комитете по снабжению при Продовольственном управлении Гувера, кто в одном из бесчисленных подкомитетов Совета национальной обороны.

Люди эти располагали достаточными средствами, чтобы позволить себе работать на войну в Вашингтоне. Ни у кого из них не было подлинного опыта в борьбе за существование. По своему складу ума они были более склонны к психологии и литературной критике, нежели к политической деятельности. Войну и воинскую повинность они восприняли как шаг вперед в осуществлении политической теории, согласно которой человечеством в конечном счете будет управлять разум. Позвольте мне добавить, что каждый из них был готов «внести свою лепту», даже если бы пришлось умереть за родину. Один из них собирался записаться добровольцем в авиационный корпус, другие думали, что смогут принести больше пользы на постах советников и организаторов, нежели в окопах.

«Ни один сколько-нибудь интеллигентный человек не считает войну популярной», — заговорил один из парней.

Как-то вечером мы, несколько человек, обедали вместе. Тут были Джо, Джордж Ньютон, несколько ребят из Военного департамента и крупные заправилы-дельцы из подкомитетов Совета национальной обороны.

Мы хотели придумать сенсацию, или, как выражаются коммивояжеры, «подать войну». Три битых часа сидели мы, ломая себе голову, но не смогли придумать ни единого достаточно серьезного аргумента, который мог бы возбудить патриотизм рядового гражданина, не будучи вместе с тем откровенной ложью. Конечно, у нас были достаточно веские аргументы для себя, но для любой рекламной компании они были чересчур... скажем мягко, «возвышенны».

Тут заговорил энергичный полковник авиации, который сидел, откинувшись назад и пуская к потолку дым из дорогой сигары.

«Знаете, что нам нужно? Только одно — то самое, что помогло в Англии. Потери. Сначала невозможно было заинтересовать массы англичан войной; им нельзя было внушить, что война — это их кровное дело. Но когда начали приходить списки убитых, раненых и искалеченных — кстати, тут Англия должна благодарить немецкие зверства, — тогда ненависть к немцам начала просачиваться из семей убитых и раненых в толщу народа. Ведь патриотизм — это общественный гнев, приспособленный для военных целей.

Если бы я задался целью сделать эту войну популярной, я начал бы с отправки трех или четырех тысяч американских солдат на верную смерть. Это привело бы в возбуждение всю страну».

Когда бы этот молодой человек мог пробудить Америку, попросту пожертвовав собой, я думаю, что он не поколебался бы сыграть роль Курция *. Он сделал бы это, несмотря на то, что по своей натуре был человеком, чуждым романтических иллюзий, и что в данном случае он лишь играл бы на сентиментальности публики ради сознательного достижения своей цели. Но он прекрасно знал, что не может совершить ничего такого, что могло бы хоть в самой легкой степени воодушевить американский народ, даже если бы это действие само по себе не было чуждо его темпераменту. Единственное, что *может* задеть людей за живое, — это боль, горе, чувство безвозвратной утраты. А потому давайте перебьем несколько тысяч парней для нашего общего блага.

* Марк Курций — легендарный, самоотверженно погибший римский герой.— *Прим. ред.*

Жизнь дешево ценится теперь, и если, уничтожив несколько тысяч молодых людей — меньше, чем погибает за день на фронтах мировой войны, — можно будет сделать решительный шаг к освобождению человечества, я знаю, где найдутся люди, способные сделать это. Но когда тебя принуждают или соблазняют дешевыми эффектами поддерживать политические теории, которые слишком сложны или изысканны, чтобы воспламенить массу народа, то это, по-моему, смахивает на те старые, недемократические махинации, которые явились причиной пожара в Европе.

Года полтора я провел в различных странах и на разных фронтах, побывал во всех столицах воюющих стран, наблюдал военные действия на пяти фронтах. Один из моих лучших друзей обвинял меня в том, что я не понимаю значения войны, что на меня не производят впечатления потрясающие контрасты этого всемирного катаклизма. Он говорил, что я перешагиваю через все это, руководствуясь своей предвзятой идеей социалиста, согласно которой правящие капиталистические классы цинично и злонамеренно втянули свои народы в войну, и что за всем этим я отказываюсь видеть что-либо другое.

Согласен, я действительно поехал за границу с определенной идеей, и моя идея была в основном именно такая. У каждого человека была в начале войны по крайней мере одна теория. Но вскоре я разочаровался. Я обнаружил, что многие люди отнюдь не настолько умны, чтобы этот обман вызывался необходимостью. Это относилось даже к социалистам и противникам милитаризма, которые расставались со своими убеждениями, как со старой кожей, едва лишь на улицах раздавался барабанный бой и проносили флаги.

Боюсь, что я никогда по-настоящему не понимал драматизма и красоты этой войны. В первые недели, проезжая через Францию, я думал, что никогда не смогу забыть эти украшенные цветами воинские поезда, переполненные смеющимися и поющими ребятами призыва 1914 года, которые так весело и беззаботно уезжали на фронт. И после этого я увидел Париж, но не героический, суровый и непреклонный, каким описывали его все репортеры, а обезумевший от страха, охваченный поголовной паникой город, жители которого в своем неистовом стремлении попасть на поезда, отходящие на юг, затаптывали женщин и детей.

Я видел множество безобразных вещей: мелкие торговцы наживались на снаряжении, в котором нуждались солдаты; богачи отдавали свои красивые особняки под покровительство Красного Креста, а потом, когда немцы отступили к реке Эна, отбирали их обратно. Военно-медицинское управление вело закулисную борьбу с Красным Крестом, в результате которой в городе пустовали тысячи больничных коек, а раненые умирали под дождем прямо на булыжниках Витри.

Что противостояло этому? Нация, вставшая *как один человек*, чтобы отразить нашествие, но в большинстве своем состоявшая из людей не слишком воинственных и потому чувствовавших себя, как мне казалось, в очень глупом положении и совершенно бесполезными. Флаги, безлюдие, шпиономания, женщины с безумными глазами и немецкие аэропланы, методически сбрасывающие бомбы на улицы. Шок и последовавшее за ним медленное, но неизбежное расстройство повседневной жизни, постоянно растущее напряжение. А позднее однорукие и одноногие калеки, люди, лишившиеся рассудка под орудийным огнем, и очереди из жалких оборванцев, выстроившиеся в переулках перед общественными столовыми.

Битва на Марне могла бы быть поводом к бурному ликованию, но к этому времени в Париже не осталось никого, кто мог бы торжествовать победу. Убранный тысячами флагов город вяло улыбался под ярким солнцем. Его улицы были все так же пустынные, а ночи — по-прежнему темны. Не было ни сенсационных новостей, ни героизма, ни звона колоколов, ни народного ликования. Все это становится немыслимым в те дни, когда мужская половина нации гниет в окопах. Не может быть такой вещи, как героизм, там, где миллионы людей идут на страшную смерть с тем настроением, какое было у европейских армий на протяжении этих трех лет. Миллионы героев! Этого одного было достаточно, чтобы полностью обесценить воинскую доблесть.

Почему я видел окружающее в таком свете? Ведь я пытался воспринять живописную, драматичную, гуманную сторону войны. Но все казалось мне бесцветным, все эти миллионы людей представлялись винтиками бездушной и скучной машины. То же самое произошло и на передовой. На протяжении значительного отрезка времени я был свидетелем битвы на Марне. Вместе с французами я нахо-

дился на позициях севернее Амьена, когда началась окопная война. Почти всегда это было одно и то же механическое действие. Сначала нам было интересно знакомиться с новыми способами ведения войны. Но чувство новизны скоро стиралось, так же как стиралось оно и у солдат в окопах.

Во время битвы на Марне я провел один вечер с несколькими британскими солдатами-обозниками в маленькой деревушке Креси. С севера доносился грохот тяжелых орудий, раскалывавший темноту. Зачем пошли воевать эти томми? Они и сами толком не знали. Один сделал это потому, что пошел Билл, другой — потому, что хотел на время уйти из дому, третий — оттого, что хорошо платят. Вот и все.

Позже, примерно 1 октября 1914 года, мне пришлось заночевать в Кале. Чувствуя себя совершенно одиноким, я отправился в конце концов в единственный в городе клуб, где можно было найти вино, песни и девушек. Заведение это было переполнено солдатами и матросами, часть которых приехала в отпуск с фронта. Я разговорился с одним «пуалю» *, который заявил мне с нескрываемой гордостью, что он социалист и к тому же интернационалист. Он был приставлен охранять немецких военнопленных и с энтузиазмом рассказывал мне, какие они замечательные ребята, и все тоже социалисты.

«Но, послушайте,— спросил я,— если вы член Интернационала, почему вы воюете?»

«Потому, что на Францию напали»,— сказал он, смотря на меня без тени смущения.

«Но немцы уверяют, что это вы напали на Германию».

«Да,— ответил он пресерьезно,— я знаю, что они так говорят. Военнопленные рассказывали мне об этом. Наверное, так оно и есть. Возможно, что обе стороны подверглись нападению...»

Лондон был оклеен огромными афишами с призывами: «Вы нужны королю и родине! Записывайтесь добровольцами на время войны!» На всех площадях проходили военное обучение группы молодых людей. Это были представители средних и зажиточных слоев: банковские служащие, биржевые маклеры, преподаватели университета и народных школ,— потому что в этот период рабочие и

* Солдат (фр.). — Прим. перев.

Ист-Энд не были заинтересованы в войне. Первый экспедиционный корпус был сметен с лица земли на пути из Монса. Англия на предельной скорости теряла голову. Началось образование «воинства Китченера».

Широкие массы английского народа мало что знали о войне и еще меньше думали о ней. И все же именно они должны были сражаться, записываться добровольцами, призываться. Торговые и промышленные компании начали увольнять рабочих и служащих призывного возраста, а «патриотические» черные списки лишали их возможности получить другую работу. Иными словами, это означало: «Иди в армию или подыхай с голоду». Вспоминается, как однажды я увидел мчавшуюся по Трафальгар-сквер вереницу огромных грузовиков. Они были битком набиты молодежью и украшены плакатами «Подарок Гарродса империи». Люди, ехавшие на них, были служащими магазинов Гарродса. Их гнали на призывные пункты.

Было в Лондоне и многое другое, внушавшее отвращение. Утром по Сити разъезжали большие лимузины с плакатами на ветровых стеклах, призывавшими вступать в армию; в лимузинах преудобно сидели откормленные и разодетые господа и дамы. С товаров, выставленных в магазинах для продажи, были сорваны ярлычки «Made in Germany» и заменены ярлычками «Made in England». Рейнские и мозельские вина подавались в ресторанах с закрашенными этикетками. Благотворительные концерты и танцевальные вечера, полные неопишемого снобизма, превратили осень 1914 года в «самую веселую лондонскую осень».

И при всем этом—бесконечные разговоры о «немецком милитаризме», о «правах малых наций» и о том, что «надо покончить с кайзеризмом». Противно было сознавать, что в действительности правители Англии не верят в эти набожные эпитеты и банальности. И лишь от широких масс простого народа требовали, чтобы они жертвовали своей жизнью, потому что «Бельгия подверглась нападению» и «бумажка была изорвана в клочки». Совсем как у нас на родине, где умные люди не могут сдержать улыбки или слез, когда президент Вильсон рассуждает об американской «демократии» и «демократии», отстаиваемой в этой войне Америкой.

Берлин не так откровенно грешил лицемерием, как можно было бы ожидать. Ведь Берлин готовился к войне

много лет. К тому же здесь не было такой необходимости рекламировать войну, как в Лондоне и Париже, так как у немцев не было в этом вопросе таких расхождений. И все же видеть, как сотни тысяч одетых в серое автоматов немумолимо попадали в эту безжалостную машину, откуда не было возврата, как через Бельгию они перебрасывались бесконечными потоками шириной в милю и разливались батальон за батальоном вокруг развалин крепостей, окруженных трупами, было отвратительнее, чем все, что я видел в других странах.

Осмелится ли теперь кто-либо утверждать, что немецкому народу сказали правду о войне или вообще сказали что-либо, о чем стоило бы говорить? Нет. Весь народ погнался в окопы — не дав ему возможности что-либо узнать или возразить — еще безжалостнее (хотя и ненамного), чем в других странах, за исключением России.

Я был на немецких передовых линиях, где люди, покрытые вшами, стояли по пояс в воде и стреляли во все, что двигалось на расстоянии восьмидесяти ярдов за земляной насыпью. Их лица были землистого цвета, они непрерывно стучали зубами, и каждую ночь кто-нибудь сходил с ума. На поле между окопами на расстоянии сорока ярдов лежала гора трупов, оставшихся после последнего наступления французов. Все лежавшие там раненые умерли, причем не было сделано ни единой попытки спасти их. А теперь тела их медленно, но верно погружались в грязь, утопая в ней. На этом участке солдаты проводили три дня в окопах, а шесть дней на отдыхе в тылу у Комина, куда командование доставляло пиво, женщин и передвижные библиотеки.

Я спросил у этих забрызганных грязью людей, которые стояли под дождем, опираясь на мокрую земляную насыпь, и из-за своих маленьких стальных щитков стреляли по каждому движущемуся предмету, — кто их враги? Они посмотрели на меня непонимающе. Я объяснил им, что хочу знать, кто находится против них в тех траншеях, что отстоят на восемьдесят ярдов. Они не знали. Англичане это, французы или бельгийцы — никто этого не ведал.

На протяжении обширного русского фронта я видел тысячи молодых гигантов, безоружных, раздетых и подчас голодных, которых отправили на фронт, чтобы они остановили продвижение немцев дубинками и своими беззащит-

ными телами. Если кто-нибудь думает, что русские люди хотели этой войны, то ему стоит лишь приложить ухо к земле теперь, когда массы русских прервали свое вековое молчание, и он услышит приближающуюся поступь мира.

Трудно передать невообразимую жестокость русской военной системы прежнего времени, через механизм которой проходила русская молодежь. Я видел, как офицер на улице Петрограда бил по зубам солдата за то, что он не приветствовал его с должным раболепием. Само собой разумеется, с солдатами обращались, как со скотиной. Какое зло причинили русскому крестьянину японцы, персы, турки, австрийцы или пруссаки, под пушками которых он находился на чужой земле, далеко от своей милой родины? Что за дело ему до того, что Австрия напала на Сербию или Германия на Бельгию? Прислушайтесь теперь к нему, к его простым словам, которые так раздражают представителей западной «демократии»:

«Мир без аннексий и контрибуций!»

«Каждый народ имеет право сам определять свою форму правления.»

В Сербии меня поразил сначала невероятный ущерб, причиненный войной и эпидемией этому народу, «еще не испорченному цивилизацией». Откровением были также и свидетельства хитросплетений и интриг, в которые великие державы, готовясь к войне, втянули правителей Сербии. Один молодой серб рассказал мне, как создавался заговор с целью убийства австрийского эрцгерцога и как попустительствовало этому заговору сербское правительство. Он же сообщил мне все, что знал, про деньги, заплаченные русским министром...

К счастью, я был в Болгарии, когда та оказалась втянутой в войну ее царем и немецкой дипломатией. У меня была возможность видеть собственными глазами, как современное государство обводит вокруг пальца свой народ. Ибо из тринадцати политических партий Болгарии семь партий, представлявших большинство народа, были против вступления страны в войну. Их делегации регулярно информировали царя о своей позиции и настаивали на созыве парламента. Но царь, министры и военные власти ответили на это внезапным объявлением мобилизации. Одним росчерком пера нация была превращена в армию.

Отныне всякое общение между гражданами, всякий протест пресекались или топились в крови.

Я мог бы рассказать дальше об Италии, Румынии и оккупированной немцами Бельгии, о том, как везде я встречался с одним и тем же неизменно повторявшимся фактом большого значения, а именно, что война эта не была народной войной. Народные массы различных стран не имели и не имеют никаких оснований продолжать борьбу, кроме случаев, когда речь идет о самозащите или о мести. И даже теперь достаточно одного лишь приказа, чтобы миллионы людей на всех фронтах тотчас же прекратили сражение, побросали оружие и пошли домой...

Быть может, самым значительным явлением, подмеченным мной в Европе, была неистребимая живучесть интернационализма, невзирая на войну. Особенно заметно это было в нейтральных странах при встречах представителей воюющих сторон. Здесь граждане враждующих стран вступали в нормальные, дружеские отношения. Мне даже казалось, что они были связаны друг с другом немного теснее, чем прочие, самим фактом бесцельной борьбы своих стран.

Как приятно было подмечать тысячи доказательств истинности положения, что интернационализм — инстинкт, присущий человечеству. В Голландии я видел даже братавшихся друг с другом английских и немецких интернированных солдат, которым не мешало незнание языка. В Швейцарии и далекой Румынии тогда же происходили встречи немцев и французов, посвященные обсуждению совместных дел и обоюдным заверениям в неизменной дружбе.

Скоро нам в Америке станет трудно представлять себе, как это у нас были или могут когда-нибудь быть друзья немцы. Начнут приходить списки потерь, которые несет наша огромная, собранная по мобилизации армия. С нами начнет сбываться то, что предсказывал мой молодой ученый друг из Вашингтона. Мы начнем ненавидеть, ибо «патриотизм — это общественный гнев». О том, что произойдет в утысяченных масштабах, можно судить уже теперь на основании избиений «пацифистов» солдатами и матросами, произвольных арестов и повсеместных полицейских преследований. Говорить, что эта война — не народная и что, «защищая всемирную демократию», мы

действуем отнюдь не по-демократически, становится равносильным потере свободы.

И все же оба эти утверждения верны. Ни в одной стране мира, в том числе даже в Германии, эта война не была популярной. Не было на поверхности земного шара такого места, где правительства осмелились бы поставить перед сражающимися вопрос, следует ли начинать войну, а если война уже шла, то нужно ли ее продолжать. Во всех этих воюющих странах, на знаменах которых написано гордое слово «*Демократия*», у власти стоит горсточка непомерно богатых людей, а широкие массы рабочих живут в бедности. Так, Бельгия, сыгравшая среди прочих стран роль изнасилованной девственницы, в мирное время была страной самой чудовищной в Европе промышленной олигархии, страной самого нищего и эксплуатируемого народа. А между тем именно этот трудолюбивый пролетариат был брошен на войну с могучей кайзеровской Германией ради защиты своих хозяев.

Наконец пришла и наша очередь. Теперь миллионы молодых американцев должны отправиться в Европу, для того чтобы во имя «демократии» убивать немцев или, наоборот, быть убитыми ими. Большинство этих молодых людей — рабочие, которые могут знать, а могут и не знать, что патриотизм их работодателей никогда не мешал им выжимать последние силы из «фабричного скота». Они могут понимать, а могут и не понимать, что одна политическая власть без экономической мощи превращает «демократию» в пустое притворство. Но, вероятно, им приходило в голову, что демократическое ведение войны предполагает необходимость испрашивать согласие у тех, кто должен сражаться.

Нам ответят, что сожалеть о «недемократических» методах нашего правительства — дело нетрудное, а вот что же делать? Я думаю, что президент Вильсон мог бы остановиться и спросить об этом первого встречного — тот наверняка сказал бы ему.

Вот каким образом я определяю позицию простого человека. Когда война только началась, он был настроен вполне нейтрально, занимая как бы промежуточную позицию среди воюющих сторон. Позже его симпатии склонились на сторону Антанты, но не настолько, чтобы убедить его пролить свою кровь или умереть за нее. Не подлежит сомнению, что независимо от того, нравится нам это или

нет, Вильсон был избран именно потому, что «удерживал нас от войны».

Такова была программа простого человека. Совесть немного мучала его из-за вывоза оружия и боеприпасов в Европу, или, во всяком случае, он понимал, что это нечестно. Он охотно наложил бы запрет на наш экспорт вооружения. Он полагал, что американцам незачем разъезжать по зоне военных действий, так же как, скажем, играть в пятнашки в зараженном чумой доме. Он целиком стоял за то, чтобы внушить им держаться подальше от всего этого или по крайней мере избегать кораблей воюющих наций. Принудительную воинскую повинность он без колебаний причислял к явлениям, мягко выражаясь, «неамериканским».

Я не хочу сказать, что это умонастроение могло продержаться три года в обстановке, когда церковь, банки, университеты и коммерческие учреждения с удручающим единодушием и назойливостью проповедовали ненависть и страх. Нет, простой человек не мог выдержать всего этого. Скоро и он воздел к небу свои мозолистые руки, уверовав, что правда на стороне союзников и что весь деспотизм сосредоточен в Берлине. Но все же простые идеи, обрисованные мною выше, были реакцией рядового человека на войну. И мне кажется, что если бы в свое время у него спросили совета, что делать, то ход американской истории изменился бы. Во всяком случае, эти размышления простого человека кажутся мне ценным и разумным комментарием к войне...

Ровно за день до того, как президент зачитал Конгрессу свое послание о войне, в привилегированном клубе, членом которого я состою, сидела за коктейлем группа жителей Плетсбурга. В газетах писали тогда, что немцы торпедировали еще один американский корабль и что при этом утонули американские граждане.

«Это верно, что они уничтожают наши корабли и убивают наших граждан,— сказал, растягивая слова, один юноша.— Но должен сознаться, мой пыл несколько остыл, когда я прочел, что одной из жертв был негр...»

1917 год.

ИРМ ПЕРЕД СУДОМ

Огэст Шпис*, один из чикагских мучеников 1887 года, начал свое заявление на суде, в котором он объяснял, почему ему не должны выносить смертного приговора, цитатой из речи венецианского дожа, произнесенной шесть веков назад:

«Я выступаю здесь как представитель одного класса и обращаюсь к вам как к представителям другого класса. Моя защита — это ваше обвинение. Причина приписываемого мне преступления — ваша история».

1918 год. Помещение федерального суда в Чикаго, где судья Дэндис ведет судебный процесс по делу «Индустриальных рабочих мира» **. Это большая внушительная комната, вся отделанная мрамором, бронзой и строгим темным деревом. Из ее окон открывается вид на высокие башни деловых зданий, которые господствуют над зданием суда, подобно тому как деньги господствуют над нашей цивилизацией.

Над одним из окон красуется фреска, изображающая короля Джона с баронами в Рэннимеде. Здесь же помещена цитата из Великой хартии:

* Огэст Шпис, хотя он явно ни в чем не повинен, был вместе с другими боевыми лидерами чикагских рабочих осужден на смерть по провокационному делу о тайном заговоре, состряпанному после событий 1886 года в Хэймаркете, составлявших важную веху в общенациональном движении рабочих за восьмичасовой рабочий день.— *Прим. ред. ам. изд.*

** Организация ИРМ была официально обвинена в заговоре с целью нарушения преступных законов о профсоюзах. 93 участника процесса — жертвы террора военного времени — были осуждены соответственно на сроки от 4 до 38 лет заключения и подвергнуты штрафам в размере от 20 тысяч до 30 тысяч долларов.— *Прим. ред. ам. изд.*

«Ни один свободный человек не может быть схвачен, взят под стражу, лишен своего свободного держания, вольностей или свободы либо объявлен вне закона, изгнан или каким-нибудь другим образом ущемлен в своих правах, кроме как по судебному приговору своих пэров или же по законам страны.»

«Мы никому не продадим права вершить суд, никому не откажем в правосудии и никого не заставим ждать его...»

Над дверью напротив начертано золотыми буквами:

«Эти слова господь произнес громким голосом из пламени и туч в глубокой тьме, обращаясь ко всем нам, собравшимся на горе. И более он ничего не добавил. И он записал их потом на двух каменных скрижалях и передал мне...» «Второзаконие», V. 22.

И героические первосвященники Израиля закрывают лица при виде Моисея, подымающего скрижали закона к объятому пламенем и покрытому тучами небу.

За огромным столом сидит кажущийся маленьким человек с изнуренным и очень худым лицом. У него растрепанные седые волосы, горящие, как бриллианты, глаза и пергаментная кожа, рассеченная линией рта. В целом это лицо Эндрю Джексона *, каким оно, вероятно, стало через три года после смерти. Человек этот — судья Кинсоу Маунтин Лэндис, назначенный руководить операцией. Он представляет своеобразный тип спортсмена и борца и вместе с тем человека, насколько ему доступно, справедливого. Это он оштрафовал «Стандард ойл компани» на 39 миллионов долларов (из которых, однако, ни один не был выплачен).

На долю этого человека выпала историческая роль — судить социальную революцию. И он выполняет ее как джентльмен. Не то чтобы он допускал необходимость социальной революции. Не так давно он исключил из свидетельских показаний доклад Комитета по вопросам трудовых взаимоотношений в промышленности, на который пыталась сослаться защита. С его помощью она хотела обрисовать обстановку, в какой действовал ИРМ. «Это относится к делу не больше, чем священное писание», — ска-

* Эндрю Джексон — президент США в 1829—1837 гг. — *Прим. ред.*

зал он. Эти слова доказывают по крайней мере, что он не лишен чувства юмора.

Во многих отношениях суд был явлением совершенно необычным. Когда судья после перерыва входил в зал, никто не вставал: он сам отменил эту помпезную формальность. Сам Лэндис председательствовал без мантии, в обычном скромном костюме и часто спускался со своего места, чтобы присесть на ступеньках около присяжных заседателей. По его личному приказу рядом со скамьями арестованных были поставлены плевательницы, чтобы во время бесконечных заседаний они могли жевать резинку. Кроме того, арестованным было разрешено снимать пиджаки, расхаживать по залу и читать газеты.

Судья, который хотя бы таким образом бросает вызов судебному ритуалу, должен обладать некоторой человечностью...

Что же до подсудимых, то я не думаю, чтобы когда-либо в истории можно было наблюдать подобное зрелище. Их было сто один человек — лесорубы, сельскохозяйственные рабочие, горняки, журналисты. Сто один человек, верящих, что богатства всего мира принадлежат тем, кто их создает, и что рабочие всего мира должны завладеть тем, что им принадлежит. Передо мной лежит хартия их содружества, их индустриальной демократии — Единого большого союза.

Единый большой союз — вот их преступление. Вот почему организация ИРМ предстала перед судом. Если бы существовал способ убить этих людей, капиталистическое общество охотно сделало бы это, как оно убило, например, Фрэнка Литтла, а до него Джо Хилла... Отсюда и вой продажной прессы: «Немецкие агенты! Предатели!», — призывающей к самой беспощадной расправе над ИРМ.

Сотня сильных людей...

Все они люди широких просторов, среди них есть твердые, как скала, подрывники, есть лесорубы, жнецы, портовые грузчики, словом, парни, исполняющие самую тяжелую работу на земле. С ног до головы их покрывают рубцы — следы изнурительного труда, и раны, полученные в борьбе с ненавистным обществом. Люди эти не боятся ничего...

Рано утром их приводят из тюрьмы Кук-Каунтри, где большая часть их томится вот уже 9 месяцев. Они входят в зал заседаний по двое, охраняемые с обеих сторон по-

лицией и детективами. Судебные пристава покрикивают на стоящую слишком близко публику. Прежде арестованных заставляли по четыре раза в день проходить по улицам Чикаго в наручниках. Сейчас с этим ежедневным цирковым представлением покончено.

Теперь они входят поодиночке, девяносто с лишним человек, находящихся еще под стражей, приветствуя по пути своих друзей. Здесь к ним присоединяются другие, которые выпущены под залог. Залог настолько велик — по 25 000 долларов с человека, — что только немногие могли выйти на волю. Остальные находятся в этой ужасной тюрьме Кук-Каунтри с начала прошлой осени. Почти год эти люди, больше всего на свете любящие свободу, сидят в тюрьме.

На первой странице выпускаемого штаб-квартирой ИРМ «Дейли дефенс буллетин» печатается изображение рабочего за решеткой и подпись: «Помните! Мы находимся здесь ради вас. Вы на свободе должны работать для нашего дела!»

За барьером, окружающим места подсудимых, было тесно. Многие сидели с засученными рукавами, некоторые читали газеты, один или двое спали, растянувшись на скамьях. Кое-кто сидел, другие стояли. У большинства были лица солдат и борцов, но попадались также лица ораторов и поэтов, темпераментные и выразительные лица иностранцев. Общим у них было то, что все они выражали силу и воодушевление. Многие лица были покрыты рубцами, на некоторых лежала печать ожесточения. Во всей Америке нельзя было найти другой сотни людей, которые были бы более достойны постоять за социальную революцию. Люди, заходившие в зал суда, говорили: «Это больше походит на собрание, чем на суд». Так и было. Именно это придавало суду достоинство. Это и то, что судья Лэндис вел процесс с таким размахом...

А потом я заметил группы людей с грубыми, зверскими лицами, сложенных наподобие минотавров. Своими вывороченными наружу бедрами и маленькими глазками, выражавшими свирепость и раболепие, они напоминали бульдогов. Такой взгляд бывает у частных детективов, штрейкбрехеров и других телохранителей частной собственности...

Я видел, как встал и заговорил государственный обвинитель прокурор Небекер, официальный поверенный большой меднорудной компании. Это был сухощавый, опрятно

одетый человек, с лицом, которое от постоянного толкования и переиначивания законов приобрело выражение хитрости, с холодными, как сталь, глазами и с уклончивым взглядом.

Посмотрев через большое окно, я увидел в окнах окружавших нас зданий законников, агентов и маклеров за своими конторками, ткущих паутину нашей цивилизации — цивилизации, которая вынуждает людей мечтать и бунтовать, а потом сокрушает их. С улицы доносился несмолкаемый грохот и рев Чикаго, и военный оркестр все трубил и трубил, прокладывая незримые дороги к войне...

И нам еще смели говорить о войне! Ведь эти сто один были ветеранами войны, которую им приходилось вести всю жизнь, войны кровавой и дикой, полной жестоких схваток и коварства. Против них выступала страшная и беспощадная сила, не признававшая никаких цивилизованных методов ведения войны. Вот уже много веков подряд велась эта партизанская война рабочих против своих хозяев, иными словами, классовая борьба. Она шла, не затихая, во всех уголках земного шара, но конец ее неминуемо приближался.

Эти сто один человек участвовали в ней с юных лет, с тех пор как на их глазах хладнокровно убивали им подобных, а они не могли этому помешать. Они овладели секретом этой войны — научились нападать. И за это их травят по всей земле, как крыс.

В Лоуренсе полицейский убил выстрелом из винтовки женщину, а солдат милиции заколол штыком мальчика. В Патерсоне головорезы из числа частных детективов застрелили стоявшего на пороге своего дома рабочего с ребенком на руках. В Мисаби-Рейндже вооруженная охрана, состоящая на службе у Стального треста, открыто убивала одних забастовщиков, других сажала в тюрьму. В Сан-Диего люди, которые осмеливались повышать голос на улицах, вывозились «видными гражданами» за пределы города. Там их клеймили раскаленным железом и вдавливали им ребра бейсбольными битами. Во время уборки на полях великого Северо-Запада рабочих обыскивали. Если при них находили красные карточки (членов ИРМ), «бдительные» подвергали их жестокому наказанию.

В Эверетте наемная охрана треста лесоразработок убивала их...

Идеи ИРМ нашли распространение главным образом среди сезонных рабочих, не охваченных никакими другими организациями. То были жестоко эксплуатируемые сельскохозяйственные рабочие, лесорубы, горняки. За жалкие гроши они вынуждены были работать с утра до вечера. Они не имели права голоса, их не защищали ни профсоюзы, ни закон. Низкая заработная плата и постоянные переезды никогда не давали им возможности жениться и создать себе семейный очаг. У бродячих рабочих никогда не бывало достаточно денег, чтобы купить себе железнодорожный билет. Они должны были разъезжать на буферах или в «пульмановских вагонах с боковыми дверями». Против них вели борьбу не только торговые палаты, объединения предпринимателей и все судебные учреждения, но и «аристократические профсоюзы». Они были естественной добычей этого мира, где господствует процент. Из этого материала организация ИРМ создавала свое царство. Превосходный материал, без чуждых примесей, ибо он выдержал испытания и прошел очистку. То были люди, созданные для борьбы и способные позаботиться о себе, рыцарские характеры, любители приключений. Стоило в каком-нибудь городе объявить «свободную дискуссию», как туда со всех сторон, иногда за тысячу миль, стекались «бродяги», и тюрьмы наполнялись их ораторами.

А пенне... Не забывайте, что ИРМ — это единственная организация американских рабочих, которая *поет*. А потому бойтесь ее, так как организация, которая поет, непобедима...

Бойтесь, когда слышите, как из грузового поезда, с грохотом проезжающего через черноземную деревню где-нибудь в Айове, внезапно вырываются молодые грубые голоса, поющие с издевкой:

О, как я люблю моего босса,
Он — мой лучший друг.
Вот почему я подыжаю с голода
На улице в пикете.
Аллилуйя! Я — лентяй!
Аллилуйя! Дважды лентяй!
Аллилуйя! Дай нам по шее,
Чтобы вновь нас к жизни пробудить!

Бойтесь, когда в жаркий полдень где-нибудь на берегу реки в Филадельфии вы слышите, как кучка здоровенных

парней, отдыхающих после обеда в мрачной лавчонке цирюльника, распевает классическое «Не хочешь ли сломать спину ради хозяина?» или «Кейси Джонс, скэб». Мне и теперь слышится их песня:

Кейси Джонс с машины не слезает,
Кейси Джонс привычный держит путь.
Кейси Джонс — покорный раб хозяев,
И они ему повесили медаль на грудь! *

В ИРМ любят и почитают своих певцов. По всей стране рабочие распевают песни Джо Хилла «Мятежная девчонка», «Не отбирайте у меня папу», «Рабочие мира, проснитесь». Тысячи их могли бы повторить за ним его «Завещание» — эти три простые строфы, написанные в камере в ночь перед казнью. Я встречал людей, которые носили у себя на сердце, в кармане рабочей одежды, маленький пузырек с горсточкой пепла Джо Хилла. Над рабочим столом Билла Хейвуда в Национальном штабе ИРМ висит написанный красками большой портрет Джо Хилла, очень выразительный, сделанный с большой любовью... Я не знаю другого объединения американцев, которое в такой степени чтит своих певцов...

Везде на Западе, где имеется местная организация ИРМ, вы найдете духовный центр, место, где читают книги по философии и экономике или же последние пьесы и романы. Здесь же обсуждают вопросы искусства, поэзии и международной политики. На моей родине в Портленде (штат Орегон) клуб ИРМ был самым оживленным умственным центром в городе... В организации ИРМ имелись драматурги, которые писали о жизни в «джунглях», и «бродяги»-актеры, игравшие пьесы для «бродяг»-зрителей...

Но какое отношение имеет все это к процессу в Чикаго? Прошу прощения, я отклонился от темы. Мне хотелось лишь передать то своеобразие ИРМ, которое делало эту организацию такой привлекательной в моих глазах. Ведь ИРМ была моей первой любовью среди рабочих организаций...

В сентябре 1917 г. началась травля членов ИРМ. Семь месяцев — с сентября 1917 г. по апрель 1918 г. — люди

* Перев. С. Болотина.— *Прим. ред.*

сидели в тюрьме, ожидая суда. Их обвиняли в принадлежности к организации и в заговоре, направленном на достижение поставленных ею целей. А цели ее заключались, коротко говоря, в том, чтобы уничтожить, хотя и не путем политической борьбы, существующую систему наемного труда.

Все это, по мнению судей, неизбежно должно было привести «к свержению правительства Соединенных Штатов...» Этот главный пункт обвинительного акта был бы по меньшей мере смехотворен, если бы к нему не присоединялось зловещее обвинение в «саботировании военной программы правительства». Ко всему этому был пристегнут двойной грех: мятеж и сопротивление мобилизации...

И пока сто двенадцать человек заживо гнили в тюрьмах, во всей стране началась свирепая охота на людей. Совершались нападения на помещения ИРМ, арестовывались участники собраний, конфисковывались газеты, рабочих тысячами сгоняли в загоны для скота. Все органы как регулярной, так и добровольной полиции, объединились в кампании террора и насилия против ИРМ. Членов этой организации повсеместно поносили как немецких агентов.

Разумеется, версия «измены» в деле ИРМ полностью отпала. Ее ввели лишь для того, чтобы как-нибудь скрыть подлинный характер судебного разбирательства. Из ледяных кровей разоблачений о немецких интригах, обещанных миру обвинением в начале процесса, так ничего и не вышло. Правительственные эксперты, исследовавшие книги и счета организации, признали, что все в порядке. В конечном счете так и не удалось доказать, что ИРМ проводил определенную политику по отношению к войне, ни даже того, что у него имелось какое-то единое отрицательное отношение к мобилизации...

Среди прочих смехотворных инцидентов известен широко разрекламированный приезд в Чикаго экс-губернатора Аризоны Тома Кэмпбелла с чемоданом, набитым доказательствами того, что «ИРМ получал деньги от Германии». Несколько недель он церемонно держался в стороне, ожидая минуты, когда его позовут в качестве свидетеля. Затем он внезапно объявил в газете, что знаменитый «чемодан» украден одним из членов ИРМ, переодевшимся носильщиком!

Для того чтобы устранить возможность проявления мягкосердечия, из процесса были исключены все обвинения против женщин; чтобы ИРМ не мог сослаться на тяжелые преступления, совершенные против рабочих, к суду не был привлечен ни один из высланных по делу горняков Бизби. По этой же причине не были вызваны и стачечники Бьютта, которые могли бы рассказать о пожаре на шахте «Спекьюлейтор».

Но благодаря проявленной судьей Лэндисом широтой взглядов и умению адвокатов защиты Вандевера и Клири все выступления защитников были не чем иным, как бесконечным перечнем кровавых преступлений промышленников: Кэр д'Ален, Сан-Диего, Эверетт, Якима Вэлли, Патерсон, Мисаби Рейндж, Бизби, Толза...

С самого начала процесса сквозь завесу мелких юридических уловок проглядывала классовая борьба, мощная и неудержимая.

Первое сражение разыгралось при избрании присяжных заседателей, когда со всей драматичностью раскрылись позиции обеих сторон. При опросе запасных присяжных заседателей прокурор обвинения задавал следующие вопросы:

«Можете ли вы представить себе такой общественный строй, где рабочие сами владеют и управляют промышленностью?»

«Верите ли вы в право индивидуума на приобретение собственности?»

«Верите вы или нет в то, что пужно учить детей уважать чужую собственность?»

«Верите вы или нет, что создатели американской конституции действовали по вдохновению свыше?»

«Не думаете ли вы, что владелец предприятия должен иметь больше прав в управлении им, чем все его служащие, вместе взятые?»

Все кандидаты в заседатели, проявлявшие знакомство с историей труда, экономикой или с эволюцией общественных движений, безапелляционно отводились обвинением. Вопросы защиты неизменно наталкивались на возражения. Обвинение выступило на суде с серией странных заявлений, в которых содержались замечания наподобие следующих:

«Карл Маркс — отец зловреднейшей теории, этой выгребной ямы, в которой корни ИРМ нашли себе благодатную питательную почву».

«Этот случай — обычное уголовное дело, в котором ряд людей, вступивших в тайный сговор, посягал на закон... Их преступление заключается в том, что они покушались отнять у работодателя принадлежащую ему по конституции собственность, находящуюся под охраной закона».

«Система наемного труда, — сказал г-н Клайн, обвинитель, — установлена законом, и всякое сопротивление ей есть сопротивление закону».

В другом случае прокурор Небекер разразился следующим заявлением:

«Там, где господствует закон, человек не имеет права на революцию».

На что судья Лэндис сам заметил:

«Ну, это зависит от того, скольких людей он может привлечь на свою сторону, другими словами, может ли он достичь своей цели».

Защита твердо придерживалась версии классовой борьбы. Среди вопросов, которые Вандевер и Клири задавали присяжным, были такие:

«Вы сказали, господин Небекер, что никогда не читали революционной литературы. Разве вам не приходилось читать в школе об американской революции 1776 года или о французской революции, которая низложила короля и превратила Францию в республику? А русская революция, которая свергла царя и самодержавие?»

«Признаете ли вы право народа на восстание?»

«Признаете ли вы идею революции одной из основ Декларации о независимости?»

«Вы сказали, господин Небекер, что считаете неправильным, когда собственность отбирают у того, кто владеет ею. Считаете ли вы правильным, что во время нашей Гражданской войны Конгресс принял закон, по которому у южан была отобрадена без компенсации собственность в виде движимого имущества — рабов стоимостью в несколько миллионов долларов?»

«Следовательно, вы не считаете интересы собственности выше интересов человечности?»

«Предположим, подзащитные думали, что большинство народа имеет право уничтожить нынешнее право собствен-

ности на крупную промышленность, чтобы освободить массу рабочих от промышленного рабства. Неужели это настроят вас против них?»

«Считаете ли вы, что рабочие имеют право бастовать?»

«Полагаете ли вы, что они имеют право на стачку даже во время войны?»

«Какая сторона в трудовых конфликтах обычно прибегает первая к насилию?»

«Будете ли вы возражать против применения в промышленности основополагающих принципов американской демократии?»

«Думаете ли вы, что индивидуум имеет неотчуждаемое право эксплуатировать две или три сотни людей и получать гарантированную прибыль за счет их труда?..»

И так далее в течение месяца. Какую школу пресли присяжные! Но в остальном желтой прессе удалось «замолчать» или полностью исказить ход процесса ИРМ. Реклама могла лишь пойти на пользу делу «бродяг», и потому продажные большие газеты обходили молчанием эту наиболее драматичную со времени Дреда Скотта юридическую битву. А между тем перипетии этой битвы, протекавшей в обстановке, насыщенной грозovým электричеством, имели огромное значение...

Все лето день за днем подымались на трибуну свидетели, активно принимавшие участие в классовой борьбе, и своими показаниями помогали воссоздавать великую эпопею труда. Среди них были руководители стачечного движения, рядовые рабочие, агитаторы, депутаты, полицейские, гангстеры, провокаторы и агенты тайной службы.

Я слышал, как с горечью и озлоблением выступал Фрэнк Роджерс — молодой человек, с глазами, в которых горела жажда мщения. Сухо и лаконично рассказывал он о пожаре на шахте «Спекьюлейтор», о том, как сгорели сотни людей, потому что компания не пожелала прорубить двери в перемычках. Он поведал нам также об убийстве Фрэнка Литтла, которого повесили в Монтане мракобесы «бдительные», и о том, как шахтеры Бьютта поклялись никогда не забывать об этом.

(В штабе ИРМ находится посмертная маска Фрэнка Литтла — слепое лицо с выражением презрения и жестокой насмешки...)

А Оклахома, где рабочих Толзы обмазывали дегтем и вываливали в перьях... А Эверетт с его пятью могилами жертв шерифа Макраэ, похороненных за Сиэтлом на холме... Все это постепенно выходило наружу, одна потрясающая история за другой. Добрых два дня сидел я, слушая А. С. Эмбри, рассказывавшего сызнова про злключения людей, высланных из Аризоны. По ходу рассказа я рассматривал фотографии горняков, которых гнали по бесплодной стране между двух рядов людей с винтовками в руках и с белыми платками, обернутыми вокруг запястий.

Все помнят, как высланные были погружены в вагоны для скота, как машиниста, несмотря на его сопротивление, силой заставили вести поезд. Как, прибыв, наконец, в Колумбию (штат Нью-Мексико), поезд был отправлен назад и загнан в пустыню, где только военный отряд Соединенных Штатов спас отчаявшихся людей от голодной смерти и непогоды. У многих из высланных были в Бизби жены, семьи и имущество, некоторые не были членами ИРМ, а иные вовсе не участвовали в рабочем движении. У значительной части этих людей были облигации Займа свободы, а некоторые даже зарегистрировались на призывных пунктах...

Я сидел и слушал совсем простого парня, сельскохозяйственного рабочего по имени Эггель, который рассказывал, как «комитеты бдительных» и гангстеры из городов Северо-Запада охотились за деревенскими поденщиками — членами ИРМ. Бесстрастно рассказывал он, как его вместе с другими сняли с поезда в Эбердине (штат Южная Дакота) и избili.

«Один человек садился вам на шею, двое — на руки и двое — на ноги, а детектив — имя его было, кажется, Прайс — бил вас двухвосткой из четырех переплетенных ремней с узлами на концах. Бил по спине и бедрам до тех пор, пока на теле у вас не вздувались рубцы...

Так вот, посадили меня в один автомобиль, а Смита — в другой и снова задали мне трепку. А потом, когда меня избili в третий раз, я ночью вернулся украдкой в Эбердин и спал у сарая с фуражом. На следующий день я доковылял до станции и сел на поезд, уходящий в Северную Дакоту...»

Послушайте, как библейски просто рассказывает другой.

«Значит, они заграбастали нас. И один шериф спрашивает: «Ты член ИРМ?» Я говорю: «Да». Он требует мою карточку, я даю ее ему, а он ее разрывает. Он разорвал также карточки у других ребят — членов ИРМ, бывших вместе со мной. «Что за польза рвать карточки, мы ведь можем получить дубликаты», — говорит один из них. «Не беда, — отвечает шериф, — мы можем разорвать и дубликаты». А этот парень, рабочий, заявляет ему: *«Так-то так, но вы не можете вырвать ИРМ из нашего сердца».*

Прекрасно смирение этих рабочих, их почти безграничное терпение и поразительная доброта. Несмотря ни на что, они верят в конституцию и заверения правительства. Да, вопреки своей преамбуле, ИРМ еще верит в доброту людей и в возможность торжества справедливости...

1918 год.

С ДЖИНОМ ДЕБСОМ В ДЕНЬ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ

Что вам угодно, м-р Спаркс? — спросил официант в аптеке с фамильярностью, принятой между коренными жителями Терр-Ота (штат Индиана), и уважением, которого заслуживал этот преуспевающий политический деятель.

— Дай мне орехового мороженого, Джордж, — сказал юрист, живший за углом на Сикамор-стрит. Его настоящее имя было не Спаркс. На нем был новый серый костюм, украшенный маленьким американским флажком, значками первого и третьего Займов свободы и эмблемой Красного Креста.

— Настоящая праздничная погода, как и полагается четвертого июля, а, Джордж?

Из окна аптеки видна была необычайно оживленная Эйт-стрит. По ней шли семьи, направлявшиеся к центру города: мамы и папы в праздничных нарядах, с потными лицами, и детишки с флажками в руках. Тут же проезжали древние автомобили окрестных фермеров, украшенные флагами и битком набитые степенными парнями. Издали слабо доносились то треск пущенной наудачу шутихи, то еще слышные мелодии военного оркестра, играющего на параде. Горячий, удушливый ветер гнал изредка по улице клубы желтой пыли.

— Да, дни стоят жаркие, что надо, — ответил Джордж. — Мы собираемся скоро запирать лавку. Пойдем в город смотреть парад.

Он зачерпнул ложечку мороженого и возобновил прерванную болтовню.

— Говорят, в Кливленде арестовали Джина Дебса...

Все находившиеся в комнате прекратили разговор и подняли головы.

— Да,— произнес юрист удовлетворенно.— Да-а-а. Судя по тому, что пишут в газетах, мне кажется, что Джин хватил на этот раз через край. Думаю, что теперь его засадят.

В углу за столиком сидел старик с умным гладко выбритым лицом и седыми, расчесанными на стороны бакенбардами. На нем был белый крахмальный воротничок. При этих словах он поднял глаза.

— Вы думаете, что они посадят Джина в тюрьму? — спросил он с некоторой тревогой.

— Он должен наравне с другими понести наказание за то, что нарушил закон,— сказал назидательно Спаркс.— Тот, кто причиняет неприятности правительству, должен сам ожидать того же. Не такое сейчас время, чтобы болтать о социализме...

Джордж, приготовлявший молочную смесь, остановился.

— Вы знаете Хенка — полисмена? Ну так вот, он был здесь вчера вечером и сказал, что Джина Дебса следовало бы запереть двадцать пять лет назад.

В ответ послышался одобрителный ропот.

— Это не делает чести городу,— возвестил мистер Спаркс.— Ведь на те деньги, которые Джин Дебс зарабатал лекциями, он не купил ни одной облигации Займа свободы...

Костлявый с кирпичным лицом юноша, который сидел с двумя хихикающими девицами в пышных муслиновых платьях, крикнул злобно:

— Держу пари, что если бы кайзер когда-либо услышал о Джине Дебсе, он пожаловал бы ему железный крест!

Старик с бакенбардами осторожно вмешался.

— Ну-ну, вы хватили малость через край,— заметил он.— Все мы знаем Джина Дебса. Джин не предатель. Только немножко легкомыслен, вот в чем его беда...

В Терр-Оте все знают Джина Дебса. Здесь он родился шестьдесят два года назад. Его родители приехали в Америку из Эльзаса. Отец Джина был человеком зажиточным — у него были мельницы в Кольмаре. Он полюбил девушку, работавшую на одной из его мельниц, и, чтобы жениться на ней, отказался от наследства. Вместе они при-

ехали в Индиану как иммигранты и прошли через все тяжкие испытания бедности. И хотя все это произошло до 1870 года, старик Дебс никогда не мог примириться с тем, что Эльзас принадлежит Германии. На своей могильной плите он приказал выгравировать надпись: «Родился в Кольмаре, Эльзас, Франция».

Так же как его родители, Джин проделал определенную экономическую и политическую эволюцию. Вместе с отцом он голосовал сначала за партию гринбекеров, потом за популистов. Таким типично американским путем Джин Дебс и его родители пришли к социализму...

Терр-От — богатый сельский городок Индианы — был родиной Юджина Филда, Джеймса Уиткомба Райли и множества других новеллистов и поэтов. Всякий раз, проезжая в поезде эту страну, я не могу отделаться от чувства, что в конечном счете это и есть подлинная Америка.

Повсюду видны чистенькие деревни, белые, окруженные деревьями дома фермеров, колосющиеся пшеницей поля. Меж глинистых берегов текут неглубокие реки, по отлогим, волнистым холмам бродят ленивые коровы и босоногие дети. Там и сям разбросаны церковные шпили и кладбища, перенесенные сюда из Новой Англии протестантами, но смягченные и ставшие более просторными при соприкосновении с Югом и Западом. Везде можно встретить сельские школы и безобразные, но милые сердцу памятники Гражданской войны. Картину довершают сикоморы со стрекочущими в их листве цикадами и почти пугающий своим буйным плодородием чернозем. От него поднимаются летом животворные пары, насыщающие жаркую атмосферу этой равнинной страны. Они распространяют вокруг себя характерный для Америки несколько слащавый привкус — смесь сентиментальности и юмора.

Все вместе — это Средний Запад, страна с традицией оседлого сельского населения, которой предшествовала романтика Гражданской войны, а еще раньше — эпические подвиги двигавшейся на Запад расы переселенцев и завоевателей...

Здесь живет Джин Дебс — истинный собрат Филда и Райли, американец, уроженец Среднего Запада, человек пронизательный, добродушный и неукротимый. Когда я был еще мальчиком, мое представление о дяде Сэме цели-

ком совпадало с образом Джина Дебса. И я до сих пор не уверен, что инстинкт меня обманывал.

В день четвертого июля мы с Артом Юнгом * отправились в Терр-От навестить Джина. Всего лишь месяц назад распространился страшный слух, от которого сжались наши сердца: «Джин Дебс изменяет партии!» Джин разоблачил эту клевету в резком заявлении, опубликованном в нью-йоркской газете «Колл» **. Затем последовало его турне по средним штатам, во время которого ему повсюду угрожали арестом, насилием и даже линчеванием... Но Дебс продолжал хладнокровно выступать по расписанию, — бесстрашный и непоколебимый человек, горячо любящий свой народ.

А потом последовали его речь в Кантоне ***, представлявшая собой открытый манифест интернационализма, и его арест в Кливленде.

«Джин Дебс арестован. Они арестовали Джина», — передавали друг другу потрясенные люди, и сердца их сжимались от любви, жалости и гнева. Ни одно событие, происшедшее в Соединенных Штатах в этом году, не взволновало до такой степени массы людей. Ни длительные сроки наказания, к которым присуждали протестовавших против военной службы людей, ни осуждение по закону о шпионаже и антиправительственной деятельности редакторов, лекторов и активистов социалистической партии, ни подавление социалистической прессы — ничто, казалось, не затронуло глубоко народ. Другое дело — арест Джина Дебса и осуждение как изменника родины. Это была как бы пощечина, нанесенная тысячам простых людей. Многие из них вовсе не были социалистами, но они слышали его речи и поэтому любили его. Что же говорить о сотнях тех, кому он помог, кого одарил своей дружбой или спас от беды...

«Джин Дебс арестован! Наш Джин! Ну, это уж чересчур!»

* Крупный американский художник и мастер социальной карикатуры.— *Прим. ред. ам. изд.*

** Социалистическая газета, основанная в 1909 году.— *Прим. ред. ам. изд.*

*** Знаменитая антивоенная речь Дебса, произнесенная в Кантоне на съезде социалистической партии штата Огайо 16 июня 1918 года. За эту речь он был арестован и приговорен к 10 годам тюрьмы.— *Прим. ред. ам. изд.*

Случилось так, что Аллан Бенсон * выступил в газете со статьей, где критиковал власти за то, что они арестовали Дебса именно в тот момент, когда тот собирался переходить в национальную партию. Теперь, сидя в своей затемненной гостиной, с бюстами Вольтера, Руссо и Боба Ингерсолла за спиной, Дебс посмеивался над проницательностью мистера Бенсона. Я не мог не представить себе мысленно забавную картину: Джин Дебс в компании благочестивых проповедников сухого закона и социалистов-ренегатов! «Дешевый сброд» — таково было суждение Джина о всем их круге.

Когда мы приехали, он был в постели, но настоял на том, чтобы ему помогли встать. «Он чувствует себя неважно,— сказала жена,— ему нездоровилось весь год». Каким изможденным и высоким он выглядел, каким усталым казалось его длинное, сжигаемое болезнью тело. И все же, когда он выступил вперед, приветствуя нас, нам показалось, что от всего его существа исходит какое-то мягкое сияние. Он протягивал нам обе руки и глядел на нас с такой радостью, как будто питал к нам глубокую привязанность... Мы чувствовали себя словно окутанными симпатией Джина Дебса. Я никогда прежде не был знаком с ним, но слышал его выступления. Какую непреодолимую жизненную силу излучало в такие минуты все его существо, какое тепло, мужество и веру!

Теперь он стал старше, и напряжение, вызванное борьбой и жертвами, произвело в нем большие опустошения; но его улыбка сохранила все свое простодушие, а обаяние — глубину. По-прежнему он неудержимо загорался, когда речь шла об оказании кому-нибудь услуги...

Джин заговорил. Те, кто не слышал, как он говорит, никогда не поймут, что это было. Не эрудиция, не изысканный подбор выражений и не хорошо модулированный голос составляли его силу, сила была в энергии его пылающего лица, в быстром и слегка сбивчивом потоке его искренних слов. Он рассказывал о своем путешествии, описывая с чисто детским удовольствием, как он перехитрил детективов, следивших за ним в Кливленде; как повсюду мэры и патриотические комитеты предупреждали его о том, чтобы он не выступал, а он все-таки выступал.

* Прежний лидер социалистической партии и ее кандидат на пост президента на выборах в 1916 году.— *Прим. ред ам. изд.*

— А вы не боитесь линчевания? — спросил я его.

Джин улыбнулся.

«В том-то и дело, что я как-то не думаю об этом. Мне кажется, что таким образом я предохраняю себя психологически. Так, я совершенно уверен, что, пока я не спускаю с них глаз, они не осмелятся ничего совершить. Ведь в конце концов все они — малодушные трусы. Их надо держать под наблюдением, в этом вся штука...»

Все время, пока мы разговаривали с ним, по улице проезжали украшенные флагами автомобили, издали доносился шум парада... Глядя в потемневшее окно, мы наблюдали за прохожими. Проходя мимо нашего окна, они кивали или указывали на него со смешанным выражением злобы и какого-то страха. Видно было, как они говорят друг другу: «Здесь живет Джин Дебс» — с таким же выражением, как другой сказал бы: «Вот дом предателя».

— Пойдемте, — предложил внезапно Джин, — посидим у парадного подъезда. Покажем им хорошее зрелище, раз они хотят меня видеть.

Итак, мы уселись в подъезде и сняли с себя пальто. Проходившие мимо лишь смотрели украдкой в нашу сторону и шептались. Но, встречаясь глазами с Джином, они кланялись ему самым сердечным образом.

Джин рассказал нам, как население Индианы и всех средних штатов было запугано и терроризировано лигами «лояльности», гражданскими комитетами и «бдительными», как оно было взвинчено и доведено до истерики...

Прежняя откровенность, которая еще накануне войны была характерной чертой фермеров Индианы, теперь совершенно исчезла. Никто не решался поверить свои мысли другому. Очень многие любили его, Джина Дебса, но не отваживались проявить свои чувства иначе, как в анонимных письмах... И он заговорил о руководителях движения, которых чернь избивала, обмазывала дегтем и вываливала в перьях, после чего они прекращали всякое сопротивление и становились на точку зрения большинства...

— Если бы что-нибудь подобное сделали со мной, — сказал Джин, — то даже если бы я и изменил свое мнение, я вряд ли смог бы объявить об этом.

Было что-то и трагическое и забавное в том, как Терр-От относился к Джину. До войны Джин умножил славу своего города и соответственно пользовался огромной популярностью. Прежде благодаря деятельности его орга-

низации практически все население города Терр-Ота было против войны... Но с начала войны здесь произошла обычная перемена. Весь город был мобилизован как психологически, так и умственно — весь, за исключением Джина Дебса. И люди попроще не могли взять этого в толк.

Банкиры, законники и торговцы ненавидели его лютой ненавистью. Даже проповедники-евангелисты, которые прежде не раз умоляли его выступить на молитвенных собраниях, теперь организовывали митинги, на которых обличали «врагов в нашем лоне». Никакие имена при этом не упоминались. Никто не осмеливался назвать Джина Дебса в лицо врагом. Когда он выходил на улицу, все были с ним подчеркнуто вежливы. Оперативные работники Департамента юстиции, добровольные детективы всех видов, агенты по распространению Займа свободы — все они рыскали вокруг его дома, но не отваживались войти и предстать перед старым львом. Однажды «патриотический» комитет дельцов напал на рабочего-немца и осыпал его угрозами. Услышав об этом, Джин послал комитету записку, гласившую: «Чем ходить в дом этого бедняги, приходите-ка лучше ко мне. У меня есть дробовик, который ждет не дождется ваших молодцов». Но члены комитета не пришли...

У меня хранится портрет Джина Дебса. Его продолговатое костлявое лицо изображено на фоне ярких петуний, растущих в ящике на перилах. Широко улыбаясь, он поднимает свою худую руку, и длинные, как у музыканта, пальцы словно подчеркивают значение его слов.

— Что, разве плохо держалось большинство наших ребят? Превосходно. Если все это не могло их сломить, значит это вообще невозможно. Социализм приближается, и им не удастся преградить ему путь, как бы они ни старались. Чем больше та сторона совершает промахов, тем лучше для нас...

И когда мы спускались по лестнице, он, по-прежнему сердечный и обаятельный, пожимал нам руки и хлопал нас по плечу. На прощанье он сказал громко, так, чтобы соседи могли его слышать:

— Передайте всем ребятам, которые борются, где бы они ни находились, слова Джина Дебса. Он пойдет с ними до самого конца без колебаний и без страха!

МИР, КОТОРЫЙ ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОСТИЖИМОГО...

ФАНТАЗИЯ

Сцена: зал часов в Палэ д'Орсэ в Париже — место заседаний Мирной конференции. В задней части — украшенный тяжелой резьбой камин из белого мрамора. На нем часы, над которыми возвышается мраморная статуя женщины, держащей факел; некоторые называют ее «Победа», другие — «Свобода», «Просвещение», «Сухой закон» и т. д. Часы отстают на пятьдесят лет.

Диалог ведется делегатами на их родном языке. Но это не представляет трудности, так как все понимают друга друга в совершенстве.

По ходу действия время от времени может играть музыка в виде тихо исполняемых патриотических мелодий.

На сцене: за столом Мирной конференции сидят президент Вильсон, премьеры Клемансо, Ллойд Джордж и Орландо, а также барон Макино — делегат Японии. В момент поднятия занавеса все смеются. Не принимает участия в веселье лишь Орландо.

Вильсон. Я и не подозревал, что низшие классы общества столь многочисленны. Этим объясняется моя речь в Турине. Я сказал: «Промышленные рабочие будут диктовать условия мира...» (Веселье возобновляется. Орландо смотрит хмуро.)

Орландо (мрачно). *Corpo di Vacco!* * Вы поставили меня в чертовски затруднительное положение. Я был вынужден изъять эту речь. У нас едва не произошла революция. Вам следует помнить, что итальянские рабочие — народ невоспитанный, у нас нет Сэмюэля Гомперса **...

* «Клянись Вакхом!» (итал.).— Прим. перев.

** Президент Американской федерации труда, бессменно (за исключением одного года) занимавший этот пост с 1882 по 1924 год.— Прим. ред. ам. изд.

Л л о й д Д ж о р д ж (*обращаясь к Орландо*). Ну, старый дружище! Не относитесь к этому так серьезно. В Англии они *всегда* говорят о революции. Но куда мы в состоянии удерживать за собой *их голоса*...

К л е м а н с о (*Вильсону с чисто галльским обаянием*). *Saperlotte!* [Превосходно!] Что за человек. А Лига Наций — *quelle idée* [что за идея!] Сначала я думал, что вы нечто вроде Генри Форда... Ну кто, кроме вас, мог бы доказать, что равновесие сил и Лига Наций одно и то же?

В и л ь с о н. Да, да... Надеюсь, мне не нужно распространяться далее о том, что нашей целью должна быть *фраза*? Реклама — вещь чрезвычайно развитая у нас на родине...

М а к и н о. *Банзай*. А политика открытых дверей в Китае!

В и л ь с о н (*скромно*). Пустяковое достижение. Да что говорить, я выиграл свою вторую кампанию в Америке фразой: «Он удержал нас от войны». (*Всеобщее веселье*.)

О р л а н д о (*стукнув по столу*). *Per dio!* [Клянусь богом!] Вот что нам нужно в Италии. Не могли бы вы совершить второго турне и разъяснить этот итальянский договор, опубликованный большевиками?

Л л о й д Д ж о р д ж (*оживленно*). Джентльмены, мне жаль прерывать этот приятный разговор, но я предлагаю приступить к тому, что наш американский коллега называет «почетной и ответственной задачей установления мира в Европе и во всем мире». (*Смех*.) Я вовсе не хочу опоздать в «Фоли Бержер». Посещение театров — это еще один метод управления государством, которому мы научились у мистера Вильсона. (*Кланяется президенту*.)

К л е м а н с о (*занимая свое председательское место*). Итак, Мирная конференция переходит к порядку дня. Пусть обыщут помещение.

(*Делегаты ищут под столом, за занавесями, под коврами, за картинами и за статуей над часами. Орландо первый вылезает из-под стола, таща за ухо сербского делегата*.)

О р л а н д о (*свирепо*). Что вы здесь делаете? Разве вы не знаете, что здесь идет Мирная конференция?

С е р б с к и й д е л е г а т. Но ведь мы тоже участвовали в войне.

О р л а н д о. Так то во время войны! А сейчас *мир!* (*Сербского делегата выдворяют*.)

(Клемансо вытаскивает из-за часов бельгийского делегата.)

Клемансо *(тряся его)*. Ах так, снова подслушивать? Сколько раз вам говорили, что эта конференция — тайная?

Бельгийский делегат. Но ведь война велась из-за нас, не так ли?

Клемансо. Война, война! Разве вы не знаете, что война окончена? *(Бельгийского делегата выдворяют.)*

(В складках драпировки Макино находит укрывшегося там чехословацкого делегата.)

Макино *(негодующе)*. Еще один раз — и мы аннулируем свое признание.

Чехословацкий делегат. А Четырнадцать пунктов...

Макино. Они еще не получили истолкования. Бегите-ка теперь обратно в Сибирь и убивайте большевиков, пока за вами не пошлют. *(Чехословацкого делегата выдворяют.)*

(Появляется Ллойд Джордж, держа за воротник румынского делегата.)

Румынский делегат. Но ведь вы обещали нам Трансильванию!

Ллойд Джордж *(вспылив)*. В смысле, истолкованном Вильсоном! В смысле, истолкованном Вильсоном! *(Румынского делегата выдворяют.)*

(В течение всего этого времени Вильсон стоит у камина и шарит в дымовой трубе кочергой. Внезапно оттуда с грохотом падают три выпачканных в саже человека. Делегаты хватают их и вытаскивают на середину. Они оказываются армянским, югославским и польским делегатами.)

Армянский делегат. Мы думали, что независимость Армении...

Вильсон *(твердо)*. Могу ли я предложить, чтобы конференция отметила неблагодарность этого субъекта? И это в ту самую минуту, когда мы, в Соединенных Штатах, собираем в фонд помощи Армении!

Орландо *(югославу)*. Что вам нужно, зачем вы забрались сюда?

Югославский делегат. Но ведь тысячи наших соотечественников сражались в итальянской армии.

Орландо. Ну и прекрасно, чего же вам еще?

Клемансо (*поляку*). Будьте осторожны, молодой человек, или мы заберем вашего пианиста и дадим вам флейтиста.

(*Армянского, югославского и польского делегатов выдворяют.*)

Маккино (*Вильсону*). Мне кажется, кто-то зовет вас.

(*Вильсон пересекает комнату и открывает окно. Слышны пронзительные выкрики на испанском языке делегатов республик Центральной Америки.*)

Вильсон (*величественно*). Мы собрались здесь, коротко говоря, для того, чтобы устранить самые предпосылки, породившие войны. Эти предпосылки заключались в агрессии великих держав против малых.

ДЕЛЕГАТЫ КОЛУМБИИ, ПАНАМЫ, САН-САЛЬВАДОРА, НИКАРАГУА, ГВАТЕМАЛЫ, ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ и т. д. А как же с захватом Панамского канала? Почему морская пехота Соединенных Штатов контролирует выборы в Никарагуа? Почему американское правительство игнорирует решения учрежденного им самим Верховного суда? Почему Соединенные Штаты уничтожили республику Сан-Доминго и установили американскую военную диктатуру? Как насчет зоны канала в Никарагуа, «Браун бразерс компани», «Юнайтед фрут компани» и т. д., и т. д.

Вильсон. Только эмансипация народов всего земного шара явится средством к достижению мира. (*Благородным жестом смахивает латиноамериканских делегатов с подоконника и захлопывает окно.*)

Клемансо (*утирая пот со лба*). Теперь Мирная конференция спасена для демократии!

Вильсон. Избранные классы общества больше не руководят мировой политикой. Судьбы мира теперь находятся в руках простых людей. (*Смех.*)

Маккино. Для того чтобы послушать его, стоило проделать весь путь из Японии.

Клемансо. Теперь, джентльмены, прежде чем мы займемся расчленением Германии, установлением размера репараций и подавлением большевизма, я попросил бы мистера Вильсона пояснить некоторые из его Четырнадцати пунктов... Мы, конечно, знаем, что они вполне правильны, но в некоторых кругах существует беспокойство... Сегодня утром мне позвонил Ротшильд...

К примеру, не объяснит ли нам почтенный коллега, как он, черт возьми, думает обойти пункт первый: *«Гласные мирные договоры, заключенные путем открытых переговоров, после которых не останется места для каких бы то ни было тайных соглашений, и дипломатия будет развиваться открыто, у всех на виду»?*

Вильсон. В чем дело, джентльмены, разве мы не « совещаемся открыто »? Все ведь знают, что мы собрались на мирную конференцию... Дальше идет слово « соглашения ». Оно означает нечто такое, на что люди могут согласиться. Разумеется, в наши намерения не входит установить *подобного рода мир. (Все аплодируют.)*

Ллойд Джордж. Адмиралтейство несколько обеспокоено пунктом вторым: *« Полная свобода навигации по морям вне территориальных вод как во время мира, так и во время войны, кроме случаев, когда моря могут закрываться полностью или частично международной акцией, чтобы вынудить к выполнению международных соглашений »*. Это, на наш взгляд, имеет чересчур всеобщее и к тому же чуть-чуть про... в общем какое угодно « про », только не проанглийское направление; не знаю, улавливаете ли вы мою мысль.

Вильсон. Могу ли я обратить ваше внимание на тот факт, что Великобритания состоит из Англии, Шотландии и Уэльса? Она международна. Надеюсь, вы меня понимаете? Что может быть более международным, чем Англия, Шотландия и Уэльс? *(Возгласы одобрения и рукопожатия среди делегатов, особенно со стороны Ллойд Джорджа.)*

Маккино. Теперь пункт третий: *« Устранение, насколько это возможно, всех экономических барьеров и установление равенства в торговле среди наций, договаривающихся о мире и объединяющихся для его поддержания »*. Видите ли, наши интересы в Китае и позиция на Тихом океане...

Вильсон. Но это элементарно, мой дорогой. Позвольте мне привлечь ваше внимание к безобидному выражению « насколько это возможно ». Мы с вами, барон, знаем эти возможности... И раз мы коснулись этого вопроса, давайте рассмотрим пункт четвертый: *« Должны быть даны и одобрены соответствующие гарантии сокращения национальных вооружений до самого низкого уровня, совместимого с безопасностью страны »*. Как вы думаете,

почему я вставил это выражение «совместимого с безопасностью страны»? (*Аплодисменты становятся просто оглушительными.*)

Л л о й д Д ж о р д ж. Мистеру Вильсону следовало бы совершить лекционное турне для разъяснения вопроса о том, кто начал войну.

К л е м а н с о. Осталось лишь уяснить пункт пятый, тот, знаете ли, о колониях...

Л л о й д Д ж о р д ж и М а к и н о. А-а-а.

К л е м а н с о. Кстати, что он означает в точности? *«Свободное, непредвзятое и совершенно справедливое урегулирование всех колониальных претензий, основанное на строгом соблюдении принципа, что при решении всех подобных вопросов интересы затрагиваемых этим урегулированием народов должны приниматься во внимание в той же степени, что и справедливые претензии правительств, права которых должны быть определены».* Мне представляется, что это не относится ни к китайцам, ни к неграм...

В и л ь с о н. Разве мы не можем для целей Мирной конференции причислить албанцев к монгольским хеттам?

Л л о й д Д ж о р д ж (*с сомнением*). Но ирландцы...

В и л ь с о н (*задумчиво*). Нельзя пренебрегать голосами ирландцев в Нью-Йорке. Если придется выставлять свою кандидатуру в третий раз...

Л л о й д Д ж о р д ж. Ирландцы ужасные буквоеды.

В и л ь с о н (*просветлев*). Разрешите мне сделать ударение на идеалистической фразе «затрагиваемых этим урегулированием народов»? Что представляет собой «затрагиваемый этим урегулированием народ» в случае с Ирландией? Ведь англичане, естественно, тоже затрагиваются этим в сильнейшей степени!

Л л о й д Д ж о р д ж (*с восхищением*). Эх, жаль, что меня не выучили на профессора!

В и л ь с о н. В связи с этим позвольте мне обратить ваше внимание на тот факт, что Соединенные Штаты тоже собирают вокруг себя несколько э-э-э... скажем, «приемных детей». Я успокоил вас, джентльмены, относительно негров и уроженцев Востока. Поэтому будет лишь справедливо, если вы позволите мне прибавить к этому списку наших латиноамериканцев...

К л е м а н с о. О, конечно.

Другие. Разумеется, с удовольствием.

Макино (*неуверенно*). Деликатный вопрос, но представляющий большой интерес для моего правительства...

Ллойд Джордж. И моего...

Макино. Немецкие колонии в Тихом океане...

Клемансо. И в Африке...

Ллойд Джордж (*холодно*). Немецкие колонии в Африке? Что с вами? Вы, вероятно, ошиблись? Я не могу вспомнить ни одной...

Макино. О, наши войска захватили местность, называемую Киао-Чао.

Клемансо. Но ведь это в Китае, не правда ли?

Макино (*вежливо*). О нет, это в Германии.

Вильсон. Джентльмены, мы не должны возвращаться к старым методам. На этот счет у меня есть определенное высказывание, то есть определенное для меня. Так, например, я сказал: *«Ни одна нация не должна быть ограблена... на том основании, что безответственные правители отдельных стран сами повинны в тяжелых и отвратительных преступлениях».*

(*Все смотрят на него с удивлением.*)

Орландо. Но что же вы в таком случае думаете предпринять?

Вильсон (*мягко, с милой улыбкой*). Создать Лигу Наций... Лига Наций отберет у Германии ее колонии.

Ллойд Джордж. Это нелепо. Я отказываюсь принять...

Макино. Японское правительство не отступится...

Вильсон. Минутку, минутку, джентльмены! Лига Наций передаст колонии агентам — я избрал слово «мандатарии». Так вот, *вы* — мандатарии...

Ллойд Джордж. Ответственные перед Лигой Наций? Никогда!

Вильсон. Только в определенном смысле. Это и есть вильсонизм. Лига Наций создаст определенные правила для управления этими колониями. Каждые пятьсот лет мандатарии будут отчитываться перед Лигой. *Мы* — мандатарии и мы же — *Лига Наций!*

(*Делегаты обнимаются.*)

Макино (*Ллойд Джорджу*). А Тихий океан?

Ллойд Джордж. Мы, англичане, — раса спортсменов, барон. Нет ли у вас игральные кости?

(*Все тотчас же вытаскивают игральные кости.*)

Л л о й д Д ж о р д ж. Благодарю вас, я предпочитаю свои собственные.

М а к и н о. Я тоже привык к своим.

(Звонит телефон. Клемансо берет трубку.)

К л е м а н с о *(Вильсону)*. На проводе Гомперс. Он передает вам привет от короля Георга и выражает желание узнать, что решила Мирная конференция относительно условий труда.

(Вильсон подходит к телефону.)

В и л ь с о н. Добрый вечер, Сэмюэль. Я, кажется, не хуже других знаю, что общественный строй держится на плечах многомиллионного рабочего класса всех стран и что в некоторых странах эти трудящиеся своим пониманием общности интересов, своим пониманием общности духа, быть может, более, чем кто-либо другой, способствуют установлению мирового общественного мнения, мнения, которое не принадлежит какой-либо нации или континенту, но, если можно так выразиться, всему человечеству. Искренне и сердечно ваш Вудро Вильсон. Прошу передать это прессе. До свидания. *(Вешает трубку.)*

Л л о й д Д ж о р д ж *(смотрит на свои часы)*. Нельзя ли поскорее, друзья? Я сговорился пообедать с полдюжиной королей.

К л е м а н с о. Пункт шестой, вы со мной согласитесь, самый важный из всех. Это о России... *(Хор стонов, воркотни и эпитетов на четырех языках.)*

К л е м а н с о *(читает)*. «Эвакуация всей русской территории...» Здесь подразумеваются немцы?

В и л ь с о н. Вряд ли таково значение этой фразы. Ведь ясно, что, если немцы отступят, русские могут вторгнуться в Россию...

Л л о й д Д ж о р д ж. Это значит, что Россия должна быть очищена от всех, кроме иностранцев и русской аристократии.

К л е м а н с о *(продолжает)*. «...и такое решение всех вопросов, касающихся России, которое обеспечит лучшее и более полное сотрудничество других наций мира в создании для нее беспрепятственных и свободных возможностей для самостоятельного определения ее собственного политического развития и национальной политики». Вы, конечно, не думаете...

В и л ь с о н. Разумеется, нет.

К л е м а н с о *(продолжает)*. «...и обеспечения ей по-

истине радушию при вступлении в рабство — прошу прощения, я оговорился — в общество свободных наций, под руководством выбранных ею самой учреждений». Простите меня, но не слишком ли много в этом документе «самостоятельных определений» и «выбранных ею самой учреждений»?

Вильсон. Напротив. Если вы примете во внимание нынешнее состояние умов, то, я думаю, вы поймете, что сейчас особенно необходимо повторять эту формулировку как можно чаще.

Клемансо (*продолжает*). «... и наряду с радушием приемом также и всесторонней помощи, в какой она будет нуждаться и какой сама пожелает...» Следует ли понимать под этим?..

Макино. Омское правительство уже наладило производство водки. Как нам известно, Россия теперь нуждается, по-видимому, лишь в одном — в царе, и мы, как можем, торопимся с урегулированием этого вопроса.

Клемансо. Понимаю. Я думал, что, может быть...

Вильсон. О нет. Позвольте мне обратить ваше внимание на дилетантский характер европейской дипломатии. У себя на родине нам ничего не стоит за убеждения посадить в тюрьму полторы тысячи человек и называть это свободой слова...

Клемансо (*читает*). «Обращение с Россией братских наций в ближайшие месяцы послужит пробным камнем для проявления ими доброй воли, их понимания ее нужд, поскольку они отличаются от наших собственных интересов, их разумной и бескорыстной симпатии». Подобного рода вещи не встретят понимания во Франции. Мы вложили миллиарды в русские займы...

Вильсон. Могу ли я обратить ваше внимание на необременительность прилагательных?

Макино. Но зато имеется ряд обременительных существительных. Что *прикажете* нам делать с Россией?

Ллойд Джордж. Там в холле ожидает стадо всяких князей. Может быть, мы спросим их?

Вильсон. Это неразумно. Кто-нибудь из них может быть заражен большевизмом. В этом отношении никто, по-видимому, не имеет иммунитета. Кто знает, может быть, даже *мы*... (*Все вздрагивают.*) Если мы узнаем факты, касающиеся России, они могут повлиять на наше суждение...

Клемансо. Давайте изобразим дело так, будто Россия разделена между враждующими группировками, и пригласим их всех послать представителей на конференцию в верховьях Амазонки...

Вильсон (*кивая*). Вы делаете успехи. Пусть « совещаются с представителями объединенных держав в атмосфере полной свободы и непринужденности».

Орландо. Большевики умеют говорить...

Клемансо. Пусть говорят. Их никто не услышит в верховьях Амазонки.

Вильсон. Это один из случаев, когда дипломатия « может действовать откровенно и на виду у публики ».

Орландо. Ну а как же другие группировки?

Клемансо (*победоносно*). Да ведь другие группировки — это *мы!*

(*Часы бьют пять.*)

Ллойд Джордж (*вскакивает*). Бог мой! Мы обсудили уже шесть пунктов. При такой скорости через три дня нам нечего будет делать. Останется лишь вернуться домой.

Макино (*мечтательно*). Я так люблю Париж.

Ллойд Джордж. Одно только слово насчет пункта одиннадцатого — Бельгии, знаете ли. Вот эта статья: «...без какого-либо покушения на ограничение суверенности, которой она пользуется». Не слишком ли это сильно? Мы, разумеется, не можем позволить...

Вильсон. Вот еще одно дело для Лиги Наций. Для этого Лига Наций и создана.

Клемансо. И пункт восьмой — об Эльзас-Лотарингии. Я надеюсь, что вы не увлекаетесь этими глупыми идеями о «самоопределении» Эльзас-Лотарингии?

Вильсон. О, я за самоопределение всех, исключая сторонников Германии.

Клемансо. Но формулировка этой статьи оставляет место для ложных истолкований. Благодаря ему может возникнуть прецедент. Вам известно, что мы намереваемся аннексировать Саарский бассейн, где *нет* ни одного француза...

Вильсон. Джентльмены, вы, кажется, проглядели существенный пункт — пункт пятнадцатый, если мне позволено будет прибегнуть к такому выражению. Я прикрыл его такой роскошной словесностью, что никто в мире до сих пор не обнаружил его. Должен ли я обратить

ваше внимание на тот факт, что *нигде в этой программе я не высказался против принципа аннексии?*

(Бурный восторг).

Орландо. А пункт девятый: «Изменение границ Италии должно производиться в соответствии с четко установленными границами национальности?»

Вильсон. Заметьте, что я нигде не уточняю, *какая это национальность...*

Ллойд Джордж. Мне пора идти. Что еще осталось?

Клемансо. Только Австро-Венгрия, Балканы, Турция и Польша.

Орландо. Уделим им полчаса завтра.

Макино. Могу ли я предложить, чтобы наш американский коллега написал заявление для печати?

Ллойд Джордж *(Макино)*. А пока он займется этим, что вы скажете, если мы по-дружески разрешим вопрос о германских колониях?

Макино. Восхитительно!

(Оба берутся за кости и, пока Вильсон пишет, играют.)

Ллойд Джордж. Две девятки! Хватит деточке на новые носки! На что мы играем: на Каролинские острова?

Макино. Каролинские острова! Идет семерка! Заверните!

Ллойд Джордж *(щелкает пальцами)*. Пошли дальше, крошка, папа смотрит! Тю-тю!

Макино. Катись, катись, милый! Ах ты, одиннадцать...

Ллойд Джордж. Ваша взяла, клянусь Джинго. Что там дальше? Киао-Чао?

Макино. Маршалловы острова.

Ллойд Джордж. Идут Маршалловы острова! Бросай кости, парень!

(Играют.)

Вильсон. Я кончил. Прочсть? *(Все соглашаются.)*

Вильсон *(читает)*. «На сегодняшнем заседании Мирной конференции президент Вильсон одержал новую моральную победу. Несмотря на зловещие предсказания, его серьезность и красноречие, подкрепленные бескорыстными мотивами, которыми руководствовались правительство Соединенных Штатов, вступая в войну, полностью завоевали поддержку представителей других держав. Сейчас среди делегатов господствует полная гармония.»

(В эту минуту дверь отворяется и входит служитель.)

Служитель. Телеграмма для премьеры Орландо!
Весьма срочно!

Орландо (*открывает ее и медленно читает*). «Революция в Италии полностью победила. Рим в руках Советов». (*Все ошеломлены.*)

(*Входит второй служитель.*)

Служитель. Каблограмма для президента Вильсона! Весьма срочно!

Вильсон (*берет ее и медленно читает*). «Вам предъявлено обвинение в нападении на Россию без объявления войны».

(*Все смотрят друг на друга. Входит третий служитель.*)

Служитель. Телеграмма для премьеры Ллойд Джорджа! Весьма срочно!

Ллойд Джордж (*читает*). «Сильвия Панкхэрст * сделана премьером. Не спешите домой».

(*Входит четвертый служитель.*)

Служитель. Каблограмма для барона Макино! Весьма срочно!

Макино (*читает*). «Разъяренный народ, за невозможностью достать рис, съел микадо».

Клемансо. Слушайте! (*Все прислушиваются.*)

(*В отдалении слышен смутный грозный рев, который все приближается и разрешается в мощном хоре, поющем «Карманьолу». Народ Парижа идет колоннами к Палэ д'Орсэ.*)

Орландо. Когда отходит ближайший поезд?

Макино. Куда? (*Общее молчание.*)

Ллойд Джордж. Как мне хотелось бы жить в стране с устойчивым правительством.

Вильсон. Позвольте мне заметить, что единственное устойчивое правительство сейчас в Москве...

Орландо. Нет ли здесь черного хода?

Макино. Но ведь мы должны продолжать работу.

Вильсон (*бодро*). Не будем преждевременно падать духом. Слова — на всех языках слова. Русские такие же люди, как и все, а я еще сохранил дар речи.

(*Удаляются по одному через окно. Часы бьют шесть.*)

Медленно опускается занавес.

1919 год.

* Британская социалистка, которая протестовала против первой мировой войны и поддерживала русскую революцию.— *Прим. ред. ам. изд.*

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТЯСАЛИ МИР*

НЕУДЕРЖИМО ВПЕРЕД!

Четверг, 8 ноября (26 октября). Утро застало город в неистовом возбуждении. Целый народ поднимался среди рокота бури. На поверхности все было спокойно. Сотни тысяч людей легли спать в обычное время, рано встали и отправились на работу. В Петрограде ходили трамваи, театры, магазины и рестораны были открыты, выставки картин собирали публику... Сложная рутинная повседневной жизни, не нарушенная и в условиях войны, шла своим чередом. Ничто не может быть более удивительным, чем жизнеспособность общественного организма, который продолжает все свои дела, кормится, одевается забавляется даже во время величайших бедствий...

Город полон слухов о Керенском. Говорили, что он добрался до фронта и ведет на столицу огромную армию...

...Военно-революционный комитет, словно искры, рассыпал во все стороны приказы, воззвания и декреты... Приказано доставить Корнилова в Петроград. Члены крестьянских земельных комитетов, арестованные Временным правительством, выпущены на свободу. Отменили смертную казнь на фронте. Государственным служащим приказали продолжать работу, угрожая за неповиновение строгими наказаниями. Погромы, беспорядки и спекуляции запрещены под страхом смертной казни...

С другой стороны, какой бурный поток воззваний, афиш, расклеенных и разбрасываемых повсюду, газет, протестующих, проклинающих и пророчащих гибель! Настало время борьбы печатных станков, ибо все остальное оружие находилось в руках Советов...

* В русском переводе отрывки печатаются по тексту книги: Джон Рид, «10 дней, которые потрясли мир», М., Госполитиздат, 1957 г.

В этот день я видел в огромном амфитеатре Николаевского зала бурное заседание городской Думы, объявленное непрерывным. Здесь были представлены все силы антибольшевистской оппозиции. Величественный, седобородый и седовласый городской голова Шрейдер рассказывал собравшимся, как прошлой ночью он отправился в Смольный, чтобы заявить протест от имени городского самоуправления...

Получены новые вести... Каледин двигался на север. Московский Совет организовал Военно-революционный комитет и вступил в переговоры с комендантом города, требуя от него сдачи арсенала. Совет хотел вооружить рабочих.

Эти факты перемежались массой всевозможных слухов, сплетен и явной лжи. Так, например, один молодой интеллигент-кадет, бывший личный секретарь Милюкова, а потом Терещенко, отвел нас в сторону и рассказал нам все подробности о взятии Зимнего дворца.

«Большевики вели германские и австрийские офицеры!» — утверждал он.

«Так ли это? — вежливо спрашивали мы. — Откуда вы знаете?»

«Там был один из моих друзей. Он рассказал мне».

«Но как же он разобрал, что это были германские офицеры?»

«Да они были в немецкой форме!..»

Такие нелепые слухи распространялись сотнями. Мало того, что их печатала вся антибольшевистская пресса, им верили даже такие люди... которые всегда вообще отличались несколько более осторожным отношением к фактам...

В Смольном атмосфера была еще напряженнее, чем прежде, если это только было возможно. Все те же люди, бегающие по темным коридорам, все те же вооруженные винтовками рабочие отряды, все те же спорящие и разъясняющие, раздающие отрывочные приказания вожди с набитыми портфелями. Эти люди все время куда-то торопились, а за ними бегали друзья и помощники. Они были положительно вне себя, казались живым олицетворением бессонного и неутомимого труда. Небритые, растрепанные, с горящими глазами, они полным ходом неслись к намеченной цели, горя воодушевлением. У них было так много, так бесконечно много дела! Надо было соз-

дать правительство, навести порядок в городе, удержать на своей стороне гарнизон, победить Думу и Комитет спасения, удержаться против немцев, подготовиться к бою с Керенским, информировать провинцию, вести пропаганду по всей России от Архангельска до Владивостока...

Заседание съезда [Советов] должно было открыться в час дня, и обширный зал был уже давно переполнен делегатами; было уже около семи часов, а президиум все еще не появлялся... Большевики и левые эсеры вели по своим комнатам фракционные заседания...

Несколько позднее, когда я сидел в большом зале за столом прессы, один анархист, сотрудничавший в буржуазных газетах, предложил мне пойти вместе с ним посмотреть, что с президиумом. Ни в комнате ЦИК, ни в бюро Петроградского Совета не оказалось никого. Мы обошли весь Смольный. Казалось, никто не имел понятия о том, где находятся руководители съезда. По дороге мой спутник рассказал мне о своей прежней революционной деятельности, о том, как ему пришлось бежать из России и с каким удовольствием он довольно долго прожил во Франции...

Было ровно 8 часов 40 минут, когда громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них. Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже прораставшей бородкой, столь известной в прошлом и будущем. Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира толпы, простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории...

Делегат от донецких углекопов призывал съезд принять меры против Каледина, который мог отрезать столицу от угля и хлеба. Несколько солдат, только что прибывших с фронта, передали собранию восторженное приветствие от своих полков.

Но вот на трибуне Ленин. Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами массу делегатов, и ждал, по-видимому не замечая наравставшую

овацию, длившуюся несколько минут. Когда она стихла, он коротко и просто сказал:

«Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка!»

Новый потрясающий грохот человеческой бури.

«Первым нашим делом должны быть практические шаги к осуществлению мира... Мы должны предложить народам всех воюющих стран мир на основе советских условий; без аннексий, без контрибуций, на основе свободного самоопределения народностей. Одновременно с этим мы, согласно нашему обещанию, обязаны опубликовать тайные договоры и отказаться от их соблюдения... Вопрос о войне и мире настолько ясен, что, кажется, я могу без всяких предисловий огласить проект воззвания к народам всех воюющих стран...»

Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улыбаясь; голос его был с хрипотцой — не неприятной, а словно бы приобретенной многолетней привычкой к выступлениям — и звучал так ровно, что, казалось, он мог бы звучать без конца... Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин слегка наклонился вперед. Никакой жестикуляции. Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него, исполненные обожания...

Когда затих гром аплодисментов, Ленин заговорил снова:

«Мы предлагаем съезду принять и утвердить это воззвание. Мы обращаемся не только к народам, но и к правительствам, потому что обращение к одним народам воюющих стран могло бы затянуть заключение мира. Условия мира будут выработаны за время перемирия и ратифицированы Учредительным собранием. Устанавливая срок перемирия в три месяца, мы хотим дать народам возможно долгий отдых от кровавой бойни и достаточно времени для выбора представителей. Некоторые империалистические правительства будут сопротивляться нашим мирным предложениям, мы вовсе не обманываем себя на этот счет. Но мы надеемся, что скоро во всех воюющих странах разразится революция, и именно поэтому с особой настойчивостью обращаемся к французским, английским и немецким рабочим...»

«Революция 24—25 октября,— закончил он,— открывает собой эру социалистической революции... Рабочее

движение во имя мира и социализма добьется победы и исполнит свое назначение...»

От его слов веяло спокойствием и силой, глубоко проникавшими в людские души. Было совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорит Ленин.

Было внесено и открытым голосованием немедленно принято предложение предоставить слово только представителям фракций и ограничить время ораторов 15 минутами.

Первым выступил Карелин от имени левых эсеров: «Наша фракция не имела возможности предложить поправки к тексту обращения, поэтому оно исходит от одних большевиков. Но мы все-таки будем голосовать за него, потому что вполне сочувствуем его общему направлению...»

От социал-демократов интернационалистов говорил Кмаров — длинный, узкоплечий и близорукий человек, которому суждено было стяжать не вполне лестную известность шута оппозиции. Только правительство, составленное из представителей всех социалистических партий, заявил он, может обладать достаточным авторитетом, чтобы решаться на столь важное выступление. Если такая социалистическая коалиция образуется, то наша фракция поддержит всю программу, если же нет, то она поддержит ее только частично. Что до обращения, то интернационалисты всецело присоединяются к его основным пунктам...

После этого в атмосфере растущего воодушевления выступали один за другим ораторы. За обращение высказались представители украинской социал-демократии, литовской социал-демократии, народных социалистов, польской и латышской социал-демократии. Польская социалистическая партия тоже высказалась за воззвание, но оговорила, что она предпочла бы социалистическую коалицию... Что-то пробудилось во всех этих людях. Один говорил о «грядущей мировой революции, авангардом которой мы являемся», другой — о «новом веке братства, который объединит все народы в единую великую семью...» Какой-то делегат заявил от своего собственного имени: «Здесь какое-то противоречие. Сначала вы предлагаете мир без аннексий и контрибуций, а потом говорите, что рассмотрите все мирные предложения. Рассмотреть — значит принять...»

Ленин сейчас же вскочил с места: «Мы хотим справедливого мира, но не боимся революционной войны... По всей вероятности, империалистические правительства не ответят на наш призыв, но мы не должны ставить им ультиматум, на который слишком легко ответить отказом... Если германский пролетариат увидит, что мы готовы рассмотреть любое мирное предложение, то это, быть может, явится той последней каплей, которая переполнит чашу, и в Германии разразится революция...

Мы согласны рассмотреть любые условия мира, но это вовсе не значит, что мы согласны принять их. За некоторые из наших условий мы будем бороться до конца, но очень возможно, что среди них найдутся и такие, ради которых мы не сочтем необходимым продолжать войну... Но главное — мы хотим покончить с войной...»

Неожиданный и стихийный порыв поднял нас всех на ноги, и наше единодушие вылилось в стройном, волнующем звучании «Интернационала». Какой-то старый, седеющий солдат плакал, как ребенок. Могучий гимн заполнял зал, вырывался сквозь окна и двери и уносился в притихшее небо. «Конец войне! Конец войне!» — радостно улыбаясь, говорил мой сосед, молодой рабочий. А когда кончили петь «Интернационал» и мы стояли в каком-то неловком молчании, чей-то голос крикнул из задних рядов: «Товарищи, вспомним тех, кто погиб за свободу!» И мы запели похоронный марш, медленную и грустную, но победную песнь, глубоко русскую и бесконечно трогательную...

Во имя этого [во имя счастья народа] легли в свою холодную братскую могилу на Марсовом поле мученики Мартовской революции, во имя этого тысячи, десятки тысяч погибли в тюрьмах, в ссылке, в сибирских рудниках. Пусть все свершилось не так, как они представляли себе, не так, как ожидала интеллигенция. Но все-таки свершилось — буйно, властно, нетерпеливо, отбрасывая формулы, презирая всякую сентиментальность, истинно...

МОСКВА

Вечером 16 (3) ноября я наблюдал, как по Загородному проспекту двигались две тысячи красногвардейцев с военным оркестром, игравшим «Марсельезу» (как верно попадала она в тон этому войску!), и кроваво-красными

флагами, реявшими над густыми рядами рабочих, шедших приветствовать своих братьев, вернувшихся домой с фронта защиты красного Петрограда. В холодных сумерках шагали они, мужчины и женщины; и длинные штывы их винтовок качались над ними; они шли по еле освещенным и скользким от грязи улицам, сопровождаемые взглядами буржуазной толпы, молчаливой, презрительной и напуганной.

Все были против них: дельцы, спекулянты, рантье, помещики, армейские офицеры, политические деятели, учителя, студенты, люди свободных профессий, лавочники, чиновники, служащие. Все другие социалистические партии ненавидели большевиков самой черной ненавистью. На стороне Советов были массы рядовых рабочих, матросы, все недеморализованные солдаты, безземельные крестьяне да горсточка, крохотная горсточка интеллигенции.

Из отдаленнейших уголков необъятной России, по которой прокатилась волна отчаянных уличных боев, весть о разгроме Керенского отозвалась громовым эхом пролетарской победы; Казань, Саратов, Новгород, Винница, где улицы залиты кровью, Москва, где большевики направили артиллерию на последнюю цитадель буржуазии — на Кремль.

«Они бомбардируют Кремль!» Эта новость почти с ужасом передавалась на петроградских улицах из уст в уста. Приезжие из «матушки Москвы белокаменной» рассказывали страшные вещи. Тысячи людей убиты. Тверская и Кузнецкий в пламени, храм Василия Блаженного превращен в дымящиеся развалины, Успенский собор рассыпается в прах, Спасские ворота Кремля вот-вот обрушатся, Дума сожжена дотла...

В течение минувшей недели Петроградский военно-революционный комитет при поддержке рядовых железнодорожных рабочих овладел Николаевским вокзалом и гнал один за другим эшелоны матросов и красногвардейцев на юго-восток. В Смольном нам выдали пропуска, без которых никто не мог уехать из столицы... Как только подали состав, толпа оборванных солдат, нагруженных огромными мешками с продуктами, кинулась в вагоны, вышибая двери и ломая оконные стекла, забила все купе и проходы, многие влезли даже на крыши вагонов. Кое-как трое из нас пробились в свое купе, но к нам сейчас

же втиснулось около двадцати солдат... Мест было всего для четверых; мы спорили и требовали, кондуктор поддерживал нас, но солдаты только смеялись. С какой стати им заботиться об удобствах кучки буржуев! Мы показали мандаты из Смольного. Солдаты немедленно переменили отношение...

Около семи часов вечера мы двинулись. Маленький и слабый паровоз, топившийся дровами, еле-еле тянул за собой наш огромный, перегруженный поезд и часто останавливался. Солдаты, ехавшие на крыше, стучали каблуками и пели заунывные крестьянские песни. В коридоре, забитом так, что пройти было совершенно невозможно, всю ночь шли ожесточенные политические споры. Время от времени появлялся кондуктор и по привычке спрашивал билеты. Но, кроме нас, билетов почти ни у кого не было, и, поругавшись с полчаса, кондуктор в отчаянии воздевал руки к потолку и уходил. Воздух был спертый, прокуренный и зловонный. Если бы не разбитые окна, мы, наверное, задохнулись бы в ту ночь.

Утром, опоздав на много часов, мы увидели кругом заснеженный мир. Стоял жестокий холод. Около 12 часов дня появилась какая-то крестьянка с корзинкой, полной ломтей хлеба, и большим чайником тепловатого суррогата кофе. С тех пор и до самой ночи мы уже ничего не видели, кроме нашего тряскового, переполненного народом и поминутно останавливающегося поезда да редких станций, на которых прожорливая толпа моментально заполняла буфеты и опустошала их скудные запасы...

В Москве вокзал был совершенно пуст... Кругом ни одного извозчика. Впрочем, пройдя несколько кварталов, мы нашли, кого искали. До смешного закутанный извозчик дремал на козлах своих узеньких санок. «Сколько до центра города?»

Извозчик почесал в затылке. «Вряд ли, барин, вы найдете комнаты в гостинице,— сказал он.— Но за сотню, так и быть, сvezу...» До революции это стоило всего два рубля! Мы стали торговаться, но он только пожимал плечами. «В такое время не всякий и поедет-то,— говорил он.— Тоже храбрость нужна». Больше пятидесяти рублей нам выторговать не удалось. Пока ехали по молчаливым и снежным, еле освещенным улицам, извозчик рассказывал нам о своих приключениях за время шестидневных боев. «Едешь себе или стоишь у угла,— говорил он,— и

вдруг — бац! — ядро. Бац! — другое. Та-та-та!.. — пулемет... Я скорее в сторону, нахлестываю, а кругом эти черти орут. Только найдешь спокойную улочку, станешь на месте да задремлешь — бац! — опять ядро. Та-та-та... Вот черти, право, черти!..»

В центре города занесенные снегом улицы затихли в безмолвии, точно отдыхая после болезни. Редкие фонари, редкие торопливые пешеходы. Ледяной ветер пробирал до костей. Мы бросились в первую попавшуюся гостиницу, где горели две свечи.

«Да, конечно, у нас имеются очень удобные комнаты, но только все стекла выбиты. Если господа не возражают против свежего воздуха...»

На Тверской окна магазинов были разбиты, булыжная мостовая была разворочена, часто попадались воронки от снарядов. Мы переходили из гостиницы в гостиницу, но одни были переполнены, а в других перепуганные хозяева упорно твердили одно и то же: «Комнат нет! Нет комнат...» На главных улицах, где сосредоточены банки и крупные торговые дома, были видны зияющие следы работы большевистской артиллерии. Как говорил мне один из советских работников, «когда нам не удалось в точности установить, где юнкера и белогвардейцы, мы прямо палили по их чековым книжкам».

Наконец нас приютили в огромном отеле «Националь» (как-никак мы были иностранцами, а Военно-революционный комитет обещал охранять местожительство иностранных подданных). Хозяин гостиницы показал нам в верхнем этаже окна, выбитые шрапнелью. «Скоты! — кричал он, потрясая кулаками по адресу воображаемых большевиков. — Ну, погодите! Придет день расплаты! Через несколько дней ваше смехотворное правительство пойдет к черту! Вот когда мы вам покажем!..»

Мы пообедали в вегетарианской столовой с соблазнительным названием: «Я никого не ем». На стенах были развешаны портреты Толстого. После обеда мы вышли пройтись по улицам.

Московский Совет помещался в импозантном белом здании на Скобелевской площади — в бывшем дворце генерал-губернатора. Вход охранялся красногвардейцами. Поднявшись по широкой парадной лестнице, стены которой были заклеены объявлениями о комитетских собраниях и воззваниях политических партий, мы прошли

через ряд величественных приемных залов, увешанных картинами в золотых рамах, затянутых красным, и вошли в роскошный парадный зал с великолепными хрустальными люстрами и позолоченными карнизами. Тихий говор многих голосов и стрекот нескольких швейных машин заполняли помещение. На полу и на столах были разостланы длинные полосы красной и черной материи, и около полусотни женщин кроили и сшивали ленты и знамена для похорон жертв революции. Лица этих женщин сморщились и огрубели в тяжелой борьбе за существование. Они работали, печальные и суровые, у многих были слезы на глазах... Потери Красной Армии были тяжелы...

В углу за письменным столом сидел Рогов, с умным лицом, в очках и черной рабочей блузе. Он пригласил нас принять участие вместе с членами Исполнительного комитета в похоронной процессии, назначенной на следующее утро...

Поздней ночью мы прошли по опустевшим улицам и через Иверские ворота вышли на огромную Красную площадь, к Кремлю. В темноте были смутно видны фантастические очертания ярко расписанных, витых и резных куполов Василия Блаженного, не было заметно никаких признаков каких-либо повреждений. На одной стороне площади вздымались ввысь темные башни и стены Кремля. На высокой стене вспыхивали красные отблески невидимых огней. Через всю огромную площадь до нас долетали голоса и стук ломов и лопат. Мы перешли площадь.

У подножия стены были навалены горы земли и булыжника. Взобравшись повыше, мы заглянули вниз и увидели две огромные ямы в десять-пятнадцать футов глубины и пятьдесят ярдов ширины, где при свете больших костров работали лопатами сотни рабочих и солдат.

Молодой студент заговорил с нами по-немецки. «Это братская могила,— сказал он,— завтра мы похороним здесь пятьсот пролетариев, павших за революцию».

Он свел нас в яму. Кирки и лопаты работали с лихорадочной быстротой, и гора земли все росла и росла. Все молчали. Над головой небо было густо усеяно звездами да древняя стена царского Кремля уходила куда-то ввысь...

Когда мы уходили, рабочие, уже сильно уставшие и мокрые от пота, несмотря на мороз, стали медленно

выбираться из ям. Через Красную площадь уже торопилась на смену масса людей. Они соскочили в ямы, схватились за лопаты и, не говоря ни слова, принялись копать, копать, копать...

Так всю эту долгую ночь добровольцы из народа сменяли друг друга, ни на минуту не останавливая своей спешной работы, и холодный утренний свет уже озарил на огромной белоснежной площади две зияющие коричневые ямы совершенно готовой братской могилы.

Мы поднялись еще до восхода солнца и поспешили по темным улицам к Скобелевской площади. Во всем огромном городе не было видно ни души. Но со всех сторон издалека и вблизи был слышен тихий и глухой шум движения, словно начинался вихрь. В бледном полусвете раннего утра перед зданием Совета собралась небольшая группа мужчин и женщин с целым снопом красных знамен с золотыми надписями — знамен Исполнительного комитета Московского Совета. Светало... Доносившийся издали приглушенный движущийся шум нарастал, становился все громче, переходя в рокот. Город поднимался на ноги. Мы двинулись вниз по Тверской, неся над собой реюющие знамена. Часовенки, мимо которых нам пришлось идти, были заперты. В них было темно. Заперта была и часовня Иверской божьей матери, которую некогда посещал перед коронаванием в Кремле каждый новый царь и которая обычно была открыта и наполнена толпой круглые сутки, сияя огнями, отражавшими на золоте, серебре и драгоценных камнях ее икон отблески свечей, зажженных набожной рукой. А теперь, как уверяли, впервые со времени наполеоновского нашествия свечи погасли...

Магазины были тоже закрыты, и представители имущих классов сидели дома по другим причинам. Этот день был днем народа, и молва о его пришествии гремела, как морской прибой.

Через Иверские ворота уже потекла людская река, и народ тысячами запрудил обширную Красную площадь. Я заметил, что, проходя мимо Иверской, никто не крестился, как это делалось раньше...

Мы протолкались сквозь густую толпу, сгрудившуюся у Кремлевской стены, и остановились на вершине одной из земляных гор. Здесь уже было несколько человек...

Со всех улиц на Красную площадь стекались огромные толпы народа. Здесь были тысячи и тысячи людей, истощенных трудом и бедностью. Пришел военный оркестр, игравший «Интернационал», и вся толпа стихийно подхватила гимн, медленно и торжественно разлившийся по площади, как морская волна.

...Резкий ветер пролетал по площади, развевая знамена. Теперь начали прибывать рабочие фабрик и заводов отдаленнейших районов города; они несли сюда своих мертвецов. Можно было видеть, как они идут через ворота под трепещущими знаменами, неся красные, как кровь, гробы. То были грубые ящики из нетесаных досок, покрытые красной краской, и их высоко держали на плечах простые люди с лицами, залитыми слезами. За гробами шли женщины, громко рыдая или молча, окаменевшие, мертвенно-бледные; некоторые гробы были открыты, и за ними отдельно несли крышки; иные были покрыты золотой или серебряной парчой или к крышке была прикреплена фуражка солдата. Было много венков из неживых, искусственных цветов...

Процессия медленно подвигалась к нам по открывавшемуся перед нею и снова сдвигавшемуся неровному проходу. Теперь через ворота лился бесконечный поток знамен всех оттенков красного цвета с золотыми и серебряными надписями, с черным крепом на верхушках древков. Было и несколько анархистских знамен — черных с белыми надписями. Оркестр играл революционный похоронный марш, и вся огромная толпа, стоявшая с непокрытыми головами, вторила ему. Печальное пение часто прерывалось рыданиями...

Между рабочими шли отряды солдат также с гробами, сопровождаемыми воинским эскортом — кавалерийскими эскадронами и артиллерийскими батареями, пушки которых увиты красной и черной материей, увиты, казалось, навсегда... Похоронная процессия медленно подошла к могилам, и те, кто нес гробы, спустили их в ямы. Многие из них были женщины — крепкие, коренастые пролетарки. А за гробами шли другие женщины — молодые, убитые горем или морщинистые старухи, кричавшие нечеловеческим криком. Многие из них бросались в могилу вслед за своими сыновьями и мужьями и страшно вскрикивали, когда жалостливые руки удерживали их. Так любят друг друга бедняки...

Весь долгий день до самого вечера шла эта траурная процессия. Она входила на площадь через Иверские ворота и уходила с нее по Никольской улице — поток красных знамен, на которых были написаны слова надежды и братства, ошеломляющие пророчества. И эти знамена развевались на фоне пятидесятитысячной толпы, а смотрели на них все трудящиеся мира и их потомки отныне и навеки...

Один за другим уложены в могилу пятьсот гробов. Уже спускались сумерки, а знамена все еще развевались и шелестели в воздухе, оркестр играл похоронный марш, и огромная толпа вторила ему пением. Над могилой на обнаженных ветвях деревьев, словно странные многокрасочные цветы, повисли венки. Двести человек взялись за лопаты и стали засыпать могилу. Земля гулко стучала по гробам, и этот резкий звук был ясно слышен, несмотря на пение.

Зажглись фонари. Пронесли последнее знамя, прошла, с ужасной напряженностью оглядываясь назад, последняя плачущая женщина. Пролетарская волна медленно схлынула с Красной площади...

И вдруг я понял, что набожному русскому народу уже не нужны больше священники, которые помогали бы ему вымалывать царство небесное. Этот народ строил на земле такое светлое царство, какого не найдешь ни на каком небе, такое царство, за которое умереть — счастье...

ОГЛАВЛЕНИЕ

От Издательства	5
Примечание редактора американского издания	6
Джон Стюарт. Формирование взглядов Джона Рида	7
Война в Патерсоне	44
Восставшая Мексика	54
Война торговцев	85
Вместе с союзниками	90
Война в Колорадо	103
Кок — отважный капитан	142
Война в Восточной Европе	163
Продался	189
Антинародная война	198
ИРМ перед судом	209
С Джином Дебсом в день четвертого июля	222
Мир, который выходит за пределы постижимого	229
Десять дней, которые потрясли мир	241

Джон Рид
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Редактор *В. Е. РЕПИН*
Художник *Н. М. Лобанов*
Технический редактор *Н. И. Смирнова*
Корректоры *Н. И. Баранова*
и *Е. А. Цыпенок*

Сдано в производство 3/IX 1957 г.
Подписано к печати 16/XI 1957 г.
Бумага $84 \times 108 \frac{1}{32} = 4$ бум. л.
13,1 печ. л.
Уч-изд. л. 13,3. Изд. № 6,3734
Цена 6 р. 90 к. Зак. 856

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, Ново-Алексеевская, 52.

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валуевая, 28.

